

Иван Иванович Лажечников

**Внучка панцирного
боярина**



Иван Иванович Лажечников

Внучка панцирного боярина

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22136090

Аннотация

«Был полдень одного из дней августа 1862 года. Летнее солнце, на прощанье с жителями Москвы, хотело порадовать их еще своими теплыми ласками. В это время ковлял в гору, по правую руку Кузнецкого моста, господин в светлом пальто английского суровья, просторно сидевшем на худощавом его теле. Ему казалось лет на шестьдесят, но, может быть, разные житейские невзгоды не поскупились накинуть несколько лишних лет на его наружность. Соломенная шляпа с широкими полями ограждала от лучей солнечных его бледное, добродушное лицо. В руке у него был небольшой узел, завязанный в фуляре...»

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	21
III	44
IV	68
V	97
VI	124
VII	139
VIII	155
Часть вторая	160
I	160
II	185
III	191
IV	208
V	230
VI	247
VII	272
VIII	288
IX	308
Часть третья	318
I	318
II	340
III	361

IV	378
V	404
VI	416
VII	441
VIII	461
Приложение	467
I	467
II	481
III	496
IV	506
V	519
Комментарии	

Иван Лажечников

Внучка панцирного боярина

Посвящается Ал. Ал. Леб...вой

Часть первая

I

Был полдень одного из дней августа 1862 года. Летнее солнце, на прощанье с жителями Москвы, хотело порадовать их еще своими теплыми ласками. В это время ковылял в гору, по правую руку Кузнецкого моста, господин в светлом пальто английского суровья, просторно сидевшем на худощавом его теле. Ему казалось лет на шестьдесят, но, может быть, разные житейские невзгоды не поскупились накинуть несколько лишних лет на его наружность. Соломенная шляпа с широкими полями ограждала от лучей солнечных его бледное, добродушное лицо. В руке у него был небольшой узел, завязанный в фуляре. Не занимали его любопытства выставленные в окнах магазинов роскошные вещицы,

отчасти выписанные из-за границы, отчасти делаемые в России под именем иностранных. Продавцы их, тоже иноземцы, пользуясь пристрастием нашим ко всему заграничному и, может быть, справедливым недоверием к отечественным изделиям, берут с нас за свои товары по 50 процентов на сто. Иные, накопив на Руси богатые капиталы, уезжают восвояси, где в благодарность за наше простодушие бранят на весь свет дикообразную Московию, набившую их карманы своим золотом. Правда, есть благородные исключения. Между прочими справедливо сохранить память одного из них, Депре, который, умирая в Париже, завещал похоронить его прах в Москве, где он нажил свое богатое состояние.

Остановился, однако же, старик против магазина Дациаро, всегда привлекавшего к своим окнам толпу прохожих – отдохнуть ли он хотел, или взглянуть на картины. Вероятно, он был близорук, потому что, уставив глаза в окно, прищурился и наложил ладонь на стекло окна, по которому переливались лучи солнечные. Вскоре подошел другой господин, молодой, и, став подле него, приступил к такому же созерцательному безделью. Хотя на нем было широкое летнее пальто, но в посадке его стана видно было, что он привык носить военный мундир и, вероятно, только что недавно скинул его.

– Ее уже нет, – сказал с грустью старик, качая головой.

– Кого? – спросил его попутчик, посмотрев на него с удивлением.

Старик был, видимо, из таких личностей, которые в ми-

нуты особенного настроения души готовы излить ее хоть незнакомцу. По природе ли, или исходивши жизнь под гнетом разных тяжелых обстоятельств, или от старости, они склоняются к детству.

– Здесь, – отвечал он, поощряемый к откровенности светлым взглядом и добрым, приятным лицом своего спутника, – была раскрашенная английская гравюра-невеличка, но как много говорила она сердцу! На ней изображена была красивая молодая женщина. У полуобнаженной груди ее лежал младенец. Видно было, она только что откормила его. Ребенок засыпал и сквозь сладкий сон улыбался ангельской улыбкой. Если бы вы видели, как смотрела мать на свое дитя. Любовь и блаженство выражались в голубых глазах ее. Да, сударь, блаженство – это чувство от неба; счастье называю я наслаждением земным.

– Жаль, что я не видел этой картинки, – сказал молодой человек, вглядываясь в старика и занятый более его личностью, чем разговором о картинке.

– Очень жаль, вы потеряли несколько минут самого чистого душевного удовольствия. Однако же, когда я бывал здесь, она мало занимала смотревших на здешнюю выставку. Я был, по-видимому, один, кого она приковывала к себе.

– Ныне ведь нужны предметы более пикантные, раздражающие чувства.

– Так, так. Вот, например, перед нами обнаженные, купающиеся женщины; их сторожит из-за засады деревьев вос-

пламенный взгляд юноши, заметьте – юноши. Он, кажется, хотел бы превратиться в волну, которая скатывается по их прекрасным формам.

– У нас ныне, – заметил молодой человек, – не только юношей, но и детей нет.

– А вот эта, налево, ради возбуждения каких страстей? Бандиты со звериными лицами потрошат какого-то путешественника, под ним лужа крови. Далее убийца с топором в руке, с которого капает кровь его жертвы.

– Правда в искусстве – вот лозунг, который задали себе наши писатели и живописцы.

– Прекрасно, но они забывают, что их обязывает другая правда – художественная. Это напоминает мне Каратыгина в драме «Игрок». Он отвратительно намазывал себе руку красной краской, чтобы показать, что на ней кровь – следы совершенного им убийства. Между тем для возбуждения в зрителе чувства ужаса, и без видимых знаков довольно было одних слов артиста, что на руке его кровь. Впрочем, извините болтовню старика, вам незнакомого. Может статься, по-вашему, по-нынешнему, я ошибаюсь, и вам неприятно слушать то, что противно вашим взглядам.

– Напротив, – сказал молодой человек, – хоть ныне только те quasi-убеждения хороши, о которых кричат наши так называемые *дети*, я слушал вас с большим участием. К тому же, когда я всматривался в вас более и более, меня подмывало сделать вам один вопрос. Он не покажется вам странным,

если вы узнаете причину его. Не вспомните ли вы меня? Мое имя Сурмин...

Старик стал пристально всматриваться в лицо своего импровизованного собеседника, бесцеремонно повернув его к свету обеими руками за плечи.

– Хоть убейте, – отвечал он, – ни вашего имени, ни вас не припомню.

– Не мудрено: вы видели меня только один раз. Я был тогда еще очень молодой человек, лет двадцати, только что выпорхнул из гнезда гвардейских юнкеров и оперился в мундире кавалергардского полка. С того времени прошло десять лет. Теперь, я сделался компаньером и, как видите, отпустил уже бородку. Служили вы в Приречье вторым лицом по губернской иерархии?

– Точно так.

– Вас зовут Михаил Аполлоныч Ранеев.

– Это имя мое.

– Вот видите, как я вас помню, или, лучше сказать, помнит вас мое сердце. Но я не желаю, чтобы посторонние, останавливающиеся здесь, слышали наш разговор. Вы, кажется, шли в гору Кузнецкого моста?

– Да, я шел к оптику Швабе купить себе зрение. Без очков, которые, к горю моему, по старческой рассеянности затерял, все предметы в природе представляются мне в каком-то недоделанном виде или как будто задернуты флером.

– Мы словно сговорились; кстати, и я иду туда же купить

себе барометр. Если вы мне позволите, мы продолжим наш разговор, которым я напому вам наше часовое знакомство, оставившее глубокие следы в благодарной памяти всего нашего семейства.

– С большим удовольствием.

Они пошли в гору; молодой человек укорачивал шаги, чтобы не утомить своего спутника. Дорогой повели они беседу, как давнишние приятели.

– У матери моей, – начал молодой человек, – было дело, от которого зависела участь всего нашего семейства: ее, меня и двух малолетних сестер моих. За долги частные и процентные в Опекунский Совет, запущенные нашим опекуном, 500-душное имение наше было под запрещением. Вы знаете, что такое наши опеки?

– Слишком хорошо. Я читал отчет одного опекуна над сумасшедшим: был очень богатый барин. В этом отчете, поверите ли, записана была покупка собольего одеяла в шесть тысяч рублей. Я видел, как у малолетних на ремонт дома истрачивались все доходы с имения. Придя в совершенные года, они, разумеется, оставались нищими. Я слышал, как заводские тысячные лошади продавались полячком-опекуном под покровом воеводы по 50 рублей. Да всех проделок опекунов не перечесть.

Старик энергически махнул рукой.

– Подобными проделками нашего опекуна, – имя его утаю (скажу только – он даже очень близкий нам родственник), –

и наши дела были доведены до того, что Совет назначил наше имение в продажу с аукциона. По просьбе матери, опекун был сменен и она утверждена опекуницей и попечительницей. Что можно было продать из движимого имущества: серебро, бриллианты и разные разности, все ей было продано, добрые люди помогли, частные долги заплачены, сумма в Опекунский Совет собрана. Мы с матерью отправились в Москву, но, чтобы остановить продажу имения, надо было заехать в Приречье. Здесь мы должны были получить из гражданской палаты свидетельство, что оно освобождено от запрещения по частным долгам и казенным повинностям. Наш местный уездный суд уведомил о том все приреченские места, кому надлежало знать. На спрос гражданской палаты эти места, кроме губернского правления, отвечали удовлетворительно. Обращаюсь в правление, показываю номер и число, за которыми послан рапорт суда. Столоначальник отзывается, что рапорта не получено. «Не может быть, – говорю я, – он отправлен с неделю, все другие места получили». – Нам до других мест дела нет, мы не получали, – с сердцем отвечал столоначальник. По молодости лет и неопытности моей, я думал, что если предложу *благодарность*, так навлеку на себя страшные последствия.

– Хе, хе, хе, видно, молодо-зелено было.

– Так и мерещилось мне дуло пистолета, уставленное в грудь мою. Обращаюсь к советнику, тот же решительный ответ. Обстоятельства были для нас критические; через два

дня роковой молоток (я воображал молоток при всяком аукционе) должен был ударить и лишить нас состояния. На него охотники, в том числе и наш бывший опекун, точили уж зубы, заговор между ними был устроен, *слазы* определены.

– Ох, эти слазы! иной раз у иного начальника при продаже имения сердце болит, что оно продается за бесценок, а против этого ничего не поделаешь.

– Моя мать в отчаянии. Наши приреченские приятели указывают нам на вас, как на единственного человека, который может спасти нас от беды. Лечу к вам, – мне говорят, вы нездоровы, никого не принимаете. Горячо настаиваю у вашего слуги, чтобы он доложил обо мне, говорю: «дело экстренное», – он неумолим. Молодость и отчаяние кипятили мою кровь, я сделался дерзок, возвышаю голос, готов браниться. Вы услышали наши крупные переговоры, вышли ко мне, извиняетесь, что в шлафроке, спрашиваете, «в чем дело». Объясняю его. Вы выслушиваете меня внимательно, между тем как у вас лицо подергивало от негодования.

– Ого! как вы помните все подробности!

– Немудрено, это были роковые минуты, они не забываются. «Негодяи!» – вырвалось у вас от гнева, и тотчас, несмотря на свое нездоровье, приказываете подать себе одеться, едете со мной в правление на моем калибере, какой мне второпях попался. Здесь, по грозному требованию вашему, рапорт суда отыскан под сукном и в ту же минуту при вас сделано по нем распоряжение. Досталось же от вас порядком столо-

начальнику, не обошли вы своим замечанием и советника. Мать получает свидетельство из гражданской палаты, скачем с нею в Москву и спасаем имение от продажи. Опоздай один день, – и мы были бы разорены. С легкой руки вашей дела наши пошли в гору, мы живем теперь в полном довольстве и благословляем ваше имя, как нашего благодетеля.

– Очень рад, – сказал Ранеев, видимо просиявший от удовольствия, – очень рад, – повторил он, пожимая руку своего спутника, – что мог, исполняя свой долг, сделать что-нибудь в пользу вашу. Вот видите, как легко человеку, у которого есть какая-нибудь власть, располагать участью людей на добро и зло. Не перечесть несчастий от сущей безделицы, от того, что иной с высоты своей поленился выслушать внимательно просителя, другой пугнул его в пароксизме воеводского нетерпения. А самоуправство, апатия, продажность... – вот что губит нас.

– Кажется, благодаря духу времени, взяточничество выводится. Поговаривают, что составляются проекты новых судов с гласностью в помощь им. Надо надеяться, что молодые поколения не ударят лицом в грязь.

– Вот это дело другое. Гласность, гласность! великое слово, если оно вместе с тем и дело. Пусть явится во всеоружии истины, хотя бы с грозой, но только не театральной, не с фальшфейером. Не ласкать зло надо, а сокрушать его.

В голосе Ранеева слышалось какое-то ожесточение; забывшись, он говорил громко и потрясал рукой, так что про-

хожие смотрели на него как на чудака.

– Дай Бог, чтобы скорее состоялись эти суды. Авось либо свежие струи с новыми, честными силами втекут на них, – продолжал он. – Допусти и меня, Боже, дожидаться хоть зари этого дня. О тогда, если не задушат этой гласности в ее зародыше те, кому она по грехам их не понравится, я опишу историю одного события в моей жизни на поучение следователям и судьям. Да, друг мой, есть в ней чудеса, которые и не снились нашим мудрецам-обличителям. Сильно боролся я с людской злобой и коварством (только глупая овца лижет руку, которая ведет ее на заклание) и все-таки изнемог в борьбе. Но я, думаю, наскучил вам своими стариковскими иеремиадами. Что ж делать, это мой конек, с которого сойду только на пороге гроба. К тому ж я с первого раза полюбил вас, и потому так с вами откровенен. Кстати, вот и магазин Швабе.

Вошли в магазин. Старика, видно, знали там хорошо. Он протянул хозяину руку, хозяин радостно пожал ее и, приветствуя его с добрым утром, называл превосходительством. Ранеев отозвал его в сторону и стал переговаривать с ним вполголоса. Он не стыдился своей бедности, но и не любил пародировать ей, а предмет его разговора с оптиком казался ему щекотливым при постороннем свидетеле. Дело в том, что он принес в узле спорки богатого шитья с мундира, в котором не имел более надобности, темляки, шарф, и просил тотчас сжечь их, свесить выжигу и променять на очки.

Между тем Сурмин старался не слышать их переговоров и занялся с приказчиком осмотром барометров. Порядочный ком выжиги был скоро принесен и свешен. Хозяин магазина предложил старику выбрать себе очки по глазам. Ранев сказал номер, который он обыкновенно употреблял, золотые очки были выбраны, испробованы на разных предметах и пришлись совершенно по глазам.

– Как же расчет? – спросил он.

– Ваши вещи стоят 20 рублей, наши 15, вам следует получить с нас 5 рублей.

– Bravo! – воскликнул торжествующим голосом старик, забыв свою прежнюю осторожность, – в *рядах* дали бы половину. Вот я и с глазами, – прибавил он, поводя еще очками по разным предметам в магазине, как будто прозревал после счастливой операции над его глазами.

Ранев и новый его знакомый вышли из магазина. Каждый нес свою покупку, один – оседлав ею свой нос, другой – спрятав ее в карман своего пальто. Сойдя с наружной лестницы на тротуар, Ранев остановился. Сначала всматривался он в надписи на вывесках, потом переносился глазами на лица проходящих, испытывая на них свои очки, отчего живые предметы его бесцеремонного созерцания встречали его пристальные взгляды или усмешкой, или сердитой миной. Особенно чопорные, наштукатуренные барыни вооружались против него негодованием, презрительно надув губки или отворачиваясь от старика-нахала. С своей стороны,

он не только равнодушно принимал эти заявления, как будто они его не касались, но даже улыбался детской улыбкой. Ему казалось, что внезапно выступил перед ним из сумерек новый мир, вспыснутый яркими лучами солнца. Видно было, что удовольствие от удачной покупки, подкрепляемое добротой сердца, не давало в нем места другому чувству. Но лишь только он и Сурмин простились, обещаясь видеться, и сделали не более пяти шагов друг от друга, первый, под гору Кузнецкого Моста, второй, по направлению к Лубянке, как молодой человек услышал позади себя крик:

– Он, он, Киноваров, вор, грабитель!

Сурмин оборотился и увидел, что какой-то прохожий, немолодых лет, с седоватой бородкой, в поярковой шляпе с широкими полями, из-под которой упали стриженные в кружок волосы под масть бороде, в русском кафтане со сборами, – рвался из рук Ранеева, вцепившегося в рукав его кафтана. В крике Михаила Аполлоновича было что-то дикое, отчаянное, словно он стоял под ножом разбойника и призывал прохожих на помощь. Он хотел еще что-то закричать, но слова задохлись в его груди. Борьба была недолгая, прохожий вырвался из слабых рук старика, успел вскочить на лихача, мимо шагом проезжавшего, и скрылся из виду, окутанный клубами пыли, закурившейся в последний раз на повороте к Трубному бульвару. Ранеев пошатнулся и упал без чувств головой на тумбу. Все это как молния промелькнуло в глазах Сурмина, но шафранное лицо прохожего, ко-

шачий взгляд серо-желтых глаз его – врезались в памяти молодого человека. Пока он суетился около своего нового знакомца и звал городского, давно образовался кружок любопытных, в это время мимо проходивших. Прибежал городской и, расспрося слегка о том, что случилось, старался поднять упавшего, между тем выкликал извозчика, чтоб отвезти его в часть. Старик лежал у тумбы, кровь текла из раны над бровью, очки, которые так радовали его, лежали разбитые на тротуаре. Какой-то подозрительный человек, вроде тех личностей, которые при всякой суматохе и сборище людей вырастают из земли, – уже поднял золотую оправу и заносил с ней руку под полу рыжеватой, засаленной фризовой шинели. Сурмин успел это заметить и вырвать оправу у жулика.

– Это генерал, – сказал он городовому, переводя для изящного эффекта статский чин на военный, – отнесем его в знакомый мне и ему магазин.

Только что они приподняли Ранеева, как от Швабе, видевшего из окна несчастный случай, прибежали посланные им рабочие и помогли отнести его в магазин. Здесь его положили на диван и, с помощью примочек и спиртов, успели привести в чувство. Рана была легкая, но могла быть смертельна, если б он ударился о тумбу полувершком ближе к виску. Кровь из нее уняли компрессом из арники. Отдохнув немного, он осмотрелся, перекрестился, пожал руку Сурмину и попросил оптика приказать достать ему извозчика, сказав улицу своей квартиры. Сурмин решительно объявил, что

не отпустит его одного и сам доставит домой. Старику оставалось только поблагодарить за дружеское одолжение.

– Я чувствую себя хорошо, – сказал он, – но если б мне пришлось худо, так лучше умереть при дочери.

Нанятая пролетка стояла уж у крыльца. Ранееву обвязали голову платком со свежими компрессами. Собираясь выходить, он вспомнил о своих очках, ему поданы были новые, в футляре. О том, что купленные им прежде разбились, никто не промолвил ни слова. Когда он сходил с крыльца, городской приложил руку к козырьку своего кепи и спросил его превосходительство, не украдено ли чего у него, так как он гнался за вором.

– Ничего, голубчик, – отвечал Ранеев, немного смутившись, – благодарю, ни на ком не взыскиваю, ничего не ищу, не доводи об этом до начальства.

Украдкой он сунул ему в руку серебряную монету, какая у него случилась.

Сели на извозчика, приказано было ехать не шибко. Дорогой старик, оправясь, первый заговорил со своим спутником:

– Многие, после происшествия со мной, почли меня за сумасшедшего, – сказал он, – но если б знали, кто был человек, которого я хотел схватить, если б знали его отношения ко мне, так оправдали бы мое бешеное нападение на него. Да, друг мой, – прибавил он по-французски, чтобы извозчик не понял его, – это величайший враг мой, он обокрал казну,

обокрал меня, разрушил счастье мое, счастье моего семейства, убил жену мою...

– Почему же бы вам, – заметил Сурмин, не понимая странного, загадочного рассказа старика, – не отыскать преступника через полицию? ведь вам имя его и звание известны.

– Через полицию! знаете ли, что он коллежский советник и кавалер, считается умершим в тюрьме, похоронен... Вероятно, он скрывается под чужим именем и фальшивым паспортом, и после встречи со мной не останется ни одного часа в Москве. Что ж, если бы его нашли и задержали, прошлого не воротишь, решенного не перерешешь. Только одним бы несчастным было больше на свете. Я так, сгоряча, не раздумав хорошо, погнался было за ним. Но это длинная, несчастная история; когда-нибудь расскажу вам ее; Бог даст, ближе познакомимся. Сколько лет не видал я этого злодея, – продолжал он немного погодя, – с лишком пятнадцать лет. Пятнадцать лет угрызения совести, страх попасть опять в тюрьму, из которой бежал, и оттуда поплестись в Сибирь, – хоть какого молодца переделают. Я и не преступник, да несчастья сделали из меня в 57 лет, как видите, ходячую мумию. Он состарился, поседел, надел какой-то маскарадный костюм, однако ж, я его узнал, – узнал, как будто вчера только видел. Не мудрено: он не раз пробуждал меня от крепкого сна, его желтые, с крапинами косые глаза блуждали по мне в ночном мраке, он и днем меня преследовал, его образ придет смущать последние мои часы. Но вот мы подъезжаем к моей

квартире. Ради Бога, не говорите ничего дочери о сегодняшнем происшествии. Я скажу, что, выходя от Швабе, оступился и, упавши, ушибся. Кажется, рана моя не велика. Я сниму теперь повязку, на ней, вероятно, выступила кровь.

Действительно, на повязке были мелкие пятна запекшейся крови. Он снял ее и спрятал в карман. Сурмин осмотрел ушиб и успокоил его, сказав, что рана едва заметна. Старик надел очки, чтобы, как он думал, совсем скрыть ее.

Остановились у скромного домика в пять окон на улице, против Нижнего Пресненского пруда.

II

Зоркий глаз дочери сторожил отца из окна. Старик только что хотел позвонить у наружной двери, как она отворилась, и прекрасная, стройная девушка бросилась ему на грудь, целовала руки, расточала ему самые нежные ласки, самые нежные имена. Он платил ей такими же нежными, горячими изъявлениями любви. Казалось, они свиделись после долгой разлуки.

Сурмин, в полусумраке сеней, смотря на очаровательную девушку, остолбенел, как будто она ослепила его лучами своей красоты.

– Что ты так долго был? – сказала она отцу, – я думала, не дождусь тебя.

– Извини, дружок, случай, встретил неожиданно старинного приятеля, Андрея Иваныча Сурмина, заболтался с ним. Рекомендую его. Это моя дочь, Лиза, – прибавил он, указывая на молодую девушку.

Ранеева, которая до сих пор никого не видала, кроме отца своего, вся поглощенная любовью к нему, прищурилась, потом окинула молнией своих глаз молодого, красивого незнакомца и, слегка зарумянившись, глубоко присела перед ним, как приседают институтки перед своей начальницей.

Они вошли через переднюю в большую комнату, служившую, по-видимому, старику кабинетом, гостиной и спаль-

ней. Здесь, в комнате, при большем свете, нежели в сенях, Сурмин мог лучше рассмотреть стройный, несколько величественный стан Лизы, тонкие, правильные черты ее бело-матового лица, оттененного своеобразной прической волос, черных как вороново крыло, и ее глубокие, вдумчивые черные глаза. Все в комнате было хотя небогато, но так чисто, так со вкусом прибрано, что вы с первого взгляда угадывали, что женская заботливая рука проходила по всем предметам, в ней расположенным; все в ней глядело приветливо, кроме портрета какого-то рыцаря с суровым лицом, висевшего, как бы в изгнании, над шкафом в тени.

Сделалась аксиомой пословица: «скажи, с кем ты знаком, и я скажу, кто ты таков». – Не менее верно замечание: введи меня запросто, по-приятельски в свое жилище, и я загляну в твою душу, расскажу твой образ жизни, твои склонности. Так и здесь: Сурмин, оглядев комнату, мог дополнить характеристику хозяина, мысленно еще только очерченную в первый час знакомства с ним.

Стол, покрытый черной клеенкой, придвинут к окну; на нем скромный письменный прибор и артистический пресс-папье из матовой бронзы: это была группа Лаокоона и детей его, обвитых Змеем-Роком, который душит их и с которым отец, напрягнув мышцы, борется до последнего издыхания. Тут же вазочка, настоящий *vieux Saxe*.¹ Так и срывает

¹ *Vieux saxe* – старый сакс (о саксонском фарфоре XVIII в.) или майссенский фарфор. Название произошло от саксонского города Майсен, где впервые в Ев-

с ваших уст улыбку шаловливый рой пригожих, полунагих детей, на ней изящно написанных. В вазочке свежий букет скромных садовых и полевых цветов, со вкусом и гармонически подобранный. Перед столом глубокое, мягкое кресло, на котором зеленый сафьян уже от времени порыжел. Из окна через стол лоснится зеркало Пресненского пруда, оправленное в раму бархатного газона и разнообразной зелени деревьев. На ближайшем берегу к маститому, мускулистому вязу привязана красивая лодка с разноцветным флагом, который от ветерка-то лениво потягивается, то бьется о мачту словно крылом. За Горбатым мостом видны извилины Москвы-реки. На левом от зрителя берегу ее нагромождены плоты и груды леса, на правом из густой кущи деревьев выглядывает богатая усадьба какого-то купца. Далее, проведя глазом прямую черту по разрезу реки – Воробьевы горы, дача графа Мамонова, Александрийский дворец; еще далее, сквозь туман поднявшейся над Москвой пыльной атмосферы видны едва очерченные крыши деревеньки и небольшие купы роцц; так и хочется перенестись в них из душного города. Здесь стук, шум, тревога; здесь дышешь тлетворными миазмами, а там должно быть тихо, прохладно, груди так легко впивать в себя струи чистого воздуха. Правее, за Даргомиловской заставой, широкой лентой убегает в сизую даль так называемая шоссейная смоленская дорога. При взгляде на нее, из глубины души вашей встают великие воспоминания. К од-

ной стене комнаты прижался большой мягкий диван. У локотника его лежит канвовая подушка, на которую брошен пышный букет, резко выдающийся свежестью своих красок на ветхой коже дивана. Хочется обонять эти цветы, ждешь, что вот слетит с них пчела и зажужит по комнате, – так художественно выполнены шерстью цветы и пчелка. Повыше дивана, в гравюрах, портреты Петра I, Екатерины II, Вашингтона, Франклина, Вальтер Скотта, Шиллера и доктора Газа. На противоположной стене живописный портрет офицера средних лет, в семеновском мундире александровских времен. Рядом акварельный портрет молодой красивой женщины, обвитый венком из иммортелей, другой, фотографический, более молодой женщины, к которой можно тотчас признать дочь хозяина, и третий, такой же, юноши в юнкерском пехотном мундире. Все, что любит старик, что дорого его сердцу, собрал он вокруг себя. В одном углу – кровать, на железные изогнутые столбики ее накинута снежной белизны чехол из марли, обшитый домашними кружевами. Сквозь сетку его не проникнуть ни докучливой мушке, ни трубачу-комару. Такие походные железные кровати с чехлом разбивают английские офицеры и путешественники в знойных странах, не боясь ни москитов, ни тарантул. Близ кровати небольшой образ без оклада Божьей Матери с Предвечным Младенцем и порхающими над ними ангелами, писанный художнической кистью. Над шкафом, как я сказал, будто в изгнании, живописный, средней руки, портрет какого-то

рыцаря с гордой осанкой, в панцире. Резкие, суровые черты его, черные, большие усы, глаза, пронизывающие вас насквозь, так и выступают из полотна. Можно бы пугать им детей; в душе взрослого он возбуждал неприятное чувство. В соседней комнате голосисто разливается канарейка, над потолком воркуют голуби. Когда они слишком заговаривались и мешали хозяину и гостю слушать друг друга, Ранеев замечал:

«Не взыщите, сами поселились на чердаке, вольная колония! Пускай себе живут, благо им хорошо, а нам теснее не будет».

А если они уж слишком посягали на терпение его, то ему стоило только постучать в потолок тростью, чтобы они замолкли, точно понимали его. В семью мебели разве еще включить членов-челядинцев: маленький диван, обитый скромным ситцем, перед ним овальный орехового дерева столик, да четыре, пять стульев. Все это успел быстро занести в свои соображения Сурмин, усаженный на почетное место дивана.

– Да у тебя новые очки, – сказала Лиза, – поздравляю тебя с покупкой, ты был без них как без глаз. Дай-ка, попробую их на себе. Ведь я тоже близорука, настоящая папашина дочка, – прибавила она, обращаясь к Сурмину, сняла с отца очки, надела на свой греческий носик и кокетливо провела ими по разным предметам в комнате, не минуя и гостя.

– Дитя, – подумал было Сурмин, смотря на ее шаловливые

движения.

– Совершенно по глазам моим, – сказала она, – папаша позволит, так я и сама начну носить очки и заговорю с кафедры.

– Ну, на это бабушка надвое говорит, – возразил Ранеев.

Возвращая очки отцу, она заметила у него знак раны над бровью.

– Ты где-нибудь поранил себя? – спросила она в испуге. – Говори, что с тобой случилось, не то допрошу monsieur Сурмина; надеюсь, на первый день нашего знакомства он не решится покривить передо мной душой.

– Боже сохрани, – сказал молодой человек, – когда-нибудь провиниться перед вами в таком тяжком проступке; да я думаю, и сам Михаил Аполлоныч признается, что он, сходя от Швабе, оступился и, упавши, ушибся о ступеньку. Можете судить, как рана была легка по следам, которые она оставила.

– Могла бы иметь более опасные последствия, если б не этот милый человек. Он поднял меня вовремя, отвел в магазин, где мне тотчас приложили примочку, и был так добр, так обязателен, что не хотел отпустить меня одного домой. Родной сын не мог бы для меня больше сделать.

Ранеев с первого раза полюбил Сурмина и, рассыпаясь в благодарностях ему, видимо старался увеличить его одолжение и тем задобрить свою дочь в его пользу.

Лиза, веря и не веря показаниям молодого человека, в раздумье покачала головой, потом, протянув ему руку, награ-

дила его таким взглядом, за который он готов был для нее в огонь и в воду.

– Вот негодный папашка и наказан за то, что не взял меня с собой. Ведь он у меня такой рассеянный, без меня, того и гляди, напраказничает, как дитя. Нет, говорит, время прекрасное, обещал только пройтись по дорожкам Пресненского сада, а очутился Бог знает где.

– Хотел сделать тебе сюрприз очками.

– Сдалась я, между тем сердце предвещало мне что-то недоброе. Няня сказывала мне, что он и молодой был рассеян, да тогда глядел за ним глаз позорче моего, водила его рука понадежнее моей.

– Ее давно уж нет, – сказал грустным голосом старик, и слезы навернулись на глазах его. – Кабы вы знали, какая это была женщина! Но такие создания, видно, нужны там, на небе. Посмотрите-ка на этот портрет (он указал на портрет молодой, красивой женщины). Это портрет моей покойной жены. Какой благостыней дышет ее лицо, какие лучи ангельской доброты льются из глаз ее! Святая женщина! Выродок из польской семьи!

– Скажите лучше, папаша, из белорусской.

– Ну, недалеко ушли друг от друга, – перебил старик, махнув рукой.

– Не имею нужды угадывать, чей портрет подле портрета вашей супруги, – оригинал здесь на лицо, – сказал Сурмин, желая отвести старика от разговора о национальности, кото-

рый, как он догадывался, мог быть неприятен Лизе по фамильным отношениям, слегка высказанным отцом и дочерью. – Я сам немного живописец и хотел бы разобрать художнически, подробно, в чем верно выполнен артистом – солнцем, в чем не удался по милости фотографа, но боюсь, чтобы не почли меня льстецом. Вижу Лизавету Михайловну в первый раз и, не знаю почему, догадываюсь, что она не может любить лести.

– Вы угадали. Скорее готова выслушать горькую даже неприятную истину, нежели лесть: я всегда подозреваю в ней какое-то двоедушие. Предупреждаю вас, я люблю противоречие, люблю и тех, кто со мною спорит. В жизни, в природе все спор. Что ж за победа без борьбы!

– Послушать ее, – промолвил Ранеев, – уж такая спорщица, что Боже упаси!

«Ох! это не дитя, – подумал Сурмин, – не знаю еще, что ты в самом деле такое, знаю только, что искусительно-хороша и должна быть не глупа. Погоди, испытаю, крепки ли латы твоего самолюбия».

– Кстати, я и сам большой спорщик; постараюсь при первом же случае угодить вам, – сказал он. – Теперь позвольте спросить, кто этот юноша в юнкерском мундире?

– Это сын мой, – отвечал Ранеев. – Не правда ли, он похож на мать свою. Тот же прекрасный очерк лица, такой же блондин, с такими же ясными, голубыми глазами.

– Как две капли воды похож, – заметил молодой человек, –

только у него в глазах больше энергии, больше мужественной силы, у нее больше душевной мягкости, удел слабого пола. Правда, у большей части кровных русских женщин характер ярче выражается: какая-то апатичность, полное расслабление, сонливость души.

Старик, угадав желание Сурмина поспорить во что бы ни стало, лукаво улыбнулся и одобрительно кивнул ему, как будто подстрекая его на состязание с дочерью.

– Апатичность? полное расслабление, сонливость души? бедная русская женщина, – с жаром перебила Лиза, и брови ее гневно сдвинулись, но она сейчас превозмогла себя и продолжила ровным голосом. – Кто ж старался сделать ее такой? Не вы ли сами? Сначала вы наших пробабушек держали в заключении в теремах, потом сняли с нас кокошники и сарафаны, напудрили нас, одели в роброны, выпустили как марионеток в асамблеи; выучили попугайствовать на французском языке. И теперь воспитывают нас только для выставки. Но при всем этом пусть Провидение задает русской женщине высокую, благородную цель – неужели вы думаете, она не сумеет самоотверженно выполнить эту задачу.

Энергическая выходка Лизы дала повод к оживленному, горячему разговору о русских женщинах. Сурмин перебрал их по разрядам. Более всех досталось от него московским *барышням*, которых тип будто бы принадлежит особенно Белокаменной. Казалось, он, по каким-нибудь особенным причинам, был ожесточен против них.

– Вся жизнь их, – говорил он, – проходит в кружении головы и сердца, в стрекозливом прыгании. Весь разговор их заключается в каком-то щебетанье, в болтовне о модных тряпках, о гуляньях и балах. Живу я несколько месяцев в Москве, жил в ней и прежде, и должен признаться, ныне в первый раз слышу от русской светской девушки твердую, одушевленную, увлекающую речь.

– Напомню вам наше условие не льстить мне, – оговорила Лиза.

– Простите, невольно сорвалось с сердца и языка.

– Дальше вашу филиппику.

– Они считают за стыд говорить на родном языке. У какого народа кроме *российского* это бывает?

– Зачем же сваливать этот грех на одних, так называемых вами, московских барышень? Кто пример подает? Не Петербург ли? Не тамошние ли девицы и дамы, особенно высшего полета? Не забудьте, *c'est du nord que nous vient la lumière*².

– С этой *lumière* много и чаду разнеслось. Впрочем, вы правы: попугайство, о котором говорим, принадлежит вообще русским светским женщинам в Петербурге, в Москве, в провинции.

– Да разве и наш брат не повинен в этом грехе? – вмешал тут свою речь Ранеев, – я с Лизой был на днях на одной ху-

² *C'est du nord que nous vient la lumière* – ссылка на слова Вольтера из стихотворного «Послания» Екатерине II (в переводе И. Богдановича: «От Севера днесь свет лиется во Вселенну»)

дожественной выставке. Тут же был и русский князь, окруженный подчиненными ему сателлитами. Вообразите, во все время, как мы за ним следили, он не проронил ни одного русского слова и даже, увлекаясь галломанией, обращался по-французски к одному художнику, который ни слова не понимал на этом языке. Продолжайте же ваш список.

– Кстати, включаю в него и таких, которые, побывав на чужбине, возвращаются из нее на родину, как на чужбину. Ездят в чужие края англичанки, шведки и *tutti quanti*, но везде, где бы они ни были, остаются англичанками, шведками и прочими, возвращаются такими в свое отечество. Одни русские дамы стыдятся быть русскими, разве захотят пощеголять перед иностранцами своим широким, безумным мотовством.

– К сожалению, правда, – сказала Лиза.

– Куда же тут до подвигов!

– Кончили вы, злой человек?

– Можно бы продлить список, да он и без того длинен.

Вы видите, я положил на свои портреты черной краски, не жалея их.

– Да, порядочно погуляли вы на счет русских женщин. Позвольте, однако ж, вам сказать: вы судите об них верхоглядно. Проникните в тайники семейств и, конечно, найдете высокие, энергические личности. Жалко очень, что вы их не встречали. Не пария же мы в семье народов.

– Желал бы очень встретить такую личность.

– Из близких мне я могла бы указать вам на одну, если бы она была в Москве. Ты догадаешься, папаша, о ком я говорю.

– Конечно, о Зарницыной, – отозвался Ранеев. – Немного с экзальтацией; да, признаться, это наш фамильный грех.

– Дай Бог нам побольше благородного увлечения, в нем то мы и нуждаемся, – заметил Сурмин.

– Надо сказать, – продолжал старик, – Зарницына по силе характера, по патриотизму – феномен между женщинами. Да и то замечу: Господь одарив ее душевной энергией, наградил ее и телесной. Встает она в шесть часов утра, то она на коне, то пешая, в лесу, в слякоти, в жаре, везде, где, нужны ее глаза, ее заботы. Ездить верхом, как амазонка, при мне в 30 шагах из пистолета пульей срезала воробья с георгина. А какая бесстрашная! Кажется, пошла бы на медведя, если бы ей попался на глаза. Впрочем, эта необыкновенная женщина должна быть исключена из примера.

– Извините, я не поклонник таких марциальных женщин. Думаю, и чувства ее должны быть жесткие, суровые.

– Напротив, – сказала Лиза, – я не знаю женщины, более нежной в своих привязанностях. Как она ухаживает за больными в своем околке, помогает бедным, горячо любит мужа, любит детей, хотя сама не имеет их.

– Лиза ничего не преувеличивает, а могла бы быть пристрастна. Она осталась на восьмом году после смерти матери и десяти перешла на попечение дамы, о которой говорим. Зарницына теперь далеко. Кончив свои занятия по сельско-

му хозяйству, она поехала к мужу в одну из белорусских губерний, где он командует полком. А не то я познакомил бы вас с ней.

– Желал бы увидеть эту диковинную женщину. Впрочем, как вы сказали, она должна быть выключена из примера.

Разговор обратился на воспитание женщин, на русскую литературу. Лиза тут высказала много наблюдательного ума, много верных взглядов.

– Чтобы кончить наш спор, – сказал Ранеев, – как редактор ваш, позволю себе порешить его так: вы оба вложили в него большую долю правды. Но чтобы толковать основательно о нашем обществе, о воспитании женщин, мало простого разговора, надо написать целый том. Да и пишут об них целые трактаты. Добрый знак. Покуда дела от них только коммуну да стриженные в кружок волосы; Бог даст примемся и за разумное воспитание, как его понимает здоровая англосаксонская раса в Европе и в Америке.

– В самом деле я заболталась, – сказала Лиза. – Пожалуй, наш гость в первый день нашего знакомства сочтет меня моралисткой, резонеркой, педанткой, чем-нибудь вроде синего чулка. Жаль, что я на этот случай не надела папашиних очков, были бы мне кстати.

– Мы говорили о сыне, – начал опять Ранеев, – а я так полюбил Андрея Ивановича, что желал бы познакомить его со всеми членами моего семейства. Этот юноша (Ранеев показал на портрет юнкера), который безвинно подал вам по-

вод к спору, только что перешел было блистательно в третий курс здешнего университета, но, услышав о смутах в Царстве Польском, разгорелся желанием поступить в военную службу. Нечего было делать, отпустил с моим благословением. Теперь он юнкером в одном из пехотных полков, расположенных около Варшавы. Володе только 20 лет... среди народа коварного, вышколенного иезуитами, враждебного нам... Знаю я их хорошо. Побывал порядком в их руках. Надо вам сказать, по несчастному случаю, в революцию 30 года я попался к ним в плен. Чего не натерпелся! Купался я после того и в чернильном омуте, не знаю, что лучше. Как-нибудь расскажу вам о моих похождениях. Вот этот (Ранеев указал на портрет офицера в мундире семеновского полка) отец мой, пал с честью на Бородинском поле. Благословенна буди его память.

Ранеев благоговейно перекрестился.

– А этот (он указал на портрет рыцаря в панцире) – отец моей жены. Панцирный боярин. Вы, конечно, не знаете, что это за звание?

– В первый раз слышу.

– Надо вам сказать, во времена сивки-бурки, вещей каурки, это были пограничные стражники близ рубежа Литвы с Россией. Они должны были охранять границы от нечаянного вторжения неприятеля, в военное же время быть в полной готовности к походу. За то пользовались большими участками земли, не платили податей, освобождались от других по-

винностей. Бывали ли они в деле, нюхали ли порох, это покрыто мраком неизвестности. Позднее панцирные бояре составляли почетную стражу польских крулей, когда они выезжали на границы своих коронных земель. Встретить и проводить наяснейшего, вот в чем состояла вся их служба – не тяжелая и не опасная. За этот парад пан-круль оделял свою почетную стражу дукатами, собранными с жидов и голодных крестьян, имевших счастье обитать на его коронных землях. Некоторые панцирные бояре получали в награду и шляхетство. Как не горевать о такой благодатной доле! Но эти времена давным-давно прошли, сделались мифом. Теперь панцирные бояре только именем существуют еще кое-где в западных губерниях. Они сошли со своей почетной сцены в ряды государственных крестьян и мещан, и с богатых коней пересели на клячи. Редкие из них удержали за собой шляхетство^[1]. Но гонор их еще не угас, в сундуках у некоторых хранятся еще панцири. Как евреи ожидают своего Мессию, так и они ждут, что серебряная труба созовет их на встречу пану крулю, брошенному с неба. Вот и этот из числа их (Ранеев гневно взглянул на портрет рыцаря в панцире). Я давно выкинул бы его из окна, если бы не удерживала меня мысль, что оскорблю и прогневолю там, на небе, мою дорогую Агнесу. Суровый, жестокий старик. Он был перед ней так виноват, а она все-таки его любила и, умирая, завещала мне простить его и стараться помириться с ним. Я было простил, искал мира, но... – Ранеев угрюмо махнул рукой и задумался.

– Вы забыли сказать, как провожали Володю в дальний путь, – проговорила нежным, любящим голосом Лиза, желая отвлечь отца от неприятных воспоминаний и пользуясь его рассеянностью.

– Да, да, – сказал Ранеев, вызванный из забытья этим голосом, – отправляя его на службу, я съездил с ним в Бородино. Вот из этого окна вы видите дорогу к нему, за Даргомиловской заставой.

Старик привстал, указал из окна по направлению своей руки и прибавил с особенным одушевлением:

– Бородино! это Пантеон народной славы, усыпальница героев, какой не имеет ни одна держава кроме русской. Строй они там себе аустерлицкие мосты, сооружай севастьяпольские бульвары, а не бывать у них нерукотворенного памятника, подобного Бородинскому полю. Провожая Володю на службу, я повез его туда. Солнце как нарочно сияло во всем своем блеске на голубом небе. Мы обнажили головы и со слезами горячо молились. А молились мы, чтобы русское сердце всегда так билось любовью к отечеству, как оно билось в этот день у ста с лишком тысяч наших воинов. Укажите между ними хоть на одного изменника; даже этого имени не знали тогда у нас.

– А писем нет, как нет, Лиза? – сказал грустным голосом Ранеев немного погодя.

– Нет, папаша.

– Юноша писал ко мне аккуратно каждую неделю, а ныне

что-то изменил.

– Военный, – заметил Сурмин, – все равно, что кочевник, сегодня разбивает здесь свою палатку, если она у него есть, а дня через два, глядишь, очутился за сто верст.

– Да и почти в наше смутное время, особенно из тех мест, где почтмейстеры поляки, изменнически неисправны. Но это еще не беда, лишь бы хранил Господь. А приходил к нам кто-нибудь, Лиза?

– Был кузен Владислав, – отвечала она несколько дрожащим голосом, видимо, смутившись, но стараясь скрыть свое смущение; – я увидала его из окна и велела няне сказать ему, что никого нет дома.

– И хорошо сделала, дружок. Вот видите, – продолжал Ранеев, обратясь к гостю, – это Стабровский, дальний родственник моей покойницы. Неглупый молодой человек, добрый, благородный. Мы его очень любили. Казалось, так всегда предан России. И было за что. Родился на русской земле, воспитывался на казенный счет в русской гимназии, кончил курс в русском университете, состоит на русской службе, идет по прекрасной дороге... Но с некоторого времени прогневался на Россию, стал частенько завираться о какой-то польской национальности в западных губерниях. Пospорил я с ним едва не до ссоры. Думал, не придет больше, – он нейдет. Но зайкнись он со своими фанабериями в другой раз, так мы навсегда с ним простимся.

Лиза сидела в это время, опустив длинные ресницы на гла-

за, как будто желая скрыть, что у нее происходило в душе, сожаление ли к родственнику, или участие более нежное.

«Ага! – подумал Сурмин, – осеклась наша героиня! Неужели она любит этого полячка? Жаль, личность интересная, надо бы оставить ее за русскими».

Ударили в звонок. Лиза посмотрела в окно, вскричала:

– Почтальон! – и опрометью бросилась в сени.

– Дай Бог, чтобы от Володи, – сказал старик, крестясь.

Лиза принесла письмо, оно действительно было от Володи. От радости Ранеев приказал дать почтальону гривенник.

Сурмин спешил распрощаться со своими новыми знакомыми, для которых в эти минуты гость не в пору был хуже татарина.

– Вы, друг мой, можете быть, спасли мне нынче жизнь, – сказал старик, пожимая ему крепко руку, – оживили своей беседой наше пустынное житье, да еще вдобавок будто с собой принесли весточку от сына. День этот записан у меня в сердце. Во всякое время вы наш дорогой гость.

Лиза дружески подала ему руку, промолвив задушевым голосом:

– Если резонерка не наскучила вам своей болтовней, приходите опять поспорить с ней.

Выходя из дому, Сурмин посмотрел на свои часы.

– С лишком два часа просидел я у них и не видал, как пролетели, – говорил он сам с собою. – Чудные бывают дни в нашей жизни, – продолжал он свой монолог, направляя ша-

ги на извозчицию биржу под Новинским. – Приходят ли они, как глупые облака, нанесенные над нашею головою таким же бессмысленным направлением воздуха, или посылаются рукой Провидения, – знает один Бог. Надо же было мне выйти на Кузнецкий мост для покупки себе барометра и встретить у окон Дациаро того странного, но прекрасного, добродушного старика, которому семейство наше было некогда так обязано. Надо было встретиться ему при выходе от Швабе с каким-то врагом, злодеем, упасть и ушибиться, а мне отвезти его домой и увидеть его дочь. Чудный старик-дитя! Жизнь его так загадочна, несчастье такое таинственное и ужасное!.. Мещанин, коллежский советник обокрал казну, обокрал его, убил жену... Старик откровенен до простодушия, полюбил меня и когда-нибудь расскажет мне свою грустную повесть. Превосходительство! Занимал видное место, мог нажить себе состояние, как это многие делают, и между тем беден, и дочь, как она сама мне говорила, дает уроки по домам!.. Вот вам и честность!. Родятся же такие чудачки!.. Одни называют их уродами, другие глупцами, я глубоко уважаю их. Русское семейство именем и любовью к отечеству, и какая смесь разнородных стихий втекла в него! Жена и отец ее, какой-то панцирный боярин, поляки, и этот кузен Владислав, при имени которого она смутилась... Кажется, такая строгая на словах, с энергическим характером, жаждет подвигов... Да полно, так ли велики эти силы, как высказывает? Не мираж ли? Говорить благоразумно, одушевленно, а меж-

ду тем заведись червяк в сердце, так запоет другое... может быть, и завелся. Странно, я узнал ее только ныне, а она уж околдовала меня, я засиделся у них, заслушался ее. Очаровательно хороша! Какой дивный профиль! какие глаза! Умна и с огоньком! Уж, конечно, не имею права ревновать ее, это безумно, между тем как будто инстинктом ревную к этому Владиславу, которого и в глаза не видал. Чтобы ни было, узнаю их покороче, узнаю его, и тогда что Бог даст!.. По крайней мере, как сказал старик, и у меня этот день записан в сердце.

История прошедшей жизни Сурмина коротка и проста, не представляет особенно интересных эпизодов, выходящих из ряда обыденной жизни. Родился он от приреченского зажиточного дворянина, человека образованного, хорошего семьянина, хозяина-домоседа. Он редко и то на самое короткое время выезжал из своей деревни в одну из столиц, жил на широкую руку. До двенадцати лет Андрюша был один сын у родителей, позднее Бог дал ему двух сестер-двойников. До появления же их в свете вся любовь матери и отца сосредоточивалась безраздельно на нем одном. Мать его, дочь известного русского литератора двадцатых годов, в первые годы его детства сама учила его всему, чему училась в одном петербургском институте, из которого вышла с шифром, и, что всего важнее, умела внушить ему любовь к добру, правде и чести. Примером ему была жизнь отца и матери. После русского дядьки у мальчика не было гувернеров,

гувернером ему был сам отец, оставшийся более другом его, чем руководителем, до последних дней своих. Дитя, потом юноша поверял ему и матери своей все свой проступки и даже увлечения. По смерти отца эта дружеская доверенность перешла нераздельно в наследство к матери. Когда Андрюше минуло 13 лет, его повезли в Петербург. С того времени Сурмины оставались там постоянно целые годы кроме кратковременных экскурсий в деревню для поверки хозяйства. В Петербурге ходили к мальчику дельные учителя. В пособие к этому преподаванию отец его, имевший богатую библиотеку, познакомил его с сокровищами новой литературы в подлиннике и древней в лучших немецких и французских переводах. Таким образом Андрюша, одаренный от природы хорошо устроенной головой и с живой восприимчивостью всего, что ему преподавали, приготовился к поступлению в высшее учебное заведение, именно в лицей, так как предназначали его в гражданскую службу. Однако ж, вместо лицея он попал в школу гвардейских юнкеров, по убеждению начальника школы, друга отца его, обещавшего иметь об нем попечение, как о собственном сыне. Во время пребывания его там он потерял отца и горько его оплакал. Кончив курс в школе юнкеров, молодой человек поступил на службу в кавалергардский полк. Это сделано было уже по настоянию и покровительству его крестной матери, дамы высшего аристократического круга, уверявшей Сурмину, что, еще держа новорожденного у купели на руках своих, она обрекла его

в кавалергарды. Мать согласилась, но объявила сыну, чтобы он не покидал своих любимых занятий и готовился со временем к более деловому служению в генеральном штабе. Когда Сурмин в первый раз явился к своей крестной матери в полной форме кавалергарда, она не могла довольно налюбоваться им. От нее он выехал на тысячном коне, ею подаренном. В полку он строго исполнял свои служебные обязанности и в кругу офицерском слыл за прекрасного, благородного товарища. Не позволял он себе задорных речей, в деле чести был строг к себе и к другим. В карты не играл, не любил буйных оргий, но не отказывался в своем кругу от лишнего бокала шампанского. В женском кругу он имел несколько счастливых, хотя и мимолетных, побед, без всяких серьезных увлечений; в маскарадах красивого, стройного кавалергарда любили интриговать и дамы высшего полета, и актрисы, и знаменитые камелии. С одними он очень умно любезничал, другим позволял похитить себя на несколько упоительных часов, смеясь в бороду богатым старичкам, безрасчетно сыпавшим на своих любовниц золотом, благо и неблагоприобретенным.

Мы видели, что он приезжал с матерью в Поречье, когда по случаю семейных обстоятельств и по милости опекуна, родного брата отца его, имение их едва не было продано с молотка. Как оказались долги на имении их и как увлечены были Сурмины в эти трудные обстоятельства, мы, может статься, будем иметь случай говорить при встрече этого

братца на перепутье нашего романа. Пробыв на службе в кавалергардах узаконенное число лет, он перешел в генеральный штаб. За несколько времени до того умерла его крестная мать, завещав ему свой миниатюрный портрет, писанный во время ее счастливой молодости. В генеральном штабе он оставался не больше пяти лет, призванный в деревню любовным голосом матери заняться хозяйственными делами, с которыми она, по слабости здоровья, не могла больше совладать.

Одним из самых пламенных желаний ее было, чтобы сын ее женился, хотя бы выбор его пал на бедную девушку; но выбор этот не представлялся.

Сурмин, приехав в Москву по одному тяжёбному делу, затеянному вновь его сутяжным дядей, имел случай бывать в разных кружках московского общества; здесь маменьки и дочки искусно и неискусно пускались на ловлю богатого женишка, но он не поддался их маневрам; сердце его оставалось свободным. Не чувство нежное вынес он из этих кружков, а злую сатиру на них, он же по природе был склонен к ней.

III

В Москве, также как и в Петербурге, есть и роятся дома, которых владельцы, желая избавиться от хлопотливых сношений со многими постояльцами, отдают квартиры целыми отделениями одному наемщику, а этот, уже по своему усмотрению и расчетам, разбивает их на несколько номеров. Ставится в них разнокалиберная мебель, купленная на Сухаревском или Смоленском рынках, и с того времени они из рядовых квартир возводятся в чин меблированных комнат и даже в *chambres garnies*³. Между тем некоторые из них можно бы приличнее назвать *chambres dégarnies*, – так выцвели и закоптили на них обои, облупились под когтями времени двери, полы и окна, так бедны они предметами сидения, лежания и хранения вещей, необходимых жильцу. Правда, некоторые, из этих жильцов могут сказать с гордостью римлянина, что они все свое имущество носят с собою. Случается, что по истечении контрактного срока хозяин дома, довольный наемщиком отделения за аккуратный платеж условных денег и добропорядочным поведением его постояльцев, решается обновить отделение на прежних или новых условиях. Для этой операции пользуются благодатными летними месяцами, когда жители Москвы, кто может по средствам своим, спешат, как говорится в витиеватом слогe, броситься

³ *chambres garnies* – меблированные комнаты (*фр.*)

из душевной Белокаменной в объятия природы. Тогда отделение большею частью опустеет, все птенцы его повывлетают из постоянных гнезд своих и свивают временные по окрестностям. Дачи столько раз и так эффектно описаны нашими фелетонистами-повествователями, что я избавляюсь от нового описания их. При наступающем обновлении меблированных комнат разве не покидает свою каморку какой-нибудь бедняк студент, которому не выпал счастливый жребий ехать на vacationное время к помещику – обучать всякой премудрости его детище, и осталось переноситься одними грустными думами в отдаленные родные края,

Где тыква и арбуз на солнце зреют.

Да и тут, если угол его понадобился для окраски и оклейки, его заставляют перебраться в другой, обновленный номер, где он имеет удовольствие не только считать галок на крышах соседних домов и любоваться, смотря по погоде, голубыми или серыми клочками неба, но и обонять до одурения зловоние свежей масляной краски.

В одном из домов на Арбатской улице содержала подобное отделение, комнат в двадцать, Гертруда Казимировна Шустерваген, вдова, по происхождению шляхтянка, по родине поляка, по замужеству немка, лет 45. На линиях уже отцветшего лица ее можно было выследить, что она была некогда очень недурна. Но в настоящее время бывшая хорошень-

кая бабочка готова была завернуться в оболочку куколки, которую мог разве любоваться натуралист, занимающийся метаморфозами женского пола. В молодости своей, как знали самые интимные ее приятели, она была равнодушна к мужескому полу. Еще и теперь, когда беседовал с нею интересный молодой человек, в сереньких глазках ее мелькали искорки того огня, которым они прежде горели, голос ее, обыкновенно fortissime⁴, переходил в бемольный. Не увы! эти искры падали на собеседника, не оставляя по себе следа, этот бемольный голос не производил никакой тревоги в сердце слушателя. Историю ее рассказывают следующим образом. Восемнадцати лет похитил ее офицер из дома родительского, пожил с нею несколько месяцев в нигилистическом браке и бросил ее на произвол судьбы. Наградой за прекрасные дни, с нею проведенные, были: двадцатипятирублевая кредитка с оторванным во время азартной игры номером, самовар, довольно поворчавший на своем веку, две столовые и одна чайная серебряные ложки, потерявшие от долговременного употребления свой первоначальный вес. Справедливость требует прибавить в придачу к этому наследству одну, разрозненную с подругой, серебряную шпору, вальтрап с померкшими звездами, разного сомнительного металла галуны, из выжиги которых несомненно можно было извлечь унции две меди. Да разве присовокупить к этой росписи дюжины две пустых бутылок, в которых хранилась некогда ис-

⁴ fortissime – очень громкий (*um.*)

крометная влага «благословенного Аи»⁵. Все эти предметы могли только пробудить в сердце нашей Ариадны драгоценные воспоминания об исчезнувшем Тезее и исторгнуть из глаз ее слезы при мысли, что на днях у нее не будет насущного хлеба. В таком бедственном положении она решила было утопиться, но ее избавил от купанья и его горших последствий пан эконоом господского фольварка, жадно заглядывавшийся на нее в приходском костеле, как на будущую лакомую добычу. Вслед за первым льстивым предложением Гертруда, недолго думавши, поступила к новому своему патрону. Но и этот, поживши с нею в натуральном браке года с два, потребован к отчету не в управлении фольварком, а в умении распорядиться жизнью, дарованною ему небесами. От пана эконома досталось ей наследство покрупнее и поценнее офицерского. Она поселилась в Вильне, где и ожидала, что взойдет над нею более счастливая звезда. Так и случилось. Здесь приглянулась она каретнику Шустервагену. Он любил делать все аккуратно и прочно, чему доказательством служили его оси, не боявшиеся ударов многопудового молота, и шины, которые выдерживали русские шоссейные дороги на тысячу верст, и потому предложил Гертруде Казимировне свою руку и сердце. Этот союз, вдвой-

⁵ *искрометная влага «благословенного Аи»* – одно из знаменитых шампанских вин. Название происходит от французского *ai* (или *au*), восходит к французскому *le vin d'Au* – вино из Аи, центра виноделия Шампани. Производство шампанских вин в Аи началось в конце XVII века. В конце XVIII века Аи, как и другие шампанские вина, появилось в России.

не закрепленный у двух алтарей благословениями ксендза и пастора, был долговечнее связей, не освященных церковью. Супруг ее скоро переселился в Москву, разумеется, и она за ним последовала под сень златоглавого Ивана Великого. По истечении безмятежного, хотя и бездетного, 20-летнего супружества она уже законно овдовела и осталась после покойника законною обладательницей кругленького капиталца, ей аккуратно завещанного. Привыкнув к добропорядочному хозяйству в школах коханна эконома и своего Lieber'a Карла Ивановича, Гертруда Казимировна рассудила за благо, для сохранения и даже приумножения этого капитала, завести меблированные комнаты. Она повела свое дело так хорошо, что через два, три года отделение ее прозвано было, хотя и неофициально, польскою отелью, а иные, в подражание знаменитой варшавской, возвели ее в саксонскую. Постояльцы у госпожи Шустерваген были студенты, офицеры, приезжие со службы в отпуск и отставные, помещики, адвокаты, люди, ничего не делающие или делающие очень много под маскою праздности, – большею частью ее компатриоты, поляки, или так называющие себя уроженцы северо- и юго-западных губерний. Можно бы разделить их по состоянию на несколько разрядов. Иные могли назваться людьми достаточными. Эти занимали по два и даже по три комфортабельных номера, которые Гертруда Казимировна прозвала графскими, хотя ни один граф в них не останавливался. Другие из постояльцев жили без нужды, третьи перебивались из меся-

да в месяц на свое скудное жалование, на стипендии и уроки. Были и такие, которые, вместо обеда или чая, в черные дни питались табачным дымом. Но и тут добрая хозяйка, заметив, что в урочный час в такой-то номер не требовали обеда, и узнав, что постоялец дома и здоров, приказывала иногда подать к нему обычные порции. За то и сиротствующие студентки называли ее своей мамашей. Бывали даже и такие добросовестные господа, которые, прожив в ее саксонской отеле несколько месяцев на мелок, утекали тайком ночью, оставив ей в полную собственность пустой, ветхий чемодан. Выезжали некоторые из таких господ и днем, запечатлев при этом случае поцелуем в ручки сохранную росписку, по которой она могла отыскивать кредитора по всем концам размашистой России или требовать уплаты на втором пришествии.

– А як я добродзея спокоила и жаловала, и як он негжечно отплатил мне за то вшистка, Пан Буг с ним!

Пробоина была сделана порядочная в корабле госпожи Шестерваген, но случилось, однако ж, что пассажиры на нем спешили поправить несчастье капитана в юбке, которого они любили за доброту, за честное и точное исполнение условных обязанностей. Они составляли складчину, покрывавшую долг беглеца. Таким образом в этой польской колонии вождь ее и колонисты обретались в ненарушимой приязни.

Один из так называемых графских номеров занимал Владислав Стабровский, хотя был в незначительном чине. Он по

службе получал жалованье около тысячи рублей, да вдобавок мать его, белорусская зажиточная помещица, любившая делать все во славу своего имени, присылала ему ежегодно более тысячи, что составляло порядочную сумму, на которую бесхозяйный может жить комфортабельно. Его квартира состояла из двух просторных комнат, служивших одна гостиной, а другая кабинетом; в третьей с полусветом была его спальня. Прибавьте к ним переднюю с перегородкой, и вы согласитесь, что помещение это, наполненное приличной мебелью, могло удовлетворить житейские потребности молодого человека, да еще холостого. Он держал слугу, имел порядочный стол, за приготовлением которого особенно наблюдала Гертруда Казимировна, не отказывал себе в светских удовольствиях, но и не сорил деньгами. С кандидатским аттестатом, умом, деятельностью и покровительством людей с весом, он, несмотря на свою молодость, занимал место, служившее ему надежной ступенью к видному повышению. Не говорю о благородных правилах, которых он строго держался и которые в наше время полагаются иногда на весы при оценке служебных качеств. Надо прибавить, что большую долю покровительства доставил ему Ранеев, имевший еще связи с сильными мира сего.

Мы застаем Владислава Стабровского в одни из самых тревожных, роковых часов его жизни. Это был очень красивый молодой человек, лет двадцати шести. Кто не знал бы его славянского происхождения, сказал бы, что он италья-

нец. Тип Авзонии отпечатался на его несколько смуглом лице, в его черных глазах, горящих томительным огнем юга, в его черных, шелковистых волосах, густо ниспадающих на шею. Ничего резкого, выдающегося, ни одной ломаной линии в тонких чертах его лица; все было в нем полная гармония.

Едвиг Стабровская, вдова белорусского помещика, имела двух сыновей, – старшего Владислава и меньшего Ричарда.^[2] Оставшись после смерти мужа с небольшим состоянием, она не могла воспитывать их на свои средства. Но на помощь ей пришла матушка-Россия. Эта добродушная орлица одинаково принимает под теплые, широкие крылья свои всех птенцов, прибегающих и приползающих к ней, не разбирая – из голубиной они породы, или из ястребиной. Зато, когда ястребки оперятся, вылетят из гнезда и почувствуют, что у них есть острый клюв, они нередко, в благодарность за попечения воспитавшей их матери, стараются заклевать ее. С этой помощью Едвига отдала на казенный счет сначала первого сына в русскую гимназию, а затем второго, который был моложе его четырьмя годами, в один из кадетских корпусов. Владислав, по окончании университетского курса, пошел по гражданской службе; Ричард вышедши из корпуса, – по военной и поступил в один из гвардейских полков.

Только тогда, когда Владислав вышел из университета, мать его неожиданно получила богатое наследство. Революционные помыслы ее, некогда смиряемые скромным положе-

нием в свете, не позволявшим ей успешно действовать, при благоприятном для нее повороте колеса фортуны, развернулись во всей силе. Владислав, бывший у нее в отпуску за год до того времени, с которого мы начинаем наш рассказ, слышал от нее, что в Москве живет ее родственник в третьем или четвертом колене, Ранеев. Воспитанная и опекаемая ксендзами, она не любила ничего, что носило имя русское; но как родственник этот был превосходительный, то следуя правилам тайного польского катехизиса, задумала чрез его покровительство со временем доставить сыну место, где он мог быть полезен польской справе. Замыслы эти не были известны Владиславу, хотя она с малолетства его и впоследствии, при кратковременных свиданиях с ним, старалась напитывать его восприимчивую, пылкую натуру любовью к польской отчизне, которую, однако ж, до поры до времени сливала с русским государством под одною державой.

Владислав, возвратись в Москву из отпуска, отыскал Ранеевых, был ими ласково принят, как родной, и с того времени считался членом их семейства. До того родственны были их отношения, что молодые люди обращались друг с другом на ты. Лиза несколько раз заходила с отцом к нему на квартиру и хозяйничала у него за чайным столом. Полюбив их, он стал любить имя русское, русскую землю. Но позднее явились в Москве польские эмиссары и начали постепенно искушать его революционными идеями. Мы уже узнали, из

рассказа Ранеева Сурмину, неосторожный отзыв его о польской национальности в Белорусском крае, и как этот отзыв нагнал черную тучу на мирные, дружеские отношения, доселе никогда с обеих сторон ненарушаемые. Если что и удерживало доселе Владислава предаться вполне коварным внушениям польской пропаганды, так это было чувство, что были надежды, охватившие вполне его душу. Увенчайся эти надежды успехом, и он, может быть, принадлежал бы всем существом своим России.

Красота Лизы не могла не сделать сильного впечатления на сердце молодого человека. Под покровом родства они сблизились. Владислав полюбил ее страстно; она показывала, что любит его, как одного из лучших, добрых друзей своих. Слово любви никогда не было произнесено между ними. Ранеева когда-то говорила своей интимной подруге:

– Если девушка сказала мужчине, что она его любит, так обручилась с ним навсегда; если ж в увлечении страсти поцеловала его, она сочеталась с ним союзом, над которым нет уже власти ни отца, ни матери, нет власти земной. Только смерть одного из них может его разорвать. Это два акта сердечного священнодействия, ими шутить нельзя.

Может быть, слова любви не смели они произнести, потому что над головами их висел дамоклов меч, который в один миг мог рассечь их тайные надежды. Этим мечом было слово отца, хотя сказанное в простом разговоре, но твердо намеренное, что он никогда не даст своего благословения союзу

дочери с польским уроженцем.

– Мне всегда будет чудиться, – говорил он, – что мой зять сделается врагом России.

Воля Ранеева была далеко не тираническая, но в этом случае непреклонная; преступить эту волю значило убить его, а спокойствие и здоровье отца было для Лизы дороже всего на свете. Правда, Владислав со своей страстной натурой не мог в минуты интимных бесед с кузиной не обнаружить хоть проблесками своих тайных чувств; но Лиза спешила погасить их или смехом, или строгим, холодным словом, которому он волей-неволей покорялся, боясь потерять и ту долю любви, приобретенную, как он догадывался и без свидетельства слов. С этой поры она держала его в строгих границах родственной дружбы. Кто в состоянии был бы заглянуть глубже в тайник ее души, увидел бы, может статься, что она совершает тяжкий подвиг. Она любила его, но не *должна* была любить, – натура страстная, но готовая на все попытки, лишь бы исполнить долг свой. В таких отношениях оставались они до того времени, когда мы знакомим с ними читателя.

Палевая полоса обозначалась уже на восточном небосклоне и все более и более разгоралась, а Владислав, заснувший только с час и разбуженный после полуночи появлением рокового для него вестника, все еще оставался в том положении, в которое он был повергнут после проводов его. Этот вестник был капитан генерального штаба Людвиг Жвир-

ждовский. Он привез письмо от Едвиги Стабровской к сыну и обещался прийти на другой день за ответом. Владислав то сидел в глубокой задумчивости, облокотясь на стол и утопив пальцы в густые нечесанные волосы, то задремлет, одолеваемый физическим утомлением, то вдруг встрепенется, как будто кто-нибудь толкнул его. И пойдет учащенными шагами ходить по комнате. Глаза его были мутны от бессонницы и душевной тревоги. Временами делал он энергические движения рукой, вырывались у него отрывистые слова, на которые он сам давал ответы: – Освободить отчизну? Безумие!.. Сколько раз эти попытки сопровождались еще большими бедствиями для Польши! Все вздор!.. И какой я полководец? Что сумею я сделать в сражении? Все то же, что рядовой жолнер. И тот по своим физическим силам будет полезнее меня. Одушевлять их, когда я сам пал духом?.. Проститься навсегда с Лизой, проститься с лучшими надеждами своими! Пускай гром Божий падет на голову тех, кто затеял эту кутерьму!.. Но любит ли она меня? Когда ж говорила она мне это? Не обольщаюсь я одними приметамии?.. А так завет отца... я поляк... ее не отдадут за меня... я должен, однако же, узнать... Испытаю, решусь написать ей, спрошу, и тогда посмотрю, остаться ли мне здесь вопреки воли матери, или ей повиноваться. Не могу повиноваться. Не могу дальше вынести муки неизвестности.

Он опять сел, закрыл рукою глаза, наполненные слезами; после того, потряхнув головой, словно стряхал из нее мрачные

мысли, стал перечитывать письмо, Лежавшее на столе. Вот что писала мать. Чтобы избавить читателя от затруднения разбирать письма и разговоры на польском языке, буду передавать их в русском переводе.

«Любезный сын!

Хвала Пану Иезусу, Польша еще не сгнила!

Податель этого письма мой искренний, задушевный друг. Доверься ему во всем; он объяснит тебе изустно, чего я, женщина, не имею возможности передать тебе, особенно на бумаге. Могу только сказать: наступило роковое время для нашей дорогой Польши, при имени которой сердца сынов ее не переставали биться любовью и самоотвержением, несмотря, что они сто лет придавлены были медвежьей лапой. Никогда еще обстоятельства не были так благоприятны, чтобы сбросить ее. Все готово для совершения великого подвига. Воины за свободу, имя и честь нашей отчизны стекаются со всех сторон под крылья белого орла. Друзья наши не только на нашей родной земле, но и за границей – многочисленны. Франция, Англия, Италия и Швеция скоро затопят Россию своими армиями и выгонят орды ее из Европы, где варварам и еретикам не должно быть места. Туда их, в азиатские снега, где они могут обниматься со своими четвероногими, такими же мохнатыми братьями. Внутри России готовится мятеж. Наши занимают надежные места и работают разумно, ревностно. Быдло московское, которому задали дурману

золотыми грамотами, готово поднять за рога все, что попадетя ему навстречу. Сами русские нам помогают. Передовые их люди, литераторы и юношество, настроенное нашими учителями, – это стадо глупых баранов, бегут на зов интеллигенции. Брат твой, бывший прапорщик в русской службе, утек из полка, и уж пулковник жонда. Брось и ты свое подьячество. Замыслы мои о твоём будущем назначении теперь не годятся. Не с пером, а с мечом должны выступить сыны Польши в ряды освободителей ее. А там кончится война, – победа будет несомненно на нашей правдивой стороне, благословляемой святейшим отцом-папой, – ты можешь бросить меч в сторону и занять важное место в польском королевстве. В России черепашьим классным шагом недалеко уйдешь. Я слышала, не скажу от кого, что тебя обворожили в семействе Ранеева, что ты влюблен в его дочку. Не смей и думать о союзе с еретичкой. Разве перевелись на нашей земле красавицы, которыми она всегда славилась? Пан Людвиг назначен моголевским воеводой. Он обещает тебе также номинацию в пулковники и начальство над витебским отрядом близ нашего имения, на границе Моголевской губернии. Друзья мои ручаются мне за две тысячи молодцов, если ты будешь их вождем; как рыцари креста шли на освобождение Гроба Господня от ига мусульманского, так ты должен спешить на освобождение отчизны от ига еретиков и варваров. Приезжай не мешкая, время не терпит. Объятия матери ожидают тебя. Горжусь, что имею двух сыновей, готовых уме-

реть за великое дело, как умирали Горации. Крепко прижимаю тебя к сердцу, пане пулковник, благословение мое над тобою, милый сынку.

Нежно любящая тебя мать *Едвиги Стабровская*.

Р. S. Сожги это письмо; не кротость агнца нужна нам теперь, а мудрость змеи. Пан ксендз Антоний прочитал его и одобрил. Он посылает тебе свое пастырское благословение. В этом письме найдешь другое на твое имя. Пишу в нем, что отчаянно больна. Ты предъявишь его своему начальству, чтобы дали тебе скорее законный отпуск. Из деревни, осмотревшись и приготовив все, ты можешь для формы подать в отставку или поступить, как брат, то есть разом разрубить все связи свои с московской Татарией».

Когда Владислав прочел во второй раз письмо, в груди его подняли борьбу разнородные чувства: повиновение и любовь к матери, благо отчизны, хотя и неверное, благодарность России, его усыновившей, так много для него сделавшей, и любовь к Лизе. Это чувство пересилило остальные, и он решился писать к ней;

«Милый, бесценный друг Лиза! Воля твоя была никогда не говорить тебе о любви моей. С лишком полгода исполнял я ее, как священный обет, данный Богу. Слово твое, твой взгляд были для меня законом. Но теперь наступил для меня роковой час. Мне предстоит один выбор: счастье всей моей

будущности, или моя гибель. Жребий мой в твоих руках. Я должен сломить печать, наложенную тобою на мои уста. С первой минуты как я увидел тебя, я полюбил тебя тою силою страсти, которая может только погаснуть с жизнью, полюбил тебя более всего, что для меня дорого и свято в мире. Ты была для меня не только любимая женщина, была божество, которому я поклонялся. Не скажу тебе ничего более потому, что нет слов ни на каком земном языке, чтобы выразить тебе, что чувствует мое сердце.

Вчера я получил письмо от матери; она зовет меня к себе. Не скрою от тебя, что она делает меня орудием политических замыслов. Но скажи мне, что ты меня любишь, поклянись, что не отдашь сердца своего и руки никому кроме меня, и я преступлю волю матери, буду глух к зову моего отечества, моих братий и останусь здесь, счастливый надеждой, что ты увенчаешь когда-нибудь мою любовь у алтаря Господня. Буду ждать месяцы, годы. Не скажешь этого, и я уезжаю отсюда с растерзанным сердцем, покорный воле матери, на родину, где меня ожидает смерть или на поле битвы, или в петле русской. Жизнь без тебя мне более не нужна. С последним дыханием моим, последнее слово мое будет дорогое твое имя.

Твой *Вл. Стабр*».

– Кирилл! – закричал он, – запечатав письмо.

Слуга, храпевший за перегородкою, встрепенулся, как ре-

тивный конь на зов бранной трубы, вскочил со своего ложа и явился перед лицом своего господина. Это был человек лет сорока, небольшого роста, неуклюжий, с простоватой физиономией, с приплюснутым несколько носом, с глазами, ничего не говорящими. Он не успел второпях обвязать шею платком и застегнуть сюртук, мохнатая грудь его была открыта.

– Эх! пане, встали с кочетами, – сказал он с сердцем, перемешивая русские слова с польскими и белорусскими; так как жизнь его прошла сквозь строй трех народностей и ни на одной не установилась, то и в речи его была подобная смесь.

– Сами не спали, да и мне не дали порядком отдохнуть, после того охфицера, чтоб ему стали диавлы на дроги. Ходит украдкой по ночам, як злодей.

– Ну, не сердись, сослужи мне службу. Ты знаешь, где живет генерал Ранеев?

– На Прысни-пруде.

– Оденься, отнеси это письмо к паненьке Елизбете, передай ей осторожнее через няньку, чтобы не видал отец. Если она не вставала, это узнаешь по гардинам, задернутым в ее спальне – первое окно от ворот, – так покарауль на берегу пруда у ограды и дождись, когда гардины поднимут.

Кирилл был из числа тех белорусских слуг, соединяющих с простоватой, несколько грубой речью безграничную преданность и верность господам своим, если господа только мало-мальски обращаются с ними по-человечески. Тем бо-

лее был он предан доброму, невзыскательному Владиславу. Для него Кирилл готов был хоть на пытку. Если б его пилили, чтобы он открыл тайну своего господина, верный слуга не проговорился бы. Он не знал, что такое праздность, и сидеть без дела, скрестив руки, считал за великий грех. Когда ему нечего было делать по окончании обыденной барской службы, он то вязал чулок, то по доброй воле утюжил панские рубахи, как самая искусная прачка, то шил себе сапоги. Нужно ли было угодить женской прислуге в гостинице, без всяких видов на вознаграждение, даже сердечное, он шивал ей женские башмаки.

– На отдых, – говорил он, – Пан Буг дал человеку ночь. Задернет полог у неба – и все создание закрывает глаза, отдернет занавеску небесную – и засветит солнышко, человеку треба работать в поте лица. Не в черед другим дням воскресенье: шесть дней делай, седьмой Господу Богу.

И в этот день читал он молитвы по засаленному молитвеннику: «Krótkie zebranie różnego nabożeństwa». По временам слышалось за перегородкой: «Boże, bud miłościw mnie grzesznemu człowiekowi». Чтение это сопровождалось по временам глубокими вздохами.

Кирилл покачал головой и пробормотал что-то сквозь зубы, на что господином его не было обращено внимания, пошел увальнем за свою перегородку, надел чистую манишку, белый галстук, белый жилет и остальной костюм по праздничному, как бы шел в костел.

– Заприте, барин, за мною дверь; я иду.

В ожидании его Владислав стал опять неистово ходить по комнате, думая усиленными движениями утомонить сердечную тревогу. Ожидания вестника были мучительны, минуты казались ему часами. Наконец послышался звонок; он отпер дверь; Кирилл подал ему письмо от паненьки Елизабеты.

Дрожащими руками распечатал его молодой человек. Холодом повеяло на него при чтении первых строк, далее и далее гнев и досада выступили на его лице. Вот ответ Лизы:

«Любезный кузен! Я никогда не имела тайн от отца, но на этот раз нарушаю свои правила. Чтение твоего письма, особенно после твоих безрассудных выходок о польской национальности, письма наполненного страстными выражениями, которых ты мне никогда не говорил, раздражило бы его и, может быть, сократило бы его жизнь, – а ты знаешь, что он мне дороже всего на свете. В другое время я не отвечала бы тебе. Но я вижу, что ты находишься в каком-то болезненном, раздражительном состоянии, что письмо твоей матери тебя взволновало, и я решилась отвечать.

Тебя влекут на дело страшное, роковое, изменническое, как я догадываюсь. Не ставлю себя судьей в этом деле; не мне, а твоему разуму, твоему честному, благородному сердцу решить его. Моя обязанность покоряться отцу, которого я обожаю, а воля его тебе известна. Безрассудный! Зная все это, чего ты от меня требуешь? Чтобы я сказала тебе слово,

после которого нет уже никакой родительской, никакой земной власти! И какое время выбрал ты для этого? Когда разгорается польская революция, когда в Варшаве стреляют в царских наместников. Может быть, родной брат твой в этот миг заносит меч над головой моего брата! Я не могу скрыть от тебя, вчера отец мой получил известие, что Ричард Стабровский бежал из П. полка. И в это самое время я поклянусь носить когда-нибудь опозоренное теперь имя?.. Что ж могу я после этого сказать тебе? Только одно: я любила и люблю тебя как брата, как одного из лучших друзей моих останусь любящею сестрой твоей, другом, пока ты сам не последуешь изменническому примеру Ричарда. Ты волен располагать своею судьбою, как тебе угодно; я не вяжу ни тебя, ни себя никаким обетом, никаким словом. У тебя есть мать, которой ты должен покоряться, как я покорна отцу моему. Но знай, что враг России есть его и мой враг. Уедешь, буду сильно грустить, что потеряла друга, и молить Бога, чтобы Он возвратил тебя на путь истинный. Только на этом пути найдешь опять

любящую тебе сестру *Лизу*.»

Тяжко дышал Владислав, читая это письмо. Он перечитал его снова, взвесил каждое выражение и нашел его слишком разумным, слишком холодным.

– Нет, она меня не любит, так не пишут любящие женщины! Участь моя решена! – сказал он и судорожно скомкал

письмо в руке.

– Ты видел ее сам? – спросил он Кирилла.

– Нет, – отвечал тот, – мамка вынесла, да мувила: «Пона-
прасну барин твой только беспокоит себя и нашу барышню
своими письмами. Он знает, что ей не бывать за поляком,
вражьем сыном. Да у нее есть уж женишок, словно писанный,
такой бравый, кровный русский дворянин, побогаче да по-
чище твоего шляхтича. Не велика птица! У нас в Витебске
кухарка и кучер были из шляхты».

– Ты не знаешь, как зовут этого женишка?

– Говорила, кажись, Сурмин. Да еще беззубая проворча-
ла: «генерал в нем души не чаёт и барышне больно полюбил-
ся; почти кажинный день бывает у нас».

Эти слова подняли со дна все, что накопилось в душе Вла-
дислава.

– Счастливо оставаться, – сказал он, махнув рукой.

– Кирилл! – крикнул он таким голосом, от которого
вздрагнул бы другой на месте белоруса.

Слуга стоял в нескольких шагах, а он отуманенными гла-
зами не видел его.

– Я здесь, пане.

– Мы послезавтра едем.

Кирилл покачал головой и спокойно сказал:

– Ладно, за нами дело не станет.

В комнате был камин. Владислав шелковиной связал вме-
сте письмо матери и письмо Лизы, зажег их и бросил в ка-

мин, да, пока они горели, с каким-то злорадством терзал коробившиеся от огня листочки каминными щипцами.

Утром, часам к одиннадцати, приехал Жвирждовский; Владислав встретил его словами: «я ваш на жизнь и на смерть» и крепко пожал ему руку. Хозяин и роковой посетитель немного говорили; все было сказано в этих словах, в этом пожатии. Людвиг спешил в разные места для вербовки других соумышленников. Сговорились завтра с задушевными друзьями приехать к Владиславу завтракать, между тем изложить план будущих действий и дать отчет в том, что уже приготовлено. Хозяину предоставлялось пригласить и своих друзей, на которых он мог положиться.

Владислав начал готовиться к отъезду; он поехал к своему начальнику, показал ему письмо матери, в котором она писала, что отчаянно больна и желает его скорее видеть и благословить. Причина для отпуска была уважительна; он получил его на два месяца с дозволением проживать в Витебской и Могилевской губерниях, сделал нужные покупки и, возвратившись домой, утомленный бессонницей, душевно измученный всем, что выстрадал в этот день, бросился в постель. Сон его был крепок, как это бывает у иного преступника перед днем казни.

В самую полночь зазвенел колокольчик; он не слышал этого звона. Кто-то стал сильно будить его; он протер себе глаза, – перед ним стоял Кирилл.

– Братец ваш приехал, – сказал слуга.

– Братец Ричард? Зачем нелегкая его принесла? Что ему надо? Что такое случилось? Еще новая беда!

Владислав только это проговорил, как у постели его появился Ричард, бросился ему на грудь и крепко обнял его. Это был молодой человек, лет 22, прапорщик гвардейского П. полка. Если б снять с его лица усики и слегка означившиеся бакенбарды, его можно было бы принять за хорошенькую девушку, костюмированную в военный мундир. И на этом-то птенце поляки сооружали колоссальные планы!^[3]

– Безумный! Зачем ты сюда? – сказал с сердцем Владислав. – Ты бежал из полка, тебя верно ищут, тебя найдут у меня, мы пропали.

– Я хотел только тебя видеть и обнять; я остановлюсь у Волка; он укроет меня, завтра же уезжаю. Мне нужно только увидеть Жвирждовского.

Владислав одумался, встал, накинул на себя шлафрок и со слезами на глазах бросился с жаром целовать брата.

– Что бы ни было, оставайся у меня и прости мне, что я спросонья так холодно тебя принял. Только одни сутки можешь оставаться здесь, с первыми поисками бросятся ко мне, и наше дело пропало... Мы не только братья по крови, но и братья...

Он не договорил, позвал Кирилла и наказал ему, чтобы в доме и помину не было о приезде Ричарда.

– Добрже, пане, и без вас знаем, – отвечал с сердцем слуга. Это «добрже» в устах его значило, что тайна барина умрет

в его груди.

– Что мать? – спросил брата Владислав.

– Это героиня, какую только Польша может в наши времена производить. Если б у нее было десять сыновей, она всех бы их пожертвовала отчизне. Она ждет тебя. Ты получил уже номинацию?

– Нет еще, но завтра все решится.

Братья, передав друг другу все, что каждому знать следовало, легли спать. Ричард в спальне, Владислав в кабинете. Первый, боясь своим присутствием у брата подвергнуть его каким-нибудь неприятностям и общее их дело опасности, встал с утренней зарей и простился с ним. Кирилл, неся за беглецом чемоданчик, выпроводил его из номера и из дому. На площадке наружной лестницы спал дворник, завернувшись в дырявый полушубок и уткнув в него нос, издававший свою однообразную музыку. Они перешагнули через него и дошли благополучно до квартиры Волка, жившего недалеко.

IV

К 10 часам утра собрались заговорщики в квартире Владислава. Хозяин пригласил их в свой кабинет, как место, более других комнат огражденное от любопытства посторонних слушателей. Кабинет отделялся от коридора каменной стеной и не имел в него дверей.

Между заговорщиками были три офицера, два студента, адвокат, учитель, два белорусских помещика и других званий личности; был и миловидный, румяный ксендз, с приходом которого комната окурилась косметическими благовоениями. Один из них, помещик Суздилович, с отпятившимся вперед брюшком и с татарским обликом, на котором судорожно шевелились черные усики, как у таракана, — пересчитал число своих товарищей и заметил одному из них, что оно роковое — тринадцать. В душе своей он не верил этому мистическому числу, но ему нужна была приманка для спора. Этот господин любил вносить смуту во все собрания, где бы он ни появлялся. Тот, кому он это сообщил, просил не разглашать своего замечания другим, чтобы не встревожить суеверных. Но Суздилович не выдержал, и скоро все были посвящены в тайну великого открытия. Кто отвечал ему сердитой гримасой, кто усмешкой или пожатием плеч. Встревожился более всех пан солидных лет в колтуне,^[4] как в войлочной шапочке.

Один из студентов объявил, что если следует исключить кого-либо из общества, так скорее всего вещуна. Начался спор, крик; один голос пересиливал другой. Если б при заговорщиках было оружие, оно заблестало бы непременно. Но Владислав вскоре утишил войну, объявив, что лучше всем разойтись, чем в начале заседания из бабьего предрассудка возбуждать раздор.

Мир был водворен, и все уселись по местам вокруг большого круглого стола.

На президентском месте, отличенном от прочих нарядными креслами, сел офицер средних лет, с русыми волосами, зачесанными на одну сторону, живой вертлявый, в мундире генерального штаба, на котором красовались капитанские погоны. Он начал свою речь ровным, размеренным голосом:

– Как один из главных двигателей великого дела, я должен взять с вас, панове, слово не увлекаться горячностью, даже патриотическою, и не считать для себя оскорблением, если кто из ваших братьий будет противного с вами мнения. Я первый даю слово подчиниться этому уговору. Только большинство голосов решает мнение или предложение, и этому решению покоряются все безусловно.

– Позвольте прибавить, пан Жвирждовский, – сказал молодой человек приятной, благородной наружности, с небольшим, едва заметным шрамом на лбу, оттененном белокурыми, вьющимися волосами, – что тот, кто не согласится с решением большинства, не подвергается не только преследо-

ванию, но и осуждению.

Говоривший это был Пржшедиловский, бывший студент дерптского университета, вынесший из него с основательными знаниями и боевой знак. Во время школьной своей жизни задорный дуэлист, он впоследствии остепенился и сделался примерным членом общества, умным, честным и дельным чиновником, нежно любящим семьянином.

– Разумеется, дав слово не выдавать тайны нынешнего собрания и того, что будет в нем говориться, – отвечал Жвирждовский.

– Оговорка эта лишняя, пан, в обществе людей с истинным гонором, – отозвался с заметным неудовольствием Пржшедиловский. – Кто приглашен сюда, конечно, неспособен на роль низкого предателя: он может не соглашаться и не принимать на себя никаких обязательств, противных его убеждениям; но тайну, ему вверенную, не продаст ценою своей чести.

– Прошу у пана извинения, – спешил оговориться Жвирждовский, наклонив немного голову. – В знак мира вашу руку.

Оба подали друг другу руку, после чего пан Людвиг обратился к собранию с вопросом: согласно ли оно на предложенное условие?

– Что-то слишком рано пан Пржшедиловский забегает со своими оговорками, – заметил пузатенький господин, шевеля таракаными усиками. – Кто не намерен принимать на се-

бя никакой патриотической обязанности, тот напрасно пришел сюда.

– Я пригласил сюда моего друга, – перебил с твердостью Владислав Стабровский, – и никто не имеет права делать заключение, что он здесь лишний! Кто находит это заключение справедливым, исключает и меня из вашего общества. Часто совет, даже критика умного и благородного человека – важнее хвастливых, пустозвонных речей иного господина.

Пронесся было по собранию глухой ропот; но он тотчас замолк, когда пан Людвиг Жвирждовский попросил слова.

– Собрались здесь мы покуда люди свободные от всякого обязательства, кроме того, которое приносит с собою во всякое общество человек с гонором: хранить тайну, ему вверенную. Никто не имеет права налагать на кого-либо из членов наших других обязательств, пока он сам добровольно, по своим средствам и обстоятельствам, не наложит их на себя. Но, дав однажды установленную жондом клятву, он уже не свободен отступить; он уже невольник своей присяги. Решено ли?

– Решено, – отвечали все.

– Отступника от обязательства, на себя добровольно принятого, – продолжал Жвирждовский, – да покарают люди и Бог. Пускай от него отступятся, как от прокаженного, отец, мать, братья, сестры, все кровное, церковь и отчизна проклянут его, живой не найдет крова на земле, мертвый лишится честного погребения и дикие звери разнесут по трущобам

его поганый труп.

– Да будет так; прекрасно, сильно сказано, – пронеслись по собранию горячие голоса.

– Амен, братья во Христе и святейшем отце нашем, папе, – послышался медоточивый голос ксендза Б.

– Нет, этого мало, – заревел хриплым голосом Волк, вскочив со своего места и проведя широкой пятерней своей дорожку по щетинистым, черным как смоль волосам.

Дикообразная физиономия его с выдающеюся вперед челюстью так и смахивала на рыло соименного ему зверя, глаза его горели бешеным исступлением и, казалось, просили крови. Таков должен был быть вид Каина, когда он заносил на брата свою палицу.

– Этого мало, – повторил он и бросился к стене, на которой висел кинжал. Он схватил его, вынул из ножен и, засучив рукав своего сюртука до локтя, как исполнитель *des hautes oeuvres*⁶ перед совершением казни, мощною рукой воткнул оружие в стол. Гибкая сталь задрожала и жалобно заныла.

– Пой, пой так свою заупокойную песнь, когда вонжу тебя в грудь изменника, – приговаривал Волк, сверкая пылающими глазами.

– Клянись паном Иезусом и Маткой Божьей на рукояти кинжала, расположенной крестом.

Ксендз пропустил мимо ушей этот святотатственный призыв и только улыбнулся.

⁶ *des hautes oeuvres* – высокое искусство (*фр.*)

– Подождите произносить клятву, паны добродзеи, не зная еще, какие обязательства на себя принимаете, – сказал Жвирждовский.

– Так, так, – провозгласили почти все единодушно.

– Гм! – крикнул только пузатенький господин, тревожно шевелясь на своем стуле, на который он сел верхом.

Жвирждовский сурово взглянул на него начальническим взглядом, от которого тот переместил свою позицию.

– Окончив эти прелиминарные статьи, – произнес опять размеренно пан Людвиг, – я должен сделать оговорку. Хотя мне большею частью известны планы и средства нашего высшего трибунала, я обязан до времени ограничиться представлением вам моего плана в кругу моих действий, как воеводы могилевского. Опять повторяю, каждый может подвергнуть его критике, и я подчинюсь ей, если собрание найдет ваши замечания полезными для блага отчизны. Никто из вас не отвергнет, что если в начинании патриотического дела нужно страстное увлечение, то и не менее глубокая обдуманность нужна в начертании плана действий.

– Вы душой горячий патриот, по ремеслу воин, по науке великий стратегик – наш будущий Наполеон! – молвил кто-то из собрания.

– Ого-го! Как вы заставляете меня широко шагать, – отозвался могилевский воевода с самодовольной улыбкой.

– Все, что вы начертали в своей гениальной голове и потом изложили на бумаге, должны мы принять без рассужде-

ний. На то вы воевода, а мы слуги, орудие вашей воли, – слышалась чья-то угодливая речь.

– Мы покуда здесь все равные члены, – отвечал Жвирждовский, – дело другое на поле битвы. Ум хорош, а два лучше, как говорят москали.

– А я не мужик-москаль, – образованный пан, замечу: *Du choc des opinions jaillit la vérité*,⁷ – сказал с выдавшимся брюшком господин.

– Пан очень любит эти безвредные *шоки*, – заметил один из офицеров, – посмотрим, так ли он будет действовать, когда раздадутся *les chocs des armes*.⁸

Стабровский пожал плечами.

– Нечего пожимать плечами, – вмешался неугомонный спорщик.

– Поневоле пожмешь, когда у нас время проходит в пустословии: дайте же говорить дело пану воеводе; этак мы никогда не покончим.

Суздилович открыл было рот, чтобы опять спорить, но сидевший подле него шепнул ему, что он воротится домой голодный, если будет продолжать спор, и тот замкнул уста.

– Соединимся же братски в патриотическом национальном гимне: «Боже цось Польске!» – воскликнул с одушевлением Жвирждовский.

– Боже цось Польске, – подхватил хор. Когда хор замолк,

⁷ *Du choc des opinions jaillit la vérité* – в споре рождается истина (*фр.*)

⁸ *les chocs des armes* – бряцанье оружия; военное столкновение (*фр.*)

оратор продолжал:

– При этом торжественном клике, раздающемся от Вислы до Днепра, от Балтийского моря до Карпатских вершин, Польша, гремя цепями своими на весь мир, облеклась в глубокий траур. Схватив в одну руку меч, в другую крест, она не наденет цветного платья, пока этими орудиями не поборет своих притеснителей. И меч и крест сделают свое дело.

– Сделают, сделают, – повторили многие голоса.

– Со всех мест, где было ее исконное господство, сзывает она около себя верных сыновей своих. Поспешайте, друзья мои, на этот призыв. Вы, может быть, спросите меня, почему мы не воспользовались гибельным положением России во время крымской кампании? На это я скажу: мы и обстоятельства не были тогда готовы. Французы, англичане, итальянцы, наши верные союзники, занимались своим делом: им было не до нас. Теперь иное время. Благоприятные обстоятельства для нас созрели. В России совершилась эмансипация; она не удовлетворила хлопков и раздражила землевладельцев. Золотые грамоты загуляют по Волге, в местах, где были бунты Стеньки Разина и Пугачева. Все движется по направлению, данному нашими агентами. Наша интеллигенция занимает все надежные посты, из-за которых бросает свои разрушительные снаряды. В противном лагере дремлют или мечтают; мы работаем, нам помогают. Видите, время удобное.

– Берегитесь пробуждения, оно будет ужасно, – сказал Пр-

жшедилковский, – по моему разумению – эмансипация крестьян, напротив, отвратила от России многие бедствия. Думаю, эта же эмансипация в западных и юго-западных губерниях нагонит черные тучи на дело польское и станет твердым оплотом тех, от кого они ее получили. Вина поляков в том, что паны до сих пор помышляли только о себе, а хлопья считались у них быдлом. Силен и торжествует только тот народ, где человечество получило свои законные права.

– Вот вам и тринадцатый вещий ворон, – гневно подсказал Суздилович.

– Мы дадим народу еще более широкие права, – отозвался Жвирждовский.

– Пока все это обещания, исполнение уже опоздало; надо было думать об этом прежде, – возразил Пржшедилковский. – Правда, польские уроженцы заняли надежные места по всем ведомствам и действуют искусно, чтобы везде на русской земле возбудить смуты; учение польских наставников, козни польских эмиссаров, влияние польских администраторов посеяли гибельные семена; кровавая жатва всходит...

– Нечего жалеть кровь еретиков, – воскликнул ксендз Б.

– Пора перестать нам, подавно служителям алтаря Господня, в наш просвещенный век веру христианскую, какова бы она ни была, называть еретической потому, что она не наша.

– Наконец это дерзко. Видано ли, чтобы овца учила своего пастыря! Не думаете ли вы, пан философ Пржшедилковский, перейти в эту восточную схизму, проклятую нашим святей-

шим отцом? Ваша супруга и дети погрязли уже в ней.

– Моя жена русская и русского исповедания; по закону и дети мои должны быть такими. Что же касается до меня, то вы лучше других знаете, пан ксендз, какому исповеданию я принадлежу, потому что бываю у вас ежегодно на духу. Не для святейшего отца я это делаю, а потому, что родился, вырос и воспитывался в вере моих отцов. В этом исповедании и умру. Но мы отступили от главного предмета наших рассуждений и потому позволю себе спросить вас, пан Жвирждовский, какое войско выставит Польша, каких вождей она даст ему, где возьмет оружие?

– Время родит вождей, – отвечал воевода. – Наше войско многочисленно и одушевлено патриотизмом, но до времени притаилось по домам. Оно выступит из земли, когда мы кликнем ему клич, и удивит мир своим появлением. Покуда оно худо вооружено, худо обмундировано; но если нужно будет, косари наши, в белых сермягах, также сумеют резать головы москалей, как они привыкли косить траву. Мы видели, что во время французской революции нестройные сброды санкюлотов, босоногих воинов, побеждали регулярные армии.

– Босоножек этих водили генерал Бонапарт и полководцы, каких ныне уже нет.

– Наш главный вождь, Мерославский, хотя и не такой великий гений, но умный, храбрый воин, испытанный стратег. Он не ударит лицом в грязь. Война, как я сказал, родит

и других вождей. Что до моего воеводства, то я имею уже полковников из поляков, служивших в русских полках, надежных по своему патриотизму, уму, знанию военного дела. Ожидаю в большом числе и других из военных академий. Не стану исчислять вам имена тех, которые должны командовать отдельными отрядами. Для примера, однако, укажу вам на Ричарда Стабровского, брата нашего хозяина.

– О! на этого мы возлагаем большие надежды, – сказал один из офицеров.

– Этот далеко пойдет, – подхватили другие.

– В случае, если я буду ранен или убит, он заменит меня, – сказал Жвирждовский.

– Он заменит и Мерославского, – кричали иступленные поклонники прапорщика Ричарда Стабровского.

– Могу представить вам еще одного надежного полковника – здешнего хозяина. Ему поручается очень важный пост. Когда на всех пунктах восстания в Могилевской губернии отряды сделают свое дело, пан Владислав, пользуясь чрезвычайно лесистой и болотистой местностью, где будет до поры до времени скрываться, при появлении неприятеля вдруг выступит из этих лесов и болот и ударит во фланг его. Этот удар будет решительный. Мать пана, истинная патриотка, и друзья ее ручаются ему за две тысячи повстанцев, хорошо вооруженных, только на условии, чтобы старший сын ее командовал ими. Вы, конечно, догадываетесь, что нынешнюю революционную войну будем мы вести иначе, нежели

предшествующую. Я назову ее войной партизанской, гверильясов. Мы станем действовать отдельными отрядами в наших дремучих лесах, как будто нарочно сбереженных для подобного рода действий. Здесь каждому начальнику отряда предоставлена полная свобода, и потому нам генералы Бонапарты не нужны.

Заговорщики приветствовали хозяина с важным назначением. Владислав холодно принял поздравления.

– Кажется, русские начали рубить леса вдоль железных дорог, а другие, вековые, заказные и прежде двинулись из Литвы в Балтийское море, – насмешливо заметил кто-то.

– Еще будет с нас. Сражаясь на родной земле, дома, мы найдем на своей стороне важные преимущества. Каждая тропинка, каждый куст, овражек нам знакомы. Ныне ночуем настороже в непроходимом лесу, завтра пируем у брата нашего гостеприимного пана. Нырнем здесь, вынырнем за десять миль. Лазутчики, проводники, ксендзы, шляхта, пани и паненки – все помогает нам. Мы разрушаем железные дороги, перехватываем транспорты, батареи с ненадежным конвоем, опустошаем русские кассы, палим жатвы, амбары еретиков, нападаем на сонных солдат, сжигаем вместе с хатами, режем их. Оружие доставляют нам Чарторыжские и Замойские; монастыри мужские и женские будут тайными складами этого оружия; от польских комитетов в Париже и Лондоне получаем деньги.

– И от патриотов, живущих в России, – спешил словом

своим дать перевести дух витии один из собрания, средних лет, довольно приятной наружности, мощно сложенный.

Это был Людвикович. Засунув руку в боковой карман фрака, он вынул оттуда пакет, раздувшийся от начинки его.

– На первый раз, пан воевода, кладу на алтарь отчизны две тысячи рублей, и если они будут благосклонно приняты...

– Еще бы! – радостно перебил Жвирждовский, принимая пакет и кладя его в боковой карман своего русского мундира.

– Завтра представлю вам еще десять тысяч и каждые четыре месяца столько же.

– Благодарю от лица всех наших братьев и матки нашей, Польши, – молвил с чувством воевода, пожав в несколько приемов руку щедрого дателя.

– Виват, пан! Молодец, пан! – загремело в собрании.

– Немудрено, что пан так щедр, – ввернул тут свое замечание пузатенький господин, – он родился под счастливыми созвездиями Венеры и Меркурия: эмблемы понятны – любовь и торг. Он нашел неистощимый клад в сердце одной вдовы-купчихи, которой муж оставил огромное денежное состояние. Старушка от него без ума: что ни визит, то, думаю, тысяча.

– Все средства хороши, лишь бы достигали своей цели, – заметил ксендз, – кто рвет цветы в молодом цветнике, кто плоды в старом вертограде.

– Наши офяры по списку, который я держу, простираются уже до значительной суммы, – сказал один из членов собра-

ния.

– Будьте осторожны с письменами, – внушил ему Жвирждовский.

– О! на этот счет можете быть спокойны; я пишу их разными гиероглифами.

– Хорошо бы было, если б вы доставили мне завтра же все собранные деньги. Спешу в Петербург для набора рекрут-офицеров, да особенно нужно мне переговорить с Огризкой. Вот этот гений по своей профессии, самого диавла обманет, лишь бы не наткнулся на одного человечка. Идет шибко в гору... Да найдите верную персону, которая лично будет доставлять мне приношения.

– Я беру на себя эту обязанность, – сказал один из собрания, – кстати, у меня есть дела в присутственных местах Могилевской губернии.

Воевода благодарил.

– Виват наша интеллигенция! Она ручается нам за верную победу на всех путях наших. Вот наши скромные средства вести войну, пан Пржшедиловский, – прибавил иронически воевода, обратясь к тому, в ком он видел своего антагониста.

Пржшедиловский молчал.

– Досадно больно, однако ж, – сказал Людвикович, положивший важный куш на алтарь отчизны, – что наши же братья-поляки, узнав мою тайну, обнаруживают ее нескромными речами и расстраивают мои виды на богатую вдову. Уж и в Петербурге об ней узнали и возбудили некоторые, хо-

тя и не опасные подозрения в таком месте, куда бы они не должны проникнуть. А я так было все хорошо устроил в доме Маврушкиной. Я у нее врачом, адвокат поляк, гувернер, учителя – тоже поляки. Недавно ввел я к ней досточтимого пана ксендза Б. И вдовушка и дети без ума от его вкрадчивых речей. Еще должен прибавить, что нескромность моих компатриотов вызвала наших эмиссаров к непрерывным требованиям от меня денег. Одни пишут прислать им столько-то, другие столько. Вот и вчера получил я письмо из Петербурга о высылке 25 пар сереньких перчаток.

– Что ж из этого? Перчатки не Бог знает что стоят.

– Как будто нельзя найти серых перчаток в Петербурге! Могли бы распечатать письмо; ловкий комментатор смекнет, что не перчатки требуются, а 25 пар пятидесятирублевых серых кредиток. Слава Богу, письмо осталось в девственной оболочке, потому что было адресовано на имя одной русской паненки.

– Которая, не так как вдовушка, довольствуется пока одною платонической любовью. Пан уже два года ведет ее к алтарю и никак не доведет до сих пор, – подхватил пузатенький господин.

– Ха, ха, ха! – засмеялся воевода. – С одной стороны, деньги, с другой – важные услуги. Браво!

Насмеявшись вдоволь со своими собеседниками этой проделке, он продолжал прерванную речь.

– И так, мы будем вести в начале кампании войну гве-

рильясов. Мое воеводство доставит до 30 тысяч повстанцев; расчислите по этой мерке, что дадут все губернии от Немана до Днепра, по крайней мере 200. Присовокупите к ним войска Франции, Англии, Италии и Швеции. Я получил из Парижа известие, что Мак-Магону велено поставить четвертую колонну на военную ногу. На берег Курляндии высадится десант из Швеции с оружием и войском, предводимым русскими знаменитыми эмигрантами.

– Изменники своему отечеству не могут быть надежными союзниками, – заметил Пржшедиловский.

– Мы должны пользоваться всеми средствами, какие предлагают нам обстоятельства, – возразил Жвирждовский. – Когда подают утопающему руку спасения, он не разбирает, чиста ли она или замарана. Хороши ваши правила во время идиллий, а не революций. Я говорил вам до сих пор, многоуважаемые паны, о наших средствах, теперь изложу вам ход наших действий. Первыми застрельщиками в передовой нашей цепи выйдут ученики Горыгорецкого земледельческого института, основанного недогадливими москалями на свою голову в сердце Белоруссии. Студент Висковский, наименованный мною начальником места, и фигурус Дымкевич не дремлют; гнездо заговорщиков там надежно свито. Они ждут только моего пароля.

– Как бы этот фигурус и студенты не остались на одних фигурах! – сказал Пржшедиловский.

– Они выкинут такие, от которых задрожит земля русская.

– Жаль мне бедных детей, отторгнутых от науки, отторгнутых от семейств, чтобы положить неразумную свою голову в первом неравном бою; жаль мне бедных матерей, которым придется оплакивать их раннюю утрату.

– Оплакивайте их сами, пан Пржшедиловский, если у вас слезы вода, – сказал ксендз. – Наши матери ведь польки; они сами с благословением посылают своих детей на бой с врагами отчизны и, если их сыновья падут за дело ее свободы, поют гимны благодарности Пресвятой Деве.

– Прошу внимания, паны добродзеи, – произнес особенно торжественно Жвирждовский. – Пан ксендзу которого имеем счастье видеть между нами, самоотверженно покидает свою богатую паству в Москве и переселяется в лесную глушь Рогачевского уезда, в один из беднейших костелов губернии. Там его влияние будет полезнее, нежели здесь. Он стоит целого корпуса повстанцев. Его ум, его образованность, его увлекательное красноречие привлекут к нему все наше шляхетство и народ. Паны и паненки уже без ума от одной вести, что он к ним прибудет, и заранее готовятся усыпать его путь цветами и приношениями.

– Благодарим, благодарим, – закричали голоса.

– Великий миссионер нашей свободы!

– Да будет похвален пан ксендз в сем мире и в другом.

– Да воссядет на бискупскую кафедру в польском крулевстве!

Ксендз встал, приложил руку к сердцу и, поклонившись

собранию, произнес с чувством:

– Сделаю все, сыны мои, что повелевает мне отчизна и церковь наша.

– Теперь, – сказал Жвирждовский, – приступим к плану наших действий в обширных размерах. Нынешняя осень и будущая зима пройдут в приготовлениях к организации наших войск. Лучше тише, да вернее. С первым весенним лучем иноземная помощь прибывает с двух сторон – с одной чрез Галицию, с другой, как я сказал, десантом от берегов Балтийского моря. Русские войска достаточно подготовлены пропагандой и деморализованы, чтобы с прибытием союзников не желать долго упорствовать в удержании поголовно восставшей Польши. В это время Литва, в полном восстании, очищается от русских. Гвардии опасаться нечего: в рядах ее имеются друзья.^[5]

– Не ошибитесь, – перебил оратора Пржшедиловский, – два-три офицера из поляков не составляют еще целого корпуса. Русская гвардия всегда отличалась преданностью своему государю и отечеству.

– Смешно! Сидя в своем темном уголке над канцелярскими бумагами, вы, кажется, хотите знать, что делается в политическом мире, лучше меня. Недаром вращаюсь я в тайных и открытых высших сферах.

– Кажется, пан Пржшедиловский *est plus moscovite que les moscovites eux-mêmes*,⁹ – заметил, сардонически усмехаясь,

⁹ *est plus moscovite que les moscovites eux-mêmes* – более москвит, чем сами

ксендз Б.

– Замолчите же, ревностный пасынок России, – закричали голоса.

Пржшедиловский презрительно посмотрел на своих антагонистов.

– Я обстрелен пулями и ядрами, – сказал воевода, – так мне ли смущаться огнем холостых выстрелов! Кончаю. Отряды Сераковского со всех сторон подступают и берут Вильно. Относительно моего Могилевского воеводства: должно сперва временно отбросить – говорю: временно – малонадежные уезды: Гомельский, Климовский и Мстиславский, где, кажется, родился пан, мой оппонент.

– Точно так, – отозвался Пржшедиловский, – вы знали хорошо моего отца и мать.

– Они оказали мне некоторые услуги во время моего сиротства, – сказал покраснев Жвирждовский, – и если бы я их забыл, то давно не позволил бы вам говорить так самонадеянно.

Пржшедиловский взглянул вопросительно на хозяина.

– Позволить или не позволить никто здесь не имеет права, – гневно возвысил голос Стабровский, – у меня в доме пока нет особенного начальства; все мои гости равные и свободные от всякой диктатуры. Говорить и возражать имеет право всякий, кого имею честь видеть у себя. Вы сами это давеча объявили, пан Жвирждовский.

Стабровский, по отношениям Жвирждовского к брату, к матери и своему твердому характеру, не был такое лицо, которое можно было безнаказанно восстанавлять против себя, и потому будущий воевода, проглотив горькую пилюлю, просил у него извинения за слова, сказанные в патриотическом увлечении. Наконец, он приступил к финалу своей заученной речи, сначала несколько тревожным голосом, потом все более и более воодушевляясь:

– Прочие уезды поднимаются с помощью быстро сформированных жондов на берегах Днепра. Тогда, подчинив решительно своей власти все воеводство, устремляемся в Рославский уезд Смоленской губернии. При общем настроении умов в России, обработанных польской пропагандой в учебных заведениях, тайною, зажигательною литературой и прочее и прочее, с появлением повстанцев на Днепре мы, несомненно, тотчас присоединяем губернии: Смоленскую, Московскую и Тверскую и беспрепятственно доходим до Волги. Там, на правом берегу, водружаем наше польское знамя. В этом я ручаюсь вам гонором своим и головой. Разумеется, мы будем только авангардом великой армии союзников. Таким образом, явсь в начале апреля на берегу Днепра, мы избежем ошибки Наполеона, погубившей его в двенадцатом году. Он привел только к осени в Москву войско, утомленное сражениями и походами. Ему лишь стоило остановиться на зимних квартирах в западных губерниях и, подобно нам, двинуться уже следующей весной во внутренность России.

– Умно, гениально задуманное дело, – закричали офицеры. – Виват, пан Жвирждовский!

– Ваше имя не умрет в потомстве, пан воевода, – прибавил кто-то.

Пржшедилловский молчал, потому что на такую заносчивую, шарлатанскую речь нечего было возражать.

– Выгоднее было бы спуститься по Днепру в Киев, – сказал пан Суздилович, шевеля усиками, – и там подписать приговор России.

– Нет, нет, – закричали некоторые из заговорщиков.

– Позвольте объяснить, – просил Суздилович, задыхаясь.

– Нет, нет, – кричали еще громче несогласные с его мнением.

– Позвольте.

– Не позволяем.

Шум возрастал, так что пан в колтуне, продремавший большую часть заседания, проснулся и со страхом озирался.

– На голоса, паны, – сказал Стабровский.

Согласились.

Голоса все были в стороне воеводы.

– Остается нам узнать от вас, панове, – спросил Жвирждовский, – какие обязательства вы на себя принимаете?

– Я не могу отлучиться от своей должности, ни от особы, которая так щедро доставляет мне средства поддерживать польское дело, – сказал опекун богатой вдовушки.

– Добрже, пан.

– Я также собираю здесь офяры и обязан доставлять вам их лично, как мы условились, – отозвался другой.

– Согласен.

– Я учитель, – сказал третий, – и мое дело обрабатывать здешнее юношество.

– И то очень, очень полезно для нас.

– Вы, пан? – громко спросил воевода помещика в колтуне, опять задремавшего.

Тот протер себе глаза и отвечал:

– Я уж вам сказал, что снаряжаю сто повстанцев, одеваю и содержу на свой счет.

– Прекрасно!

Офицеры вызвались явиться по первому призыву в отряд Владислава Стабровского, которому, как военные могли быть полезны в организации повстанцев.

Студенты объявили то же.

Одобрено.

– Я жертвую на первый раз пять тысяч... – успел только произнести пузатенький господин.

– Рублей серебром, – подхватил один из студентов.

– Злотых, – сердито договорил Суздилович. – Если бы вы не перебили меня, я сказал бы рублей.

– Вы богаты, пан, – заметил Жвирждовский, – могли бы больше...

– Обязываюсь вносить ежегодно столько же в кассу жонда, пока продолжится война.

– Пан надеется на троянскую войну, – заметил студент.
И все засмеялись.

Задетый этим смехом за живое, Суздилович самоотверженно объявил, что он обязывается сверх того проливать кровь свою за отчизну в отряде Владислава Стабровского.

– В некотором роде, – прибавил Пржшедиловский, хорошо знакомый с русской литературой.

– Я буду работать этим кинжалом в отряде пана Владислава, если он пожертвует его мне, – зыкнул Волк, – и не положу охулки на руку.

– Вам давно нравится этот кинжал, – сказал Стабровский, – хотя это подарок матери, он не может перейти в лучшие руки, чем в ваши.

Волк обнял Владислава. Лишь только бросился он к кинжалу и задел этим движением стол, гибкая сталь еще жалобнее прежнего заныла. Вынув мускулистой рукой глубоко засевший клинок, он поцеловал его.

– А вы, пан Пржшедиловский? – спросил воевода.

– Безрассудно было бы мне покинуть на произвол судьбы жену и двух малолетних детей; не могу жертвовать и деньгами, потому что я беден и только своими трудами содержу семейство свое.

– Но вы можете быть полезны, распространяя в обществах и между своими сослуживцами вести, благоприятные для польского дела, подслушивая, что говорят между ними опасного для этого дела, и нас уведомляя.

– Разве для того пан примет эту обязанность, чтобы вредить нам, – отозвался кто-то.

– Вот видите, – сказал Пржшедиловский, – и я на низкую роль шпиона не гожусь, а потому здесь лишний и удаляюсь.

– Лучше искренний враг, чем двусмысленный друг, – проворчал воевода.

– Ни тот ни другой, – холодно отозвался Пржшедиловский.

Он успел только проговорить, как вбежал в кабинет Кирилл и доложил своему господину, что к хозяйке приходил квартальный и спрашивал ее, почему у пана такое большое сборище поляков.

При этом известии у многих вытянулись лица; Суздилевич собирался уже утечь в спальню хозяина.

– Не тревожьтесь, – сказал Владислав спокойным голосом, – я уж научил панну Шустерваген объявить любопытным, что мы провожаем русских офицеров в Петербург. Впрочем, хозяйка умеет ладить со здешними аргусами.

Все успокоились.

Пржшедиловский взял шляпу и, отведя Владислава в сторону, тихо сказал ему:

– Прощай, друг, я не останусь у тебя завтракать. Боюсь, чтобы твои гости, упоенные добрым вином и торжество будущих своих побед не вздумали оскорблять меня за то, что я не согласен с их шарлатанством. Меня дома ждут жена и дети, и я в кругу их отдохну от всего, что здесь слышал и видел.

Владислав не настаивал, но вызвался проводить друга своего в коридор.

Здесь они остановились. Пржедиловский крепко пожал ему руку и, видимо, тронутый, сказал, покачивая головой:

– Et toi, Brutus?¹⁰ И в этом сумасбродном обществе?..

– Разве я не вижу, что они безумствуют, что все их планы не более, как мираж? Но я решил покончить так или сяк со своей судьбой. Для меня все равно, погибнуть ли в обществе рассудительных людей или безумцев.

– А Елизавета? Я надеялся, что ты будешь с нею счастлив по-моему.

– Не мне суждено это счастье. Она отвергла мою любовь; у нее есть жених. Я зол на нее, зол на отца ее, на всех русских. Польское имя здесь в презрении.

– Безрассудный!

– Все кончено. Прощай, друг, мы, может быть, больше не увидимся.

Слезы навернулись на глаза обоих. Они горячо обнялись и расстались.

– Слава Богу, тринадцатый выбыл из нашего общества, – сказал Суздилович, – за столом этого рокового числа не будет.

– Ну его к диавлам! – сердито прибавил Жвирждовский.

Клятва, установленная высшим трибуналом жонда, была

¹⁰ Et toi, Brutus? – И ты, Брут? (*лат.*) По легенде, последние слова Юлия Цезаря, обращённые к его убийце – Марку Юнию Бруту.

произнесена членами общества, принявшими на себя, каждый по средствам своим, обязанности служить делу отчизны.

– Теперь, панове, мы сыты по горло духовными требами, примемся здесь за утоление голодных телес наших, – провозгласил хозяин.

Суздилович, любивший хорошо покушать, от радости то потирал себе руки, то похлопывал себя по пустому брюшку.

Спешили с завтраком. К трем часам стол был сервирован, блюда подавались избранные, вино лилось в изобилии, Кирилл и три хорошенькие девушки прислуживали за столом не хуже татар Дюссо. Было много тостов на французском языке, непонятном прислуге. Пили дружно за свободу отчизны, великих союзников, за Чарторижского, Мерославского, Сераковского, воеводу могилевского, хозяина, отсутствующих пулковников, был тост в честь польского знамени, водруженного на правом берегу Волги. Особенно воевода и ксендз соперничали друг перед другом в осушении бокалов. Владислав по временам задумывался, но старался залить вином огонь, его пожиравший.

Все гости уже встали из-за стола, отяжелевшие от изобилия вин и яств, они посели и легли в разных позах на диванах, кушетках и креслах, кто дремля, кто болтая всякий вздор, кто закулив сигару.

Исчезли следы завтрака, женская прислуга была отпущена, оставался один Кирилл за своей перегородкой, отправлявший в свой желудок остатки кушаньев.

Послышался звонок, и вслед за его дребезжащим звоном влетела в кабинет, шурша своим длинным шелковым шлейфом, молодая дама, блистая красотой, парюю обворожительных глаз и алмазами, сверкавшими на ее груди и в ушах. Она была в трауре, скрашенном некоторыми туалетными принадлежностями национального цвета. При появлении ее все спешили оправиться и встать со своих мест.

– Виват, панна N. N! – громогласно раздалось по комнате.

– Шт, – прошептала она, положив палец на свои розовые, соблазнительные губки, потом прибавила очаровательным голосом. – Я знала от пана Жвирждовского, что вы собираетесь здесь для великого дела Польши. Простите великодушно, что не могла быть с вами вовремя, занята была по этому же делу. Уверена, что вы все исполнили свой долг. Я приехала к вам на несколько минут, чтобы положить и мою офяру на алтарь отчизны.

Она развернула большой сверток, который держала в руке. Это было знамя с богатыми золотыми украшениями и изображением на нем одноглавого белого орла, державшего в своих когтях черного двуглавого. Сверху была надпись: «*Za niepodległość ojczyzny*»¹¹, а над ней Пресвятая Дева в сопровождении папы, благословляющие коленопреклоненных перед ними воинов в старопольском вооружении.

– Я приношу это знамя легиону могилевского воеводы Топора (пана Жвирждовского), – сказала красавица, – вы зна-

¹¹ *Za niepodległość ojczyzny* – За независимость отечества (польск.)

ете, что я после смерти мужа до сих пор отказывала в руке моей всем ее искателям. Тот, кто водрузит это знамя на куполе смоленского собора, хоть бы он был не лучше черта, получит с этой рукой мое богатство и сердце. Клянусь в том всеми небесными и адскими силами.

– Виват, панна N. N! – закричали восторженные голоса.

– Нас принесут мертвыми к вашим ногам на этом знамени, – сказал Жвирждовский, – или с этим знаменем в руке, но только с прибавкой на нем новой надписи: «развевался на главе Ивана Великого».

– Клянемся, клянемся! – подхватили другие.

– Теперь, пан Стабровский, мне бокал шампанского за успех нашего общего дела и за здоровье присутствующих и отсутствующих освободителей Польши.

На поверхности бокала, стремительно налитого усердной рукой, образовалась пенистая коронка, метавшая от себя искорки. Жвирждовский подал ей на маленьком серебряном подносе, преклонив перед ней, как рыцарь перед дамой своего сердца, одно колено. Обведя бокалом все собрание, она молодцевато осушила его.

– Теперь за здоровье панны, перед которой вся Польша должна преклонить колени; только не из бокала, а из ее башмачка! – воскликнул Жвирждовский.

Красавица ловко скинула башмак с крошечной своей ножки и передала его воеводе. Шампанское было в него налито, и пошла круговая ходить при оглушительных виватах.

Когда панна надевала башмак на ногу, кто-то заметил, что она может простудиться.

– Женщины, в которых течет польская кровь, не простуживаются, когда сердце их согрето патриотизмом друзей, – отвечала панна, и распростилась со своими восторженными поклонниками. – Не могу дольше оставаться с вами, – прибавила она, – дала слово быть в этот час в одном месте, где должна поневоле кружить головы москалям.

«Я знаю одну подобную ножку у русской красавицы, – подумал Владислав, настроенный вином и прошедшей сценой к чувственным впечатлениям. – О! эту ножку я обсушил бы своими поцелуями!»

К шести часам вечера заговорщики разошлись все по домам, иные спеша уехать по своему назначению, другие желая поспеть к отъезду Жвирждовского со своими услугами.

V

Сурмин, посещая по временам Ранеевых, выигрывал все более и более в сердце старика. Михайло Аполлоныч угадывал, что Лиза сделала на него сильное впечатление, и почел бы себя счастливым, если бы мог назвать его членом своего семейства. Лиза находила удовольствие в его обществе, в его беседах, нередко спорила с ним, радовалась, когда успевала над ним торжествовать, находила его добрым, умным, любезным, достойным составить счастье девушки, с которой соединил бы он свою судьбу. Но, к отчаянию своему, влюбленный молодой человек в ее речах и обращении с ним не находил до сих пор того, что можно было бы признать за чувство, которого добивался. Кокетства, желания завлечь его сильнее в свои сети он также не находил даже малейших следов.

У Ранеевых он познакомился с новой интересной личностью, Антониной Павловной Лориной. Это была сестра хозяина дома, в котором они квартировали, и самая задушевная подруга Лизы. Тони передавала она свои радости и печали, свои тайны, кроме одной, которую поверила только Богу. Чтобы короче познакомить читателя с этим новым лицом, я должен отступить от начатого рассказа.

Павел Иваныч Лорин, уйдя с военной службы гвардейским капитаном, был избран в губернии, где имел прежнее

поместье, совестным судьей и в этой должности приобрел себе доброе имя. Пробыв в ней два трехлетия, он распростился с нею и губернией и переселился в Москву, где его жена по случаю купила на свои деньги и имя небольшой дом на Пресне. По приезде сюда у них были три сына и три дочери, от четырех до пятнадцати лет. Здесь поручили старших воспитанию русской гувернантки, девицы Фундукиной, вышедшей из казенного заведения кандидаткой 1-го разряда. И недаром досталась ей пальма первенства. Она отлично знала языки: французский и немецкий, была непогрешима и против грамматического кодекса русского; помимо этих знаний владела некоторыми искусствами – хорошо рисовала, изучила музыкальную школу и была истинною художницей в каллиграфии. Все, что знала, она умела и передать своим ученикам и ученицам. Прибавьте к этим достоинствам доброе обращение с ними, заботы о здоровье матери и детей, и вы согласитесь, что такая воспитательница была истинным кладом для Лориных. За то и платили они ей полным доверием, теплою благодарностью и любовью.

Скоро, по болезни Лориной, Фундукина приняла в свои руки и бразды домашнего хозяйства. И тут у нее все спорилось, удивлялись только, как ее хватало на такие разнородные занятия. Благодетельное ее господство, которое она старалась скрасить вкрадчивыми услугами чете и добрым обращением с прислугой, простиралось на все, ее окружавшее. Пользуясь привязанностью к ней госпожи Лориной и неко-

торами признаками минутного увлечения мужа, она стала забрасывать в его душу разные зажигательные вещества, на которые кокетки так изобретательны. Назвать ее хорошенькой нельзя было, но, с одной стороны, молодость (ей было с небольшим двадцать лет), свежесть, румяные щечки, из которых кровь, казалось, готова была брызнуть, девственные формы, искусная работа сереньких глаз, то бросающих мимоходом на свою жертву меткие стрелы, то покоящихся на ней в забытии сладострастной неги; с другой же стороны жена, давно больная от испуга после родов во время пожара, – все это приготовило капитана к падению. Лорина, ослепленная новыми, усиленными заботами о ней Фундукиной, ничего не подозревала. Не скрылась эта связь от прислуги, даже дети смутно понимали ее. Нашелся, однако ж, усердный член дворового штата женского пола, который потрудился открыть глаза своей госпоже. Удар был силен, но несчастная женщина ни одним словом, ни одним знаком не обнаружила мужу и гувернантке, что знает роковую тайну. Между тем она с каждым днем гасла все более и более и, наконец, совсем угасла, как огонь в лампаде, который перестал питать поддерживающий его елей. Дети оплакали ее горячими слезами, плакал муж, но кто видел, как он в эти горячие минуты охорашивался в зеркале, как будто говоря: «Хоть куда еще молодец!» – мог догадаться, что они не текли из глубины души. Поплакала притворно и гувернантка, мысленно предвидя приятную развязку этой драмы. Развязка эта не застави-

ла себя долго ждать. Через три-четыре месяца Лорин повел свою бывшую тайную подругу к венцу. Скоро новая madame Лорина, как артистка, искусно разыгравшая свою роль и сошедшая со сценических подмостков, явилась перед семейством мужа и домочадцами в безыскусственном виде. Здесь она не имела более нужды скрывать свои природные качества. Все вокруг нее почувствовали, что жезл, которым она прежде так легко и благотворно правила, вдруг чувствительно отяжелел. Если он обвивался иногда цветочною вязью, так только для Павла Иваныча, и то в часы, когда нужно было выманить у него подарок, выходящий из ряда обыкновенных. У него, как мы уже сказали, было хорошенькое поместье в губернии, где он прежде служил. Боясь, чтобы оно после смерти настоящего владельца не перешло к его законным наследникам по частям, а ей пришлось бы только ничтожная доля, она сочла за благо воспользоваться им без раздела и потому уговорила мужа продать его. Полученные за имение деньги перешли на ее имя билетами опекунского совета. Прочее движимое имущество завещано ей законным актом. Корыстолюбие ее не знало границ и проявлялось даже в мелочах. С годами у нее появились свои дети; тех же, которые были от первой жены, она держала в загоне. Их поместили отдельно в небольшие комнаты мезонина, худо отапливаемые, иногда через день, через два, так как Лорина находила, что все тепло снизу уходит к ним наверх. Обращение с ними было не только холодное, но и суровое. Если они и доста-

ивались ее лицемерия, так для того только, чтобы приветствовать отца и мачеху с добрым утром и пожелать им на сон грядущий спокойной ночи, да приложиться к их ручке. Не обходилось, однако, при этих торжественных приемах, чтобы она не бранила кого-нибудь из пасынков или падчериц. Больше всех доставалось Тони, которую она особенно не любила за то, что обидчивая девочка не всегда подчинялась ее деспотизму.

– *Ce petit lutin me fouette toujours le sang*,¹² – говорила она мужу и посторонним.

Дети от первого брака не обедали с ней и отцом за общим столом; кушанья, и те в обрез, подавали в их отделение, как подачку со стола господ. Сама чета с новым выводком комфортабельно жила в бельэтаже. Но и между детьми своими, которых через несколько лет насчитывала также до шести, госпожа Лорина имела двух любимцев-баловней – старшую дочь и старшего сына, остальных она не жаловала. Особенно не терпела одного, Петю, *последыша*, как говорят у нас в народе, обыкновенно больше других любимого отцом и матерью, бабушкой и дедушкой. Этого худенького, слабого ребенка она беспрестанно преследовала своими гневными придираньями, бранью и даже побоями. Встал не так, взглянул не так, – и тяжелая рука ее падала на худые щечки, на голову малютки. Это была какая-то непонятная ненависть к нему, не смягчаемая ни его покорностью, ни видом болезненного

¹² *Ce petit lutin me fouette toujours le sang* – этот шалун бьет меня до крови (*фр.*)

состояния. Бедное, загнанное, забитое дитя дрожало от одного ее появления, от одного взгляда. Только в защите отца, вспыхивавшей в редкие минуты самостоятельности, в горячих ласках, украдкой расточаемых, на груди его находил Петя кое-какие жизненные силы. Так, хрупкая былинка, едва держась в земле иссыхающим корешком сохраняется еще нежными заботами садовника.

Между тем проходили годы, время облетало подлунную или подсолнечную, как хотите, и вычеркивало миллионы из списка живущих на ней, от царя до поденщика, великих и малых. В числе последних пришла очередь и Павлу Иванычу. Пожил довольно на свете, исполнил верно завет, данный Предвечным начинателю человеческого рода, народил двенадцать детей, не считая умерших, – чего же больше? Не велика потеря для мира, невелика и для семьи, кроме одного бедного мальчика Пети, без него осиротевшего. Похороны были скромно справлены, с одним священником и его причтом, без балдахина с рыцарским плюмажем, без коней в черных пополах, без факелов, которых зловещий огонь, красноватый среди белого дня, с их смолистым куревом, так жутко бросается в глаза прохожих. Да из чего было делать эту дорогую процессию неутешной вдове, оставшейся с многочисленным семейством, по слухам, ею распущенным, совершенно неимущей? Шествие к кладбищу было поразительно грустным. За гробом, в совершенном изнеможении она шла, поддерживаемая за обе руки своими родны-

ми. Вслед за ней плелись двенадцать человек детей от двух многоплодных браков, разных возрастов. Старшая дочь от первого брачного союза удушливо кашляла; злая чахотка от простуды в сырой, холодной спальне, не облегченная в своем начале никакими врачебными пособиями, пустила глубокие корни в ее груди. Она это знала и давно покорила воле Божьей, утешая себя только тем, что жизнь ее продлится недолго; Петю нес на руках своих дворник Лориных отставной семидесятилетний солдат как лунь белый, но еще крепкий старик, в порыжелом мундире, украшенном медалями 12-го года и за взятие Парижа и анненским солдатским крестом. Черные глазки малютки, горевшие болезненным огнем, выскакивали из шафранного личика и приковались к трупу покойника. Он тянул свои исхудалые ручки к гробу и жалобно причитал: «Возьми меня, папаша, с собой». Священник и причт, привыкшие к похоронным сценам, смотря на этого бедного ребенка, слыша его стенания, не могли удержать слез своих. Долго еще после того рассказывали они своим прихожанам, какое грустное чувство оставили в них похороны Лорина. Прошло шесть недель, и многочисленное его семейство стало редеть в доме на Пресне, как стая голубей, распуганная налетом коршуна. Сама Лорина со старшим сыном и старшею дочерью выехала из дому, который по наследству принадлежал детям от первой жены, и переехала в наемную квартиру. При этом переезде она захватила с собой из движимости все, что могло иметь какую-нибудь

цену, от серебряной ложки до глиняной плошки и обручей со старых бочонков. На новом месте, отслужив молебен, она стала поживать в полном довольстве. Старшую падчерицу снесли скоро на кладбище, где безмятежно почивал прах ее отца. Петю снес в воспитательный дом все тот же семидесятилетний дворник. Сестры и братья его, от которых он был так безжалостно отторгнут его родной матерью, простились с ним со слезами, иные с рыданиями. Когда его вынесли за ворота, инвалид велел ему перекреститься. Исполнив это, он еще долго оборачивался на свое гнездо и родных, стоявших у ворот и благословлявших его. Когда же потерял их из виду, «вздыхнул, так тяжело вздохнул, – говорил после инвалид, – словно кто меня в грудь ножом пырнул».

Недолго промаялся Петя в своем новом приюте, где увидел незнакомые лица, может быть неприветливые, напоминавшие ему суровую мать. Тоска по родным и болезнь свалили его. Он отдал Богу душу и последнее свое прощальное слово старшему брату и Тони, приехавшим навестить его и усладить, чем могли, его участь.

Четырнадцатилетнюю Тони взяла к себе старушка, аристократка, узнавшая о бедном положении многочисленного семейства Лориных, и увезла ее с собой в Петербург. Она дала слово заменить ей мать и тем охотнее исполнила это слово, что скоро полюбила свою названую дочь за ее прекрасные душевные качества.

Одну из собственных дочерей, пятилетнюю, Лорина по-

местила в малолетнее отделение воспитательного дома, что на Гороховом поле, другую, постарше, в Николаевский институт, собственного сына отдала в гимназию на казенный счет, другой, от первого брака, поступил юнкером в пехотный полк. Оставались в доме матери трое из детей от первого брака. Один, старший, Иван, по окончании курса в университете, служил столоначальником в каком-то судебном месте и адвокатствовал по делам, которые не производились в месте его служения. О нем скажем только, что он был неглуп, точен в исполнении своих служебных обязанностей и во всех своих делах, добрый брат. Другой, несколько моложе его, Павел, кончивший курс в гимназии, служил помощником столоначальника в том же суде; здесь не могли нахвалиться его деятельностью. Знакомлю с ним читателя только на шапочный поклон. При них оставалась сестра, лет пятнадцати, Даша. Года через два по освобождении своем от ига мачехи она сделалась помощницей своих братьев по служебным обязанностям. Из-за маленького роста ее, Тони прозвала ее *Крошкой Доррит* (главное лицо в романе этого названия Диккенса). Так разместились все члены многочисленного семейства волею Провидения и дипломатическими заботами госпожи Лориной. И заслужила же она себе в свете славу хорошей матери и примерной мачехи. Прибавить надо: лучшею, существенно ей наградой, как искусной актрисе на мирской сцене, был порядочный капиталец, оставленный ей мужем и обеспечивший ее на всю жизнь. Присоедините к этому

небольшую сумму, завещанную ее любимой дочери богатым старичком, державшим у купели на своих руках эту дочку и к которому она умела подделаться, развлекая его по целым часам игрою в *дурачки*. Возвратимся к Даше, или Крошке Доррит, как называла ее сестра. Характеристику ее нужно мне дополнить по особенной симпатии к ней. Даша была маленькое, крошечное созданище. Какого роста сложилась она в 14 лет, такую и осталась навсегда. Между тем во всех частях ее фигурки и в целом Не было ничего уродливого; все в ней гармонировало одно с другим. Миловидное, умное личико с правильными по величине ее чертами, с глазками, блестящими как два черных граната, обведенными черными бровками, было особенно привлекательно добродушием, на нем выступавшем. Смотря на нее, вы сказали бы, что это — доброе дитя, неспособное никогда сердиться. И в самом деле никто в доме не слышал, не видел ее гнева. Только услугами своими, ласками, утешениями давала она знать о себе в своем семействе. Когда в этих услугах и утешениях не нуждались, ее не было слышно, как будто она и не существовала в доме. Бывали, однако ж, у нее вспышки необыкновенной настойчивости, вследствие каких-нибудь твердых убеждений, и тогда ничто не могло сбить ее с этих убеждений. Оставшись жить с двумя братьями, Даша видела, что эти бедные труженики приносили с собой из суда целые кипы бумаг и, заснувши часок после обеда, принимались писать и писать целые ночи напролет. Ей стало жаль их. Фундукина переда-

ла ей вполне, как ни одной из сестер, свой каллиграфический талант; Даша задумала воспользоваться им, чтобы помочь братьям в их трудах. Задумано и исполнено: она стала переписывать не только канцелярские деловые бумаги, но и прошения, даже на высочайшее имя таким мастерским, четким почерком, что надо было любоваться, как она своею маленькой ручкой проворно низала строки, будто нити крупного жемчуга. Вдобавок сам Греч не мог бы найти в этих строках грамматической ошибки – достоинство, которое редко встречается и у хороших канцелярских писцов. Слава Даши Лориной, как отличного каллиграфа росла понемногу. К ней чаще и чаще стали обращаться просители, труды ее вознаграждались гонорарами, достававшим не только на ее скромный туалет, но и на некоторые домашние нужды ее маленького семейства. Богатые, особенно купцы, за переписку прошений на высочайшее имя щедро платили ей. Завоевав себе славу хорошего переписчика, Даша, подстрекаемая самолюбием, захотела сочинять деловые бумаги. С навыком к ним, природным умом и смышленностью, приученная братом отыскивать в разных уложениях приличные к делу законы, она вышла из этой школы маленьким чудом-адвокатом. Первые опыты были одобрены братом, вторые оказались еще удачнее и так далее и далее. Разумеется, просители в этой крошке-девочке не подозревали своего настоящего адвоката, скрытого за именем брата, но большею частью изъявляли желание, как неперемнное условие, чтобы бумаги их бы-

ли переписаны *легкой*, золотой ручкой барышни, потому что ручка эта, как гласила молва, приносила счастье. И все это делала Даша без всякого учения об эмансипации женщин, коммунистических и социалистических доктрин, о которых она не имела и понятия.

Русская Крошка Доррит была особенно дружна с меньшим из двух братьев своих, с которыми жила. По привязанности их друг к другу, по одинаковым склонностям, смирению и доброте души, они, казалось, родились двойниками. С малолетства предалась она глубокому религиозному направлению. Духовная ли натура их была так создана, настроили ли ее беседы старой набожной няни о великих христианских сподвижниках и рассказы о страданиях матери их, которая, как святая, несла свой крест, чтение ли духовных книг и церковное служение укрепили их в этом благочестивом направлении, – так или иначе, Даша и Павел с годами почувствовали, что теплая молитва к Богу – высшая отрада человека. Они не пропускали ни одной ранней обедни. К поздней, особенно в праздники, они не любили ходить, избегая многолюдства, которое пугало и смущало их робкие души. Зато в эти дни они усердно молились дома, оградив себя от посторонних глаз в комнате, менее других посещаемой. При этом они произносили или пели молитвы, установленные церковным богослужением. И как стройно, умирительно пели они – брат своим чистым баритоном, сестра своим сладким голоском. В праздное от занятий время

они читали духовные книги и беседовали о том, что прочли. Случалось, что, прекратив чтение, сидя рядом в широком отцовском кресле, они, обнявшись, засыпали. Смотря на их улыбающиеся во сне лица, можно было догадаться, что им видятся светлые видения. В их религиозном настроении не было, однако ж, никакого ханжества. Ни про кого во всю жизнь они не сказали злого слова, никого не осудили, что считали большим грехом, тем более береглись даже намекнуть что-нибудь в осуждение мачехи. Напротив, отзывались о ней с благодарностью за то, что давши им воспитание, она дала и средства доставать себе насущный хлеб. Павел был нехорош собой, но его наружные недостатки скрашивали какое-то благодушие, какая-то девственная чистота, разливавшаяся на его лице. Он избегал общества, особенно молодых людей, прельщавших его разными соблазнами; при встрече с красивой женщиной всегда потуплял глаза и краснел, когда она с ним заговаривала. Канцелярия и церковь были единственными местами, ими посещаемыми. И поплыли они, сплетясь руками и душой, на утлом челне своем по мятежным водам жизни к пристани, где нет болезни и печали.

Через четыре года присоединилась к ним и Тони. Эти годы, проведенные ею в Петербурге, у ее благодетельницы, госпожи Z, мелькнули перед ней, как прекрасное, волшебное видение. Из маленьких, серых с оборванными обоями комнат, где ее радовал бедный кустик фуксий и будила кукушка, высовывая свою плешивую головку из облупленной часовой

будки, она перенесена в палаты. Здесь все сияет: и стены под мрамор, и бронза в изобилии, и паркет, и зеркала, отражающие ее хорошенькую фигурку; здесь она гуляет, как в тропическом саду и часы с мифологическими кариатидами играют ей мелодичные куранты. Вместо сурового лица мачехи, ее крикливого голоса, она видит добродушное, приятное лицо старушки, своей благодетельницы, слышит ее ласковую, тихую речь, которая так отрадно веет на душу. По временам подслеповатые глаза устремлены на нее с любовью, морщинистая рука заглаживает ее густые, пепельного цвета волосы, разметавшиеся от беганья, треплет ее разгоревшиеся щечки. Бедные клавикорды, которых непокорные, помертвевшие клавиши мучили ее до слез, заступил Эраров рояль, издающий под ее пальчиками послушные им гармонические звуки. Старушка, угадав в ней музыкальный талант, для усовершенствования в нем, пригласила лучших учителей давать ей уроки музыки и пения. У госпожи Z была избранная библиотека. По назначению ее являлись к ним знаменитости русской и иностранной литературы. Русской? – спросите вы, мой недоверчивый читатель. Да, русской, потому что она не походила на других аристократок, которым имя отечественного писателя так же чуждо, как бы имя арабского, которые, к стыду своему, не умеют не только правильно писать, но и говорить на своем родном языке. Ее воспитание было направлено ее отцом, одним из генералов 12-го года, горячим патриотом; она была знакома с Жуковским, когда служила

фрейлиной при дворе и чтицей одной из высоких особ, и потому успела полюбить и отечественную литературу, и отечественную славу, в каком бы роде она ни проявлялась. Чтение с госпожой Z сменялось иногда беседами. Старушка любила рассказывать о лучших временах своей жизни, о характеристических чертах славных полководцев царствования Александра I и скромной жизни царственной четы. Не зная еще, какая высокая участь ожидала сельцо Ильинское,^[6] госпожа Z рассказывала своей любимице о посещении Ильинского государыней Елизаветой Алексеевной помнится мне еще до 20 года.

– С полудня, – говорила словоохотливая старушка, – встала пыльная полоса от Москвы к селу. Разнородные экипажи, нанятые во множестве тогдашним владельцем имения, графом Александром Ивановичем, и собственные гости то и дело следовали один за другим и обгоняли один другого. Тут была отчасти знать московская и отчасти петербургская, приехавшая в императорской свите, все очень просто одетые. На обширном лугу, против господского дома, расставлены были качели разного устройства, палатки с деревенскими лакомствами, балаганы с народными увеселениями, стояли бочки с вином, пивом и медом. В разных местах гремели хоры музыки и песенников, полковых и цыганских. Красивые лодки с разноцветными флагами, также с песнями и музыкой, разгуливали по Москве-реке. На возвышении просеки, в сосновой роще, за лугом, против дома, была построена

на красивая беседка вроде греческого храма. Луг просто залит был народом. Хороводы крестьянок в нарядных платьях, большею частью любимых ярких цветов, казались цветниками из разноцветного мака. Зрелище было истинно живописное, тем более, что и красивая местность была в гармонии с ним. С утра день был прекрасный, но по приезде императрицы стал накрапывать дождик и вскоре, к досаде хозяйна и хозяйки, засеял чаще, так что песчаные дорожки отсырели. Государыня несколько минут полюбовалась с террасы на оживленную пеструю картину и послала рукою поцелуй народу, который громкими, восторженными криками приветствовал ее. Дождь утих, и она изъявила желание прогуляться по саду. Ей так много расхвалили его. В сопровождении графа и графини, ею особенно любимой, она спустилась с боковой террасы в главную аллею сада. Свита хлынула за нею. Прошла она легко по всем дорожкам, любовалась особенно тою, которая проведена по овражку, посетила грот, взошла на небольшую высоту, где стояла беседка из необделанных берез, осмотрела дом, где провели свой медовый месяц *молодые А – ины*. Надо заметить тебе, флигель-адъютант Вл. Ст. А-ин женился незадолго до того на графине С-е П-вне Т-ой, племяннице графа по жене. И что это за красавица была! Не одного искателя ее руки свела с ума. Сам дядя, граф Александр Иваныч, нечего греха таить, был сурового, не совсем любезного характера, но большой поклонник красоты. В великолепном доме его, что на Ан-

глийской набережной, ныне графини Броглио, был портрет С-и П-вны во весь рост, писанный знаменитым художником. Случилось мне однажды видеть, как он при всех нас, приехавших к нему, стал перед ним на колени в какой-то позе обожания. Мы этому тогда очень смеялись. Но я отбилась от своего рассказа. Как заговоришь о старине, так и занесешься далеко. Словно почтовый голубь, посланный с письмом, увидав свою родную сторону, закружился над ней и забыл о своем назначении. Воротимся же в сад. Ничего особенно художественного, богатого в нем не было. Но всем восхищалась императрица, все радовало в этом садике владельницу Царского Села. Так-то, душа моя, и цари любят укрываться от блеска, великолепия и этикета, их беспрестанно осаждающих, и хоть на несколько часов спускаться в тихую, скромную долю простого смертного, которая не была им предназначена. Когда государыня возвратилась в дом, она почувствовала, что немного промочила ноги. Для переодевания ей приготовлена была туалетная, прекрасно, с большим вкусом устроенная. Здесь горничная графини скинула с нее отсыревшую обувь и хотела надеть другую, заранее приготовленную и согретую, но императрица сказала:

– Благодарю, милая, я сама надену, – и сама надела, потом ласково потрепала хорошенькую горничную ручкой своей по розовым щечкам.

– Это был настоящий ангел, – прибавила старушка, вздохнув и перекрестясь.

Тони припоминала, как она выезжала со старушкой в свет, пока та еще была в силах делать выезды, как избранный кружок, собиравшийся у нее в доме, обращался с бедною воспитанницей, словно с родной дочерью аристократической барыни. Засыпая у себя дома, ей чудилось, что сухая рука ее, исписанная синими жилками, благословляла ее на сон грядущий, и она верила, что благословение это принесет ей счастье. Помнила Тони, как заболела тяжело старушка, перемогалась недолго и просила ее перед смертью закрыть ей глаза.

– Непременно ты, чистая душа, закрой мне, – говорила она.

И закрыла Тони глаза своей благодетельницы, успокоившиеся на ней в последний раз вечным сном. Госпожа Z хотела и за гробом продолжить свои благодеяния Тони и завещала ей 15 тысяч рублей, которыми могла законно располагать, не обижая своих дальних родственников (близких она не имела). Библиотека и Эрар, с которыми Тони сроднилась, перешли к ней также по сердечному наследству. Прошел сорокоуст после смерти г-жи Z, и Тони возвратилась в свое семейство, принеся в него ту же простоту нрава, доброту души и любовь к родным, которые из него некогда вынесла и которых не могли извратить годы, проведенные в роскоши аристократического дома и в большом свете. Капиталец свой передала она старшему брату, чтобы он сделал из него употребление, какое найдет полезным для общих нужд их. Только оставила в своей шкатулке сотню заветных екатеринин-

ских и елизаветинских импералов, подаренных ей в годовые праздники и в дни рождения и ангела. Эти приберегла она на черный день. Брат, взяв порученную ему сестрою сумму, отдал ее в банк для приращения на ее имя. Чтобы не быть своим в тягость, она определила: проценты вносить в общую семейную кассу. Водворясь в родном доме, Тони не только не расстроила гармонии в мирной жизни двух братьев и своей Крошки Доррит, но внесла еще в эту гармонию новые, живые звуки, которых в ней недоставало. Разница в нынешней Тони с прежнею была единственно та, что 14-летняя девочка пышно расцвела и развилась в очаровательную 18-летнюю девушку. Жизнь в мезонине потекла, никакими невздами не нарушаемая. Только самый мезонин, по желанию новой жилицы, обновился и принял более комфортабельный вид, только по временам оглашался на весь квартал чудными звуками, извлекаемыми из богатого рояля, и звуками контральто из грудного инструмента, какими природа ее щедро наградила. Скоро Тони, приноровясь к религиозному настроению младшего брата и сестры, составила из своего и их голосов, с аккомпанементом рояля, маленький хор, очень стройно и от души исполнявший духовные гимны.

В это время, с водворением, ее в родном доме, бельэтаж в нем, остававшийся несколько месяцев пустым, заселился жильцами. Одно отделение, окнами на нижний Пресненский пруд, наняли Раневы, другое, поменьше, окнами на дворе, вдова коллежского советника (которого она по временам ве-

личала статским, а иногда, в жару хлестаковщины, производила в действительные), лет сорока пяти, Левкоева. Пенсион ее после мужа, не так давно умершего, был невелик, но она жила безбедно, на какие средства – это оставалось ее тайной.

У Лориных был при доме садик сажень в 15 длины и столько же в ширину. Лиза встретила Тони в этом саду. Разговорились. Обе потеряли в детстве свою мать, обе с детства перешли на чужое, но благодетельное попечение. Оказалось также из разговора их, что братья их служили в одном полку, расположенном в Радомском округе – Владимир Ранеев юнкером, Иван Лорин прапорщиком. Эти случаи сблизили их. Несмотря, что натура одной была серьезная, энергическая, замкнутая, другой – веселая, мягкая, открытая, они скоро сошлись на перепутье жизни и полюбили друг дружку.

Мало-помалу неволью Тони подчинилась первенству Лизы и с удовольствием склонялась перед ним, счастливая, гордая, что такое дивное, несравненное существо избрало ее, помимо многих других, в свои друзья. Просто она была влюблена в нее, а влюбленные, как известно, не видят и малейшего недостатка в предмете своей любви.

Тони слышала от своей подруги, что она не так давно познакомилась с интересным молодым человеком, Андреем Ивановичем Сурминым, очень неглупым и очень любезным, и рассказывала при этом странную встречу его с отцом. В этом рассказе не могло быть эпизода встречи Ранеева с каким-то давним врагом – эпизода, который был скрыт и от са-

мой Лизы. Но *диспут* о русских женщинах и особенно московках не остался в забвении. Похвалы Сурмину до того подстрекнули любопытство Тони, что она просила своего друга дать знать ей, когда он у них будет. Случай этот скоро представился; Лиза поспешила исполнить ее желание и отрекомендовать обоих друг другу.

– Это мой лучший друг, мое второе я, – сказала она Сурмину.

– И мой задушевный друг, моя вторая дочка, – присоединил к этому отзыву и свой старик Ранеев.

Тони, окинув проницательным взглядом молодого человека, присела перед ним длинным, церемониальным приседанием и с хитрой усмешкой сказала:

– А я рекомендую себя как *московская барышня*.

Сурмин тоже окинул мимолетным взглядом особу, рекомендуемую ему таким перекрестным огнем дружеских изъяснений, отвесил ей глубокий поклон и сказал, обратясь к Лизе:

– Вижу, Лизавета Михайловна, что вы меня выдали головой Антонине Павловне и хотите живыми доказательствами заставить меня горько раскаиваться в грешном отзыве моем о московских жительницах. Я так непростительно, так несправедливо судил. Узнав вас, мне и теперь перед вашим вторым *вы* ничего не остается, как повторить то же.

Первое впечатление, произведенное друг на друга новыми знакомыми, было в пользу того и другого. После нескольких

свиданий с Тони у Ранеевых, Сурмин сделал об ней следующее заключение:

– Ей до Лизы, как до звезды небесной, далеко, но в ее лице, более чем хорошеньком, в голубых глазах светятся так ярко чистая, безмятежная душа и ум, в ее живом, лукаво наивном разговоре, простоте ее манер есть какой-то завлекающий интерес. Сколько могу судить по недавнему знакомству, той удел воспламенять, увлекать, волновать душу, этой – понемногу притягивать ее к себе, успокаивать, согреть, нежить. Я сравнил бы Лизу с романом Жорж Занда, другую с романом Диккенса.

Лиза, между прочим, отозвалась ему, что ее подруга немного фаталистка.

Этот отзыв повел к длинному разговору, из которого выбираю лишь сущность его.

– Да, – сказала Тони, – я по этой части большая чудачка. Например, я верю, что счастье и несчастье посылаются нам по предназначенью свыше. Конечно, если встречу с невзгодами жизни, я не останусь пассивной страдальницей, не опущу по-турецки руки. О! тогда, вооружась всеми силами моей души, всеми средствами моего умишка, я пойду против этих невзгод. Но если они одолеют, я не предамся отчаянию, а безропотно скажу: они не от меня, так мне предназначено, так Богу угодно, – и мне будет легче.

Лиза стояла за силу воли и разума, побеждающих обстоятельства.

– Не всегда, – говорила Тони. – Правда, мы сами часто виновники наших обстоятельств, но есть и такие, которые совершенно от нас не зависят. Случается, что разум и воля ведут тебя по пути, который ими начертан, а тут вдруг, Бог знает как, откуда, преградили тебе этот путь. И пойдешь ты по новой дороге, вправо или влево, и очутишься далеко от прежней, в краю, где ты и не думала быть. И пошла твоя жизнь совсем иначе, нежели ты предположила и начертала. Что ж это, как не воля Провидения, как не рука невидимая, которая привела тебя в этот край? Разум и воля тут ничего не поделают.

Сурмин подумал, как его, счастливого, со свободным сердцем кампаньяра, приехавшего в Москву по тяжбному делу, которое искусный адвокат двигал к счастливому концу и следственно не могло его сильно заботить, как судьба повела его на Кузнецкий мост для бездельной покупки барометра и вдруг столкнула со стариком Ранеевым и его дочерью. И кто ж знает, что из этого будет, куда поведет его эта ничтожная покупка! Сведя все это в уме своем, он не мог отчасти не подчиниться убеждениям Тони. Не надо забывать, что разговор о фатализме происходил до получения Лизой рокового письма от Владислава Стабровского и до встречи ее с разными тяжкими обстоятельствами, с которыми должна была бороться. И боролась она энергически со своим сердцем, с судьбой своей: то изнемогала под ударами ее, то брала над нею верх. Но выйдет ли она из этой борьбы победительницей

или судьба ее одолеет, ее или Тони оправдает жизнь, – мы увидим впоследствии.

Новое знакомство с Тони повеяло, однако ж, на сердце Сурмина освежающим, отрадным чувством.

Как-то по выходе его от Танеевых, обе подружки, оставшись одни в Лизиной комнате, долго еще говорили о нем.

– Какой он душака, – сказала Тони. – Вот бы завидная парочка была ты с ним.

– Нет, – отвечала Лиза, – я не могла бы сделать его счастье.

– Почему ж так?

– Мой характер слишком восторженный, – как бы тебе еще сказать, – слишком порывистый, мечтательный, а это для полной гармонии в жизни мужа и жены, для счастья их не годится. Вот ты бы дело другое, вы как будто созданы один для другого.

– Пожалуй бы созданы – как две половинки одной груши!.. Близки друг к другу, да не сходимся. Кабы можно было об этом справиться в книге судеб. Шутки в сторону, поставь меня с тобою рядом перед ним, как мы теперь стоим, да сравни он твою олимпийскую красоту...

– Уж олимпийскую!

– Пожалуйста, не очень скромничай. Да как он сравнит ее с моим личиком chiffonné,¹³ так меня сейчас из ряду корифеек в задние ряды кордебалета.

– В тебе есть что-то, чего во мне недостает – живость, иг-

¹³ chiffonné – помятый, некрасивый (фр.)

ра безмятежной, чистой души, нега в глазах. На тебя любоваться можно, как на прекрасный цветок, только что распустившийся, еще не тронутый июльским зноем, не помятый бурей.

Тони взглянула в зеркало, смешно взбила свои кудри, тошно повела глазами и захохотала своим звонким, детским хохотом.

– В самом деле, миленькая, – сказала она, – хоть сейчас за конторку в магазин мод. А твою красоту, чай, иссушил сердечный зной, старушка!

– Хоть не старушка, но мне все-таки не надо выходить замуж.

– Оставаться девой, да еще перезрелой, должно быть очень обидно, очень грустно – уж если не Орлеанской, на которую ты что-то трогательно смотришь, так московской.

В самом деле, Лиза смотрела с каким-то особенным участием на картину, висевшую на стене, с изображением Девы Орлеанской в ту самую минуту, когда она со знаменем в руке, торжествуя победу над врагами Франции, опускает свои взоры с небесной выси на землю и встречается ими с глазами молодого рыцаря, простирающего к ней с любовью руки.

– Завидная участь! – сказала Лиза, указывая на картинку.

– И она была несчастна, и над нею надругался народ, которого цепи она разбила. И король, обязанный ей сохранением своей короны, как отплатил ей!

– Что ж, что была несчастна! Она совершила великий по-

двиг, и в ту минуту, когда узнала, что исполнила данный Пресвятой Деве обет, когда сердце ее трепетало в восторге победы, минута эта была для нее целою жизнью высочайшего блаженства.

– А были и минуты, когда в сердце ее зажглась искра земной любви, и героиня, святая, стала обыкновенной женщиной.

– И пала она, и оставили ее небесные силы!

– Мы живем не в том веке, когда могли родиться Жанны д'Арк, а во времена более положительные. Удел наш не героизировать, как она, не гоняться за подвигами, а быть доброю дочерью, женою, матерью: это лучшее назначение наше. Доброю, примерною дочерью ты и теперь; я уверена, что сделаешь счастье человека, которого полюбишь, будешь и прекрасной матерью.

– То-то и есть, что мне трудно полюбить кого по своему идеалу.

Тони погрозила ей пальцем, прищурясь одним глазом.

Берегись, скрытная душа!

«Тих, спокоен сверху вид,
Но спустись в него – ужасный
Крокодил на дне лежит».

Стихи эти она сказала с патетической интонацией и мимикой.

– Смотри, я подозреваю, что ты равнодушна к своему

кузену Владиславу.

– Какие вздоры! На этот счет можешь быть покойна; я ограждена от этих крокодилов оружиями, которые заколдованы не хуже Жанны д'Арк.

– Помоги тебе Бог! С искусительной красотой лермонтовского демона, он мне кажется опаснее нильского амфибия. Мне чудится, женщина, которая его полюбит, будет несчастна.

– Пожалееу ее, – сказала Лиза довольно равнодушно и попросила Тони сыграть ей какой-нибудь постигне на угольнике, стоявшем близ нее.

Сыграла Тони одну пьесу, сыграла другую, сделалось темно в комнате, и не видала она, как плакала Лиза, закрыв глаза рукою.

VI

Было 5 сентября, именно тот день, когда заговорщики собирались в квартире Владислава Стабровского. Все они, как мы уже сказали, разошлись к шестому часу вечера по домам. Он вспомнил, что ныне день ангела Лизы, и еще под влиянием выпитого в изобилии вина и разнородных чувств, бушевавших в его груди, вздумал идти к Ранеевым с поздравлением и, кстати, проститься с ними навсегда.

«Он будет верно там, увижу его, спугну веселье жениха и невесты, побешу ее, побешу старика. Кстати, есть богатая тема – Польша. Брошу им в глаза накипевшую в груди желчь, потешусь хотя этим мщением. Завтра разделят нас сотни верст, а там целая вечность!»

Приведя немного в порядок свой туалет, он направил шаги к заветному дому на Пресне, где некогда считал себя таким счастливым.

Пока он идет к этому дому, мы будем иметь время заглянуть в небольшой кружок, человек из семи, считая и семейных, собравшийся у Ранеевых в саду около большого круглого стола.

Здесь были Сурмин, Тони, вдова Левкоева, соседка по квартире Ранеевых, сынок ее, только что на днях испеченный корнет, и маленький, худенький студент – юрист Лидин, которого привела с собою Тони. Он хаживал к Крошке

Доррит то посоветоваться с ней, то посоветовать ей по какому-нибудь запутанному делу, то позаимствовать у нее «томик» свода законов. Двух братьев Лориных и Даши тут не было, потому что они избегали всякого светского общества. Остальных членов семейства Ранеевы не знали даже в лицо.

День был прекрасный, какими редко балует нас в это время наша скупая природа. Лиза, во всем сиянии своей красоты, без всяких украшений, кроме одинокого цветка на голове и другого у груди, сидела под древним кленом близ незатейливой беседки, которую Тони и студент убрали гирляндами и разноцветными фонариками. Осень успела уже порядочно общипать листья с деревьев, да и те, которые держались еще на ветках своими больными стеблями, уступали слабой струе ветерка и, кружась, падали на землю. Зато, назло ей, в клумбах красовались в полноте жизни пышные букеты левкоев и кусты далий.

Подле Лизы с одной стороны сидела Левкоева, полная дама, покрасневшая от избытка здоровья и жаркого многоглаголанья. Движения ее были энергические, речь бойкая, иногда резкая. По временам пересыпала она ее остроумными анекдотами, от которых вспыхивал всеобщий смех, или цитатою стихов любимых русских поэтов. Память у нее была неиссякаемый родник. Читала она стихи мастерски, соединяя с простотою чтения, где нужно было, и умение модулировать свой голос и выставляя в ярком свете красоты поэтического произведения. Чего и кого не знала она в Москве!

Это была хроникер самых интересных вестей и портретист, правда, в карикатурном жанре, но этот жанр и нравится людям, которые любят погулять насчет ближнего. А много ли таких, которые не любят? И дали ей по качествам кличку: «бой-баба, душа компании». Эта пчелка несла кому мед, кому яд, но и в последнем случае, приятно пожужжав около особы, которую хотела укусить. Завистлива она была до того, что завидовала иногда лишнему блюду на скромном столе Ранеевых; она, кажется, посмотрела бы с завистью на серебряную монету подле медного гроша в руке нищего. Михайла Аполлоныч сначала полюбил ее как приятную собеседницу, но скоро, прозрев, что сквозь все поры ее душонки выступали нечистые страстишки, сказал дочери:

– Эта бой-баба *не по мне*.

Отделаться, однако ж, от нее было нелегко: играя переливами своей золотистой кожи, смотря на вас своими мягкими глазками, эта змейка тихо, вкрадчиво приползала к груди вашей и согревала себе на ней теплое местечко.

Стали говорить о Польше, о поляках – тогдашний обильный клад для бесед, да и ныне, кажется, неистощенный, потому что новые подземные ключи беспрестанно его питают и выбиваются наружу.

Полетела стрелка за стрелкой из колчана злословия Левкоевой, всегда туго ими набитого, полетела одна по какому-то особо тонкому или злому расчету и «в женоподобного» Адониса, Владислава Стабровского, который не налюбуй-

ется своею красотой. «Этот не пойдет в жонд не из преданности к России, а из боязни, чтобы сабля не изуродовала его хорошенького личика».

Ранеев поморщился, но не сказал ни слова. Ему неприятно было слышать отзыв о родственнике, тем более, что находился не в мирных с ним отношениях.

Тони, сидевшая возле Левкоевой, неожиданно взялась защищать отсутствующего.

– Неправда, – гневно сказала она, – сколько знаю Стабровского, я никогда не замечала, чтоб он был занят собой. Что ж до его красоты, то никто, конечно, кроме вас не найдет в ней ничего женоподобного. Скорее, к его энергической, одушевленной физиономии шли бы латы, каска с конским хвостом, чем одежда мирного гражданина. Воображаю, как он хорош бы был на коне, с палахом в руке, впереди эскадрона латников, когда они несутся на неприятеля, когда от топота лошадей ходит земля и стонет воздух от звука оружий.

Тони говорила с особенным одушевлением.

– Уж не затронул ли он... – начала было Левкоева.

– Моего сердца, – спешила твердым голосом перебить ее Тони, – ошибаетесь! Нет, но затронула меня ваша несправедливая речь.

– Bravo, bravo! – закричал Ранеев, хлопая в ладоши, потом схватил руку ее и поцеловал.

Сурмин с изумлением и невольным восторгом посмотрел на Тони, которую он не видал никогда так поэтически увле-

кательной. Лиза улыбнулась, – ее подруга говорила красноречием ее сердца, говорила то, что бы она сказала, если бы только *могла*.

– Молодец – барышня, – воскликнула Левкоева, бросаясь целовать свою победительницу. – Montrez-moi mon vainqueur et je cours l'embrasser.¹⁴

– Да где ж она набралась такого батального духа, словно жила между военными, – не пропустила кольнуть ее бой-баба.

– На красносельских маневрах, – спокойно отвечала Тони.

– Полноте, кумушка, Аграфена Федотовна, – сказал Ранев, – чесать язычок насчет ближнего. Ведь это все равно, что звуки бубенчиков, которые давно шумят у меня в ушах; много звону, да неприятно слушать. Извините, ведь мы большие приятели, да и родня по кумовству, а друзьям можно говорить и резкую правду.

– Давно и я говорю: ангельская душа Михайла Аполлоныч одною ногою держится на земле, а другую занес прямо в рай. Правда, многоуважаемый друг, язык мой – враг мой. Поверьте, грехи мои от него, а не от сердца. Я сама *добрая душа*, как Бог свят.

Тут Левкоева вздохнула, поведя глазами к небу.

– Ссылаюсь на вас, mesdames.

Лиза и Тони кивнули ей в знак согласия.

¹⁴ Montrez-moi mon vainqueur et je cours l'embrasser. – Покажите мне моего победителя, и я поспешу его обнять. (*фр.*)

– Петруша, вели-ка отъехать своему экипажу подальше, а то в самом деле глухари прожужжали нам уши.

Петруша, к которому обращалась речь Левкоевой, был сынок ее, недавно выпущенный в офицеры. Он стоял недалеко на дорожке, пощипывая усики, только что пробившись, и не тронулся с места, занятый горячим разговором с маленьким студентом, – не слышал ли слов матери, или слышал, но пропустил мимо ушей.

– О! он у меня большой философ, – сказала озадаченная Левкоева, – заговорит о каком-нибудь современном вопросе, глух ко всему постороннему; для философии и литературы пренебрег в училище и математикой.

– Философия нынешнего времени, – заметил Ранеев, – увлекаясь своим критическим настроением, учит, конечно, вашего сына не уважать голоса матери. Да позвольте вас спросить, из какого богатства он так кутит, нанимает четверки в лихой упряжи. Кажется, у вас самих средства не очень крупные, как вы сами говорите.

– Я ни копейки не дала ему на эту блажную потеху; князь Поддубравский захотел побаловать моего офицера и нанял ему на нынешний день четверку от Ечкина. Кто молод не бывал!

Она лгала.

– Кстати, – продолжала Левкоева, желая замять разговор о сыне, – я заехала с ним по поручению одной графини узнать положение семейства вдовы бедного чиновника – недавно

умер чахоткой от усиленной канцелярской работы. Вообразите, нахожу больную женщину, еще молодую, с шестерыми детьми (двух или трех она для большого эффекта прибавила). И где ж? На пустыре, заросшем по грудь крапивой и репейником. Вблизи пруд, подернутый зеленоватою корой, от которого несет нестерпимо гнилью. Жилище их – шалаш, кое-как сколоченный из досчонок, постель – гнилая солома, которую мочит дождь сквозь щели бивуачной крыши и парит полуденный зной. В этой конуре, на этой постели лежали не собачонки, а творения с образом Божиим. Иссохшую грудь матери, изнуренной болезнью, горем, лишениями всякого рода, теребил, кусал младенец, чтобы выжать из нее хоть каплю молока. Кругом другие дети кричали: «Хлеба, хлеба, жадная мама!» И глаза их исступленно блуждали по углам шалаша, как будто шарили ими, не найдется ли где кусок хлеба.

В голосе Левкоевой были слезы, мимика ее была артистическая.

– Сердце поворотилось у меня в груди, – продолжала она, – недолго думая, еду к графине, описываю ей эту ужасную картину. Божественная женщина! Она дала пятьдесят рублей и к завтрашнему дню обещала еще сто от своих приятельниц.

Тут она не лгала: графиня, о которой она говорила, была ангел во плоти. Желая, чтобы одна рука не знала, что подает другая, она через свою поверенную делала много добра.

Действительно, Левкоева своим бойким язычком, вкрадчивостью и искусством скоро угадывать натуры и подлаживаться к ним, приобрела расположение некоторых благотворительных аристократических дам и мужчин. Одной, очень религиозной, писала письма, исполненные глубокого поэтизма, другой рассказывала легкие скандальные историйки; даже успела втереться в знакомство красавицы-польки, подарившей могилевскому легиону знамя. С одним либеральничала, с другим была пламенная патриотка, готовая выцарапать глаза тому, кто в ее присутствии осмелился бы отозваться дурно о ее дорогом отечестве. Когда ж находилась между двух противных сторон, старалась осторожно пройти между Сциллой и Харибдой, или пристать к той, которая весила более на весах ее своим богатством и значением в свете. При всех этих случаях Левкоева не забывала французской пословицы: «La bienfaisance bien entendue commence par soi même»¹⁵. Из разных щедрых рук сыпались на бедную вдову, живущую одним пенсионом, то на обмундировку сына, то ему на фронттовую лошадь, то на экипировку ее самой или домашнюю нужду. Злые язычки говорили, – но я не даю им веры, – будто она отделяла себе порядочную долю от тех благотворений, которые шли через ее руки. Это была просто клевета. В противном случае бедные, получавшие через нее помощь, не называли бы ее *доброю душой*, благодетель-

¹⁵ La bienfaisance bien entendue commence par soi même. – Хорошо понятая благотворительность начинается с самого себя. (фр.)

ницей, матью своей.

– Помогите и вы, *messieurs et mesdames*, добрым делом отпраздновать день ангела нашей хозяйки, у которой душа так же прекрасна, как и ее наружность, – сказала Левкоева.

Ранеев дал рублевую кредитку. Сурмин сунул осторожно Левкоевой две двадцатипятирублевые (которые, однако, к неудовольствию его, она разложила и тщательно расправила на столе). Тони сказала, что для дня Елизаветы дает елизаветинский империал, и обещала из своего гардероба платья для матери несчастного семейства; Лиза вызвалась одеть детей из гимназического и студенческого гардероба брата, который ему теперь не нужен; студент пошарил, пошарил в своем жилетном кармашке, вынул со дна его четвертак и отдал с ним день своего существования.

– А вы, разъезжающие на четверках? – спросил он.

– Довольно, что мать моя хлопчет об этих несчастных, – отвечал тот, – да, надо признаться, сердобольная душа, по обыкновению, немного прилагает. Уж ничего без красного словца.

Так как никто не расточал особенных знаков внимания воину-философу, кроме тех, которых требует долг гостеприимства и светской вежливости, и не старался занять его своею беседой о новейших вопросах, он отвел своего оппонента на прежнее место, с которого свело студента приглашение к пожертвованиям. По-прежнему он пощипывал свои усики, только что намеченные, постукивал шпорами и гре-

мел саблей, забыв, что это не принято, *несовременно*. Может быть, он думал этим стуком придать более энергии своей речи или озадачить бедного студентика, которого удостоил своего благорасположения. Жаль, что некому было рассказать ему, как громом шпор можно было в давнопрошедшее время сделать себе карьеру. Вы думаете, мой читатель, что я шучу. Нимало; я действительно знаю, как один юнкер или корнет из малороссов, являсь к графу Аракчееву на ординарцы, пошел в гору от того, что сорвал улыбку с его угрюмого лица молодецким пристуком шпор, так что пол задрожал и звук их раздался на всю приемную.

– Молодец! – сказал своим гнусливым голосом всесильный вельможа и приказал иметь его *на виду*.

Корнет наш говорил решительно, самонадеянно, без апелляции, все более и более горячился, до пены во рту. Да и слова его были только пена, снятая с разных теорий, тогда предпочтительно любимых юношами, и особенно с теорий одного модного сочинения, делавшего между ними фурор.

– Автор его, говорил воин-философ, – гений, какого Россия еще не производила, с него начинается эра нашего умственного развития.

Далее и далее перебрал он учение об эмансипации женщин, великое учреждение коммун, уравнивание состояний, говорил с жаром о *труде*.

– Труд, труд, – провозглашал он, ударяя себя в грудь, – вот наш лозунг.

Брызги летели изо рта его, одна из них упала на скромное платье студентика. Этот поморщился, вытер ее носовым платком и продолжал спокойным, ровным голосом возражать ему.

– Вы напитались ретроградным духом Москвы, немудрено, что вы так говорите, – продолжал корнет. – Здесь, в этой Бухаре, цивилизованному, европейскому человеку дышать тяжело. Здесь все носит печать отсталости, все, от грязи на улицах, в которой утонуть можно, до беззубой московской литературы и младенческой науки. Не очаровывают ли вашу патриотическую душу оглушительные гимны ваших сорока сороков с басом *profondo*¹⁶ их дедушки – Ивана Великого? Не поклонения ли?.. Мне просто от всего здесь тошно.

– Не договаривайте: я вас понимаю. Разговор о московской литературе и науке в сравнении с петербургской повел бы нас слишком далеко. Помяните меня, ваши начала с шиком любимых ваших авторитетов доведут вас к худому концу. Что ж до чувств, на которые вы намекаете...

– Поставим точки.

– Спрошу вас только: неужели – извините – из спячки вашего животного материализма не пробуждалась в вас никогда духовная натура человека? Если ж в душе вашей нет искры того божественного огня, который отличает человека от других животных, так не прикасайтесь, по крайней мере,

¹⁶ Бас-профундо (итал. *profondo* – глубокий) – очень низкий бас, грудной, объёмнейший мужской голос.

нечистыми руками к религиозному чувству народа. Всех философами по-своему не переделаете.

– Однако ж все-таки...

– К слову, расскажу вам случай из жизни одного новейшего мудреца, которого иные из нашей молодежи чествуют. Мне этот случай передан помещиком, недавно умершим. Во время путешествия своего по Швейцарии с известным нашим врачом Ин.... они заехали в Цюрих. Тогда Штраус читал там с кафедры свои лекции. Только что наши путешественники успели в гостинице разобрать свои чемоданы, как послышались на улице крики и ружейные выстрелы. Взглянули в окно – толпы народа залили улицы и хлынули к ратуше. Перепугались русские, думали, что затеялась в городе революция. Кельнер спешил их успокоить, сказав, что это скоро кончится, и они могут оставаться безопасно на своем месте.

– Хотят запретить Штраусу читать свои лекции, – прибавил кельнер, – и выгнать его из города. Он развращает сыновей наших своим безумным учением, хочет лишить нас лучшего утешения в жизни, лучшей надежды за гробом.

И в самом деле, вспыхнувший мятеж скоро угас, власти были вынуждены уступить религиозному чувству народа, Штраус был изгнан из города.

– Невежество, такие же глупые, как и стада, которые они пасут.

– Эти глупые пастухи имели, однако ж, Телля и много уче-

ных знаменитостей, этот маленький народец пастухов стоит века цел и могуч среди других народов, в тысячу раз его могучее своими войсками и богатством. Ни одна политическая буря в соседних странах не поколебала его. Отчего? Оттого, что нравственные силы этого народца велики. Желал бы очень встретить вас года через четыре, пять, и уверен, что вы, познакомясь с опытами жизни, – если не пропадете, – заговорите другое.

– Моих убеждений не переменю, хотя бы мне пришлось прожить Мафусаилов век.

– Жаль. Я сам некогда в каком-то опьянении от чаду, которым был окурен, рассуждал, как вы. Здесь я отрезвился и узнал всю тщету и безрассудство идеек, которым прежде поклонялся. Здесь стремлюсь к одной цели: быть полезным моему отечеству, себе, старушке-матери и сестре. Себе, сказал я, потому что самоотвержение нахожу нужным только тогда, когда отечество действительно требует его для своего благосостояния и чести. Я уверен, что, исполняя свой долг на месте, которое сам себе выбрал, буду для него полезнее, чем пускать изо рта дымные колечки разных модных теорий. Вот мои убеждения. Могу только покончить нашу беседу одним вопросом. Получив на него ответ, поставлю точку молчания.

– Ожидаю вопроса.

– Мать ваша говорила мне, что дядя ваш, еще здравствующий, духовным актом завещал вам двадцать тысяч рублей. Вы их не приобретали собственным трудом, не правда ли?

Студентик, задав этот вопрос, лукаво улыбнулся, точно поставил ловушку, в которую должен был попасть глупый зверек.

Корнет с убеждениями помялся было отвечать, однако ж отвечал:

– Хоть не 20, а почти столько.

– Вы с жаром говорили мне о труде, об уравнении состояний и прочее. Когда получите эти деньги, отдадите ли их бедным или распределите на коммуны?

– Это дело другое, – невольно вырвалось у коммуниста.

Покраснев от своей опрометчивости, он стал пощипывать усики и отделяваться от заданного ему вопроса какими-то двусмысленными словами, в которых нельзя было добраться ни до какого заключения.

Студент сжал руку в кулачок, махнул им энергически, как будто вколачивая гвоздь молчания вместо того, чтобы ставить точку в конце своей речи, и, не сказав ни слова, отошел к кружку, сидевшему за столом, на котором шипел уже самовар.

В это время задремал колокольчик у входа квартиры.

– Не почтальон ли? – сказал Михайло Аполлоныч, – Марфа, Марфуша! Да, где ж она?

Служанка, стоявшая за несколько минут недалеко в ожидании приказаний господ, на этот раз отлучилась.

– Петруша, – только что проговорила Левкоева, но студент, догадываясь, что Петруша не двинется со своего места,

поспешил туда, откуда слышался звонок.

У входных дверей стоял Владислав. Он с усмешкой глядел на четверку в наборной, тяжелой сбруе с цветными бантами в гривах и холках и бубенчиками. «Уж не женихова ли? – подумал он, – должно быть какой-нибудь фат!»

Дверь отворилась, перед ним предстал студентик с вопросом, кого ему нужно.

– Ранеевых.

– Они в саду, пожалуйста, я провожу вас.

– Знаю я этот сад, – угрюмо процедил сквозь зубы Владислав и широкими, спешными шагами опередил своего спутника.

VII

Когда он явился перед маленьким обществом в саду, в глазах его был какой-то демонический блеск, на губах демоническая усмешка.

Лиза при виде его изменилась в лице; рука, державшая чайник, из которого она наливала чай, задрожала. Это заметили Левкоева и Тони.

Стабровский и Сурмин встретились мимолетными взглядами и угадали, кто они таковы.

Сурмин мысленно признался, что сердце редкой женщины может устоять против обаяния его красивой наружности, в которой не было ничего женоподобного, как говорила бойбаба. Владислав подумал: «Это должен быть жених ее, не этот же военный молокосос и не этот цыпленок-студент. Ничего, мужчина хоть куда, может понравиться иной женщине».

Старик Ранеев по близорукости прищурился, приложил ладонь над глазами и, узнав Стабровского, насупил брови. Левкоева лукаво улыбнулась, на лице Тони изобразилось удивление: она давно не видала Владислава у Ранеевых.

– Я пришел поздравить *вас* с днем вашего ангела, Елизавета Михайловна, – сказал Владислав, подойдя с глубоким поклоном к Лизе, – и пожелать вам всего, чего вы сами себе желаете. Это поздравление банально – извините, я не прибе-

ру теперь лучшего. По крайней мере, верьте, оно от искреннего, преданного вам сердца.

– Благодарю, – могла только ответить Лиза.

Подойдя к Ранееву, он сказал:

– Я пришел проститься с вами, Михаил Аполлоныч.

– Куда это, батюшка, собрался? – спросил Ранеев.

– В отпуск, к матери, пишет, очень больна, желает меня благословить...

– Не в жонд ли, как и братца Ричарда? Знаем мы ее, патриотка от пяток до конца волос!

– Патриотизм, вы согласитесь, был всегда привилегией не низких душ.

– Низких, когда он действует впотьмах, изменнически, коварно, по-иезуитски.

– Не мое дело разбирать поступки моей матери, – я их и не ведаю; не знаю и того, что думает она делать из меня, знаю только, что долг детей свято повиноваться воле родителей. Кроме закона природы, это повелевает нам и заповедь Божия.

Посылка эта была принята Лизой по назначению.

– Хоть бы она приказала вам изменнически поднять оружие на Россию, которая вас вскормила, воспитала, устроила вашу судьбу, которой вы присягали?

– Это до меня не касается, вероятно, брата моего; где он, что с ним, вы, должно быть, лучше меня знаете. Это может касаться до многих поляков, поднявших оружие против Рос-

сии.

– Чай, представляют важные резоны к своему оправданию; пожалуй, Россия у них виновата! С больной головы да на здоровую.

– Они говорят, что благодарность забывается народом, когда он стонет под железным игом, когда польское имя здесь в унижении, в презрении, религия их гонима, когда из поляков хотят сделать рабов, а не преданных подданных.

Ранеев готов был выйти из себя, колени его дрожали. Лиза, боясь, чтобы этот горячий разговор не повредил здоровью отца, взглянула умоляющими глазами на Владислава, но тот, заметив этот взгляд, остался все-таки неумолим.

Пожал старик руку Сурмину и сказал, немного успокоившись, указывая на Владислава:

– Этот молодой человек – Стабровский. Он мне родственник, хотя и дальний, но я любил его, как самого близкого. Уполномочиваю вас, – он, конечно, позволит, – поговорить с ним за меня. Не то боюсь по родству оскорбить его жестким словом. К тому же он теперь мой гость и на проводах. Может быть, мы с ним расстанемся до свидания *там*.

Ранеев указал на небо, потом, обращаясь к Владиславу, прибавил:

– Это мой лучший друг, Андрей Иванович Сурмин. Не откажись поднять перчатку, которую он, жалеючи старика, бросит тебе за меня. Он человек беспристрастный, хотя хороший патриот, и лучше меня владеет оружием слова.

Молодые люди слегка друг другу поклонились.

– Бывало, – сказал Сурмин, добродушно улыбаясь, – благородные рыцари, выходя на поединок, подавали друг другу руку. Вот вам моя рука, верьте, на ней нет пятна.

Стабровский немного смутился от неожиданного вызова, но невольно отвечал: «С удовольствием», – и подал ему руку.

Ему предстояло защищать дело темное, революционное, которое он сам в душе осуждал; но он продал душу свою этому делу, как сатане, и должен был стоять за него, лишь бы удары падали больнее на сердце отца и дочери. Он видел перед собою, как полагал, счастливого соперника, ему казалось, что он унижен, презрен, и, ослепленный своей страстью, сделался зол и мстителен.

Студент и корнет подошли ближе к месту поединка; Левкоева коварно улыбалась, мысленно представляя себе этот поединок в смешном виде, вроде боя петухов, спущенных один на другого. Она заранее радовалась, как завтра будет потешать своих покровительниц рассказом об этой уморительной сцене. Можно догадаться, что чувствовали в это время Лиза и ее подруга.

– Вы, конечно, – начал Сурмин, – живя в России, находясь на русской службе, не от себя, а от лица поляков высказали те нарекания, которые привыкли они пускать на ветер.

– Да, я говорил от лица поляков, только, кажется, не на ветер, а прямо в цель.

– Положим, так, то есть вы делаетесь адвокатом польского

дела, а я русского.

– Я только передаю, что от них слышал, и умываю себе руки как в их убеждениях, так и действиях.

– Вы сказали, что польский народ стонет под игом русским. Где же этот народ?

– На всем пространстве из-за Вислы до Днепра.

– Вы не хуже меня знаете, что народ слагается из разных классов, которые держатся один за другого, как звенья одной цепи.

– Точно так.

– На том пространстве, которое вам угодно было отмежевать Польше, вижу я только с двух концов цепи два далеко разрозненные звена – два класса: один высший, панский, другой – низший, крестьянский. С одной стороны, власть неограниченная, богатство, образование, сила, с другой – безмолвное унижение, бедность, невежество, рабство, какого у нас в России не бывало. Вы, Михайло Аполлоныч, долго жили в белорусском крае, вы знаете лучше меня быт тамошнего крестьянина.

– Да, слишком хорошо, – ввернул Ранеев свое слово в речь противников. – Только вспомнишь о нем, так мороз по коже подирает. Стоит только поставить рядом русского крестьянина и белоруса. Что ест этот несчастный, в чем одет, под какой кровлей живет? И свет-то Божий проходит у него со двора через крошечные отверстия вместо окошек, а не с улицы. Какой-то сочинитель писал, что и собаки, увидав пан-

скую бричку, с испуга бросаются в подворотни.

– Вот тут-то стон – не народа, а одного класса от угнетения другим, – продолжал Сурмин. – Неужели вы думаете, что в нынешнюю революцию этот класс пристанет к своим притеснителям?

– Обещай ему земное Эльдorado, и он пойдет, куда угодно.

– Не пойдет, потому что были уже филантропические обещания, да жаль было панам расстаться со своей властью над рабочей силой. Пока вы обещаете, а русское правительство дает. Теперь укажите мне у себя средний класс, который служил бы связью двух, о которых мы говорили. Нет его, а без него нет и народа.

– Не было, но поляки говорят, что его создали.

– Так, вдруг, в два-три месяца, по панскому хотению, по щучьему велению! Для такого рода фокусов не родился еще новый Пинетти. Позвольте же спросить: из какого же элемента он создан? Не из еврейского ли?

– Нет, из польских ремесленников, фабричных, экономов, официалистов, бывшей шляхты, у которой отняты русскими их исконные права.

– То есть из подонков народа. Это прекурьезная новость, учреждение небывалое. Извините, как я не считал польскую интеллигенцию легкомысленной, любящей строить здания на воздухе, но не полагал, что она дойдет до такого... (безрассудства, хотел он сказать, но не сказал) до такой крайно-

сти. Средний класс, как вы знаете, составляется из оседлых, имущественных граждан, а не из сброда всякой бездомной, наемной вольницы, готовой идти драться за того, кто приютит ее, получше накормит и, пуще всего, получше напоит горилкой. Это, конечно, будет или есть что-нибудь вроде шляхетской дворни, какую некогда магнаты возили на сеймы и сеймики голосить, буйствовать и драться за них. Неужели это класс народа? Спрашиваю вас, где же после того польский народ?

– Как хотите, а этот сброд – сила, с которой до сих пор не могут сладить ни ваша администрация, ни ваше регулярное войско со своими пушками. Посмотрите, какое единодушие патриотизма в называемом вами разрозненном народе. Сила эта растет не по дням, а по часам, эта сила нравственная, а перед нею ничто материальная.

– Правда, нас заставляли врасплох по милости русского простодушия, русской обломовщины, самоунижения. Правда и то, что хитрость, коварство, измена искусно проводили, где только могли, пороховые мины под русскую землю. Давно уже приготавливали взрыв ксендзы своими проповедями, пани и паненки чарами своей красоты, магнаты своим золотом, зависть иностранных держав к возрастающей силе России. Но, слава Богу, Россия почуяла, что невечно же ей играть в жмурки с врагами своими, скидает повязку с глаз, приложила руку к сердцу – бьется по-прежнему патриотизмом двух двенадцатых годов. Кликнет клич, и встанет народ

русский, вот тут-то я скажу: народ встанет как один человек. Тогда мы увидим, на чьей стороне истинная сила.

– Увидим.

– Вы отмерили для польской национальности земли из-за Вислы до Днепра и забыли, конечно, что в Литве, в Белоруссии, на Волыни, в Киеве живут миллионы русских, православных – какая же тут польская национальность?

– Киев не должен, не может принадлежать полякам.

– Слава Богу, – сказал Ранеев, скидывая шляпу, – хоть купель нашего христианства нам отдают. Благодарите, господа и госпожи, от лица всех русских.

– В этом случае вы говорите, вероятно, от себя, – продолжал Сурмин, – поляки и Киев считают своим законным достоянием. Посмотрите, как они там работают. Уже если рука протянулась, так брать все, что глазами воображения можно взять до Черного моря. Я повторяю свой вопрос: где же в православном, русском по числу населения крае польская национальность? Одни паны не составляют еще ее, как мы сказали.

– Крестьяне, что дети, выучатся тому языку, которому заставят их учиться, тем молитвам, тому знамению креста, которыми велят им молиться, и сделаются католиками, поляками.

– Зачем же им переучиваться? Из какого добра делаться им поляками, когда они русские, православные? Дети эти дорожат крестом, которым крестились их отцы и деды, твер-

до помнят, что они русские по вере и языку, дорожат этим заповеданным наследством, несмотря на все происки и оболыщения иезуитов и тиранию панов. Вы говорили о гонении вашей веры, о притязаниях на вашу совесть.

– Говорил.

– И это клевета, сударь, бесстыдная клевета, выдуманная теми же иезуитами, тою же панской интеллигенцией, теми и другими для своих корыстных целей. Россия известна своей терпимостью ко всем верам, которые исповедывают ее подданные. Это истина, которую не хотят признать одни ее враги. Господствующая вера есть в каждом государстве. Не посягайте только на законные права ее, не делайте из католической веры какую-то польскую, не делайте ее орудием для революции. А как ваша вера унижена в Литве, в Белоруссии? У дяди моего есть имение в Витебской губернии. Он рассказывал мне о величественной архитектуре ваших каменных костелов, о довольстве и комфортной жизни ваших бессемейных ксендзов. А наши церкви?.. тесны, ветхи, на крышах поросли деревья, скудна церковная утварь, истлели одежды служителей алтаря. Только такие были в первые века христианства, когда воздвигали на него гонения. А как живут со своими семействами наши пастыри духовные? В бедных хатах их дождь льет сквозь крышу, нужды их одолевают. Где же гонения на вашу веру, на чьей стороне унижение?

– Правда, но и это доказывает, что польская национальность выше вашей в этом крае, что она умеет достойно под-

держивать и храмы свои, и своих пастырей.

– Опять польская национальность! Я должен паки и повторить вам прежнее наше заключение, что там нет польской национальности, где нет польского народа. А ваша заметка доказывает, что преобладающий, высший и богатый класс поляков заботится только о поддержке своей веры и унижении русской, которая есть вера их бедных, угнетенных крестьян.

Ранеев не выдержал и к речи Сурмина прибавил иронически:

– А какими обольщениями не пытаются этих несчастных! Образумься, дескать, сынку, – говорят им ксендзы, – полно тебе мотать ноги, ходить за десятки верст молиться в бедные русские церкви, которые того и гляди обрушатся на твою голову. Полно хоронить на дальних кладбищах, в глуши лесной, своих братьев и отцов. Не лучше ль бы было тебе молиться и исполнять свои требы в наших богатых костелах, бок о бок с вашими домами, слушать божественную музыку наших органов и трогательную, горячую проповедь нашу. Пусть бы почивали тогда в мире кости твоих отцов и братии у подножия наших храмов. Но не слушают бедные русские крестьяне этих обольстительных речей и по-прежнему ходят они за десятки верст в свои ветхие, разрушающиеся храмы и хоронят прах своих кровных в глуши лесов.

– Теперь остается нам очистить один из самых важных нареканий ваших на Россию, – сказал Сурмин, – если мы не

наскучили своим длинным спором и особенно я своим ораторством нашим слушателям и слушательницам...

– Сделайте одолжение, продолжайте. – сказали Тони и Раниев в один голос.

– А вы как, Лизавета Михайловна? Вы, кажется, любите споры. Помню ваши слова, некогда мне сказанные: «В природе, в жизни, все спор; что ж за победа без борьбы!»

– Я и теперь то же повторю и буду слушать вас с особенным удовольствием. В ваших словах столько патриотического чувства и нет никакого хвастовства.

И эта посылка была принята по назначению.

– Вы сказали, – продолжал торжествующий адвокат русского дела, обращаясь к Стабровскому, – что польское имя здесь унижено, в презрении.

– Говорил.

– Не слова, а факты доказывают противное. Дети так называемых вами поляков, из какой бы губернии они ни были, принимаются в наши учебные заведения, гражданские и военные, на счет правительства наравне с русскими, без всякого предпочтения одних другим.

– Ничего не имею против этого сказать.

– В войске русском, в судах, в местах финансовых, административных, вы везде стоите с нами рядом. Взгляните в адрес-календарь и вы удостоверитесь собственными глазами, сколько польских имен занимают видные, почетные и выгодные места в государстве.

– Все так, но эти услаждения, так сказать, по усам, не вознаградят поляков за потерю свободы, самостоятельности их отечества.

– Вы пользовались широкой свободой во времена ваших польских и саксонских королей, и что ж вы из нее сделали? Довели до раздела Польши. Великодушный, высокогуманный государь дал вам конституцию и как вы ею воспользовались?

– Конституция эта была нарушена разными неправдами.

– Извините, вы ее нарушили революционными тенденциями, стремлением к анархии. Вы и тут доказали, что законная свобода не по натуре вашей, что вы неспособны пользоваться ею.

– Если смотреть с вашей стороны, многое из ваших слов, может быть, *резонно*; могу только от лица моих компатриотов, без всяких паки, сказать в заключение: «Польша до тех пор не успокоится, пока не будет Польшей, или погибнет».

– И погибнет, если не сольется с Россией, – возвысил свой голос старик Ранеев, потрясая рукой, – двум рекам нельзя отдельно течь в одном русле.

– Спрошу вас еще, все ли польские уроженцы, как вы называете и белорусцев, говорят то же, что вы сказали? – спросил Сурмин.

– Уж конечно, все единодушно; между ними я не знаю отступников.

– Я найду вам живые противоречия; для примера укажу

вам на одного, мстиславца.

– Я желал бы знать имя этого презренного человека.

– Напротив того, это честнейший, благороднейший из людей; имя ему Пржшедиловский.

Это имя ошеломило Владислава, куда девались все доводы его в пользу дела, за которое он так горячо ратовал!

– Пржшедиловский? Он мой друг.

– А мой адвокат по весьма важным, интересным делам и человек, за которого отдал бы я с удовольствием сестру свою, если бы он не был женат и любил ее.

– Ваши отзывы о нем не преувеличены. Пржшедиловский, конечно, не скажет о польском деле того, что я говорил, потому что он счастлив здесь. Русская девушка, которую он страстно любил, отдала ему свое сердце и руку, отец ее не погнушался принять поляка в свое семейство. Мудрено ли, что он прирос сердцем к русской земле!

– Отец его жены, конечно, не погнушался отдать дочь свою за белоруса, – отозвался Ранеев с какой-то горечью в голосе, – потому что уверен был в твердости и честности его характера, уверен был, что ни брат его, если он у него есть, ни он сам не изменит своему долгу и чести, хотя бы сулили ему номинацию не только в пулковники, но и в воеводы.

Как растопленный свинец, метко падали капля за каплей эти слова на сердце Стабровского.

Лиза шепнула своей подруге, чтобы не зажигали фонариков; ей было не до иллюминации; праздник был расстроен.

– Судьей в этом споре, – сказал Ранеев, – я не желаю быть и сам себя отвожу по личным моим отношениям к обеим сторонам. Пусть Антонина Павловна и дочь моя решат его и подадут, одна или другая, руку победителю.

Глаза Лизы горели лихорадочным огнем, она порывисто встала со своих кресел и спешила подать руку Сурмину, на эту руку наложила свою и Тони, как бы в знак тройственного союза.

– Как же, – заметила Левкоева, коварно улыбаясь, – вы, Антонина Павловна, недавно так горячо защищая пана Стабровского, желали ему воинственной карьеры?

На это злое и неприличное замечание, сначала немного было смутившись, потом с твердостью отвечала Тони:

– Когда возводили вы на него напраслину, я была за него, а теперь против него правда и сердце русской женщины.

Ранеев грустно покачал головой.

– Эх, Владислав, – дружески произнес он, – жаль, очень жаль мне тебя, ты не таков был, когда мы тебя впервые узнали. Тебя совратили безумцы с истинного пути. Образумься, не то, помяни меня, они тебя погубят.

– Я должен был говорить, что сказал, я не мог иначе говорить, – отвечал Владислав.

Голос его замер, слезы выступили на глаза, и он, закрыв их рукой, не простившись ни с кем, быстро направил свои шаги к садовой калитке.

Все, оставшиеся на своих местах, молчали, смотря друг на

друга, как бы спрашивая друг друга разгадки этого быстрого исчезновения, этих слез.

Только одна хорошо понимала их.

Между тем корнет-философ, желая полиберальничать, догнал Стабровского у калитки и закричал ему:

– Позвольте!

– Что вам угодно от меня? – резко спросил тот.

– Вы правы.

И понес было философ разную речь о сепаратизме и федерализме вроде «центрального движения, воздушного давления».

Владислав спешил обрезать его на первых словах.

– На это я буду иметь честь доложить вам вот что, – отвечал он сердито и громко, так что могли слышать его оставшиеся в саду. – Я понимаю еще стремление поляков к самостоятельности Польши, может быть, безрассудное, несбыточное, горячо сочувствую движению итальянцев, как и немцев, к объединению Италии и Германии. В нем они видят благо своего отечества. Но не понимаю, чего желают подобные вам русские в разъединении России, в ее обессилении. Я называю это просто безумием, низостью – и потому таких людей презираю.

Юноша-философ погрозил ему кулаком в спину. Проглотив оскорбление, он возвратился в сад, будто опущенный в холодную воду, но тут встретила его мать грозным приказанием сейчас уехать в свою гостиницу и не сметь показывать-

ся ей на глаза, пока сама не вызовет его.

Собеседники расстались, унося с собой разные впечатления, оставленные в сердце их *Елизаветинным днем*.

Когда Ранеевы возвратились на свою квартиру, с мезонина послышалась трогательная молитва, прекрасно исполненная тремя голосами с аккомпанементом рояля.

И помолились усердно отец и дочь, чтобы Владислав обратился на путь истинный.

VIII

На другой день около десяти часов утра шла Лиза, углубленная в мрачные мысли о вчерашнем дне, по набережной Пресненского пруда, в дом, где она давала уроки. Все, на небе и вокруг нее, согласовалось с печальным настроением ее души. День был пасмурный, желтые листья устилали землю; от пруда, подернутого будто свинцом, веяло пронзительным холодом; осенние птички жалобно чирикали в обнаженных кустах. Казалось Лизе, что она со вчерашнего дня отделилась от всего, что радовало ее еще в людях и в природе. Ни души не было в саду, но если бы кто ей попался навстречу или обгонял ее, он мелькнул бы перед ней, как тень.

Вдруг слышит, кто-то назвал ее по имени. Голос знакомый, голос Владислава, но не тот смелый, звучный, который некогда ласкал ее сердце, а робкий, грустный, словно замогильный.

Она вздрогнула; перед ней стоял Владислав.

Лиза испугалась было, но скоро оправилась и, надвинув брови на глаза, спросила:

– Что вам угодно?

– Вчера, убитый горем и унижением своим, я не простился с вами... я знал, что вы в этот день, в этот час проходите здесь, и пришел...

– Кто же довел вас до этого унижения? – спешила пере-

бить его Лиза, – не вы ли сами? И теперь не вздумали ли стать на моей дороге, чтобы оскорбить меня какими-нибудь новыми безумными речами? Довольно и того, что вы вчера, в день моего ангела, при многих посторонних свидетелях, пришли расстроить мой праздник, внести смуту в наше маленькое мирное общество, огорчить моего больного старика и будто ножом порваться в груди моей.

– Я ныне хотел вас видеть только для того, чтобы попросить у ног ваших прощение за мои безумные речи, за все, чем мог вчера огорчить отца вашего и вас. Хоть не проклинайте меня.

– Где же был ваш рассудок, ваша так названная высокая любовь ко мне?

– Я потерял совсем голову, потому что потерял все, что мне дорого было в жизни. Признаюсь вам, вчера раздосадованный, огорченный вашим ответом, после пирушки на проводах моих друзей, отуманенный вином, я пришел прямо к вам...

– Вы уж и до этого дошли.

– Отчаяние до всего доводит, до убийства тела и души.

Весть, что у вас есть жених, что вы скоро выходите замуж...

– За кого, позвольте вас спросить?

– За Сурмина, этого вчерашнего красноречивого оратора.

– Красноречивого, согласна, потому что он говорил от души как русский патриот. Однако ж, откуда почерпнули вы эти сведения?

– Ваша бывшая няня сказала это моему слуге, когда я посылал вам роковое письмо.

– Большие же успехи делаете вы на разных благородных путях! Я не знала еще до сих пор у вас достоинства подбирать сор на задних крыльцах. Не имею нужды отдавать вам отчет в своих намерениях и чувствах, но так как слух, до вас дошедший, чистая ложь, бабья сплетня, то по старой дружбе и должна вам сказать: Сурмин ни явно, ни тайно не был никогда моим женихом. Люблю его как доброго, благородного друга моего отца, как приятного, умного собеседника– ничего более. Уважаю его и за то, что он никогда не посягнет на семейное спокойствие кого бы то ни стало. В том, что я сказала вам, свидетель тот, кто читает в душе нашей. Осталась ли еще у вас искра благородства и рассудка, чтобы поверить женщине, которую вы некогда называли своим другом?

– Верю, верю я, сто раз безумный, сто раз несчастный! Теперь поймешь, что происходило в моей душе, когда я пришел к вам. Холодный ответ твой на мое письмо...

– Ты вчера говорил, что обязан повиноваться воле матери, что не можешь и не должен сказать ничего, кроме того, что говорил. И я тоже не могла написать тебе ничего, кроме того, что писала (Лиза говорила это более задушевным, любящим голосом.) Поверь мне, Владислав, бывает в жизни человека стечение роковых обстоятельств – ты сам их понимаешь, ты сам и брат твой накликали их... Перед этими обстоятельствами падают слабые души, более сильные торжеству-

ют над ними. Ты увлечен ими, пойдя против них... не уезжай... (она схватила его руку и сжала в своей), *останься...*

В голосе, произносившем слова: «Не уезжай, останься», было столько любви, столько надежд.

– Я послушался бы тебя, если б ты мне сказала эти слова, только одни эти слова, дня за два тому назад, теперь уже *поздно*. Лиза, друг мой, позволь мне еще раз, конечно, последний, назвать тебя этим сладким именем и унести его с собой в мою мрачную будущность. Своим безрассудством я обрек себя на гибель, воротиться не могу и должен погибнуть. Осталось мне молить Бога, чтобы ты была счастлива, просить тебя сохранить сердечную память о человеке, который любил тебя, как никто на свете не может тебя любить. Прощай. Попроси за меня отца простить мне безумные мои речи. Благодарю тебя за те прекрасные минуты, которыми ты меня подарила, за то счастье, которое теперь испытываю; прощай еще раз.

Рука Лизы была еще в его руке, он с жаром поцеловал ее, уронив на нее не одну горячую слезу.

– Прощай, – сказала Лиза и судорожно сжала его руку.

Грудь ее готова была разорваться, но она превозмогла себя, махнула ему платком, и пошли они оба в разные стороны с тем, чтобы, может быть, никогда не свидеться. Никто из них не заметил, что за ними наблюдал зоркий глаз соглядатая.

Так же спокойно, так же внимательно, как и всегда, дала

она урок своим ученицам; ни в голосе ее, ни на лице незаметно было никакой перемены.

Пришедши домой, Лиза рассказала отцу о встрече с Владиславом и как он глубоко раскаивался в своих вчерашних безумных речах и как просил у него прощения.

Отец прижал ее к своей груди, поцеловал в лоб и перекрестил. Ни одного слова не произнес он при этом.

Часть вторая

I

Купчиха вдова Варвара Тимофеевна Маврушкина занимала богато убранный дом. При ней жили трое малолетних детей от 10 до 14 лет. Гувернер у них был поляк, учителя, ходившие давать им уроки, – большею частью поляки, которых выбор и назначение зависели от *друга дома*, Людвиговича, уже знакомого нам. Муж Маврушкиной завещал ей на условиях богатое денежное состояние помимо наследства, оставленного детям. Сверх того на воспитание и содержание их отпускалась ей ежегодно значительная сумма. Заглянем сначала в отделение детское. В классной комнате за столом, на котором разложена карта, сидят трое мальчиков, внимательно слушая урок, задаваемый им учителем истории и географии. Между словесными объяснениями он оттушевывал на карте карандашом своевольные границы Польши и таким образом несколькими штрихами графита завоевывал для нее у России не только Царство Польское, но и все губернии, отошедшие к нам с 1772 года.

– Помните, милые дети, – говорил он с несколько польским акцентом, – Королевство Польское тянется с запада от границ Пруссии и Австрии до Днепра в разрезе города Смо-

ленская, с севера на юг от Балтийского моря до Карпатских гор и с юго-запада от границ немецкой Австрии до Киевской губернии включительно.

– Как же, – спросил старший из учеников, – на карте означены другие границы? А ваши, карандашные, можно разом стереть резинкой.

– Это старая, негодная, неправильная карта. Она скопирована с той, которая была составлена по приказанию императрицы Екатерины II. Я вам на днях принесу новую. Надо вам сказать, это была властолюбивая женщина. Расскажу о ней, когда дойдем до нее в истории России. Так извольте видеть, она всякой неправдой забирала чужие земли, а на поляках хотела отомстить за то, что они были некогда господами русского государства, да и в цари был выбран самими русскими польский королевич Владислав. Воспользовалась она нашими домашними смутами, подкупила изменников, каких везде бывает, задарила их золотом, соединилась с австрияками и пруссаками, да и разделила с ними Польшу на три части. Несправедливость, вопиющая к Богу! Но отольются волкам слезы агнцев. Это все равно, как если бы я подкупил слуг вашей мамы и с ними в одну ночь обобрал ее. Не правда ли?

Маленькие слушатели в знак согласия кивнули головой.

– Русский император Александр Благословенный восстановил Польское Королевство и хотел было по чувству правосудия и законности вернуть ему те границы, которые я вам начертил на карте, но преемники его пошли по сто-

пам' бабушки. Жаль им сделалось прекрасных, богатых земель наших. Лет за тридцать тому назад поляки пытались было потягаться за свои законные, Богом данные границы, да тогда было еще не время – сила одолела. Вот ныне дело другое. Польша восстала, вся Европа идет к ней на помощь, и вы увидите, много через полгода она войдет в прежние свои пределы. Тогда мы будем владеть своим, а вы своим, и станем жить как добрые братья, дети одной славянской семьи. Вы завоюете всю Азию, тут же и Китай, заберете в свои руки всю чайную торговлю, разбогатеете и будете просвещать тамошние народы, а мы вас. Надо вам сказать, друзья мои, – поляки народ рыцарский, благородный, умный, образованный, не то что ваши русские, мужики грубые, неотесанные, от которых несет луком... Сравните хоть пана Людвиковича с вашим дядей, что кладет только крест на рот, когда...

Учитель, для вящего убеждения своих слушателей в необразованности русских отцов, попытался подражать неким неприличным гортанным звукам.

Дети смеялись.

– Но вот вы теперь учитесь, позаймитесь от нас всего доброго, умного и полезного и Бог даст, сравняетесь с нами. – А наши пани и паненки... посмотрели бы на них... Что за красавицы! Какие плечики, грудь, какая ножка! А как подхватят вас на мазурку, да взглянут на вас своим жгучим взглядом, словно золотом дарят, поневоле растаешь. Не то, что ваши лапотницы.

Глазки старшего слушателя необыкновенно заискрились. И продолжал педагог-искуситель свою лекцию в том же роде.

Маврушкина была женщина лет с лишком сорока, худощавая, перегорелая в огне чувственной любви. Сказывала же она себе тридцать с небольшим, между тем как у нее были дочери замужем и имели сами детей. И потому *бабушка* за-прещала так называть ее при посторонних людях; в случае же, если внучки посещали сыновей ее, да к ней в это время приезжал Людвинович, так их опрометью выпроваживали в задние комнаты. Когда же выезжала на гулянье, брала с собой меньшого из своих детей, чтобы казаться молодою матерью. *Друг дома* знал все эти маневры, но притворялся, что не ведает их и боготворимую им женщину считает молодой и в высшей степени привлекательной. «Цель оправдывает средства», этому лозунгу служил он верно, презирая мнения русского общества, счастливый, что может из богатой сокровищницы купчихи черпать полными руками и пользоваться возможными земными благами, пока эта сокровищница не иссякнет. Маврушкина, с ограниченным умом, со слабым характером и сильным аппетитом любви, предалась совершенно своему обожателю, видела только его глазами, действовала только по его направлению. Апатичная к родным и детям, она со всем жаром, какой сохранился еще в ее крови, предалась своему кумиру. Всегда богато одетая по последней моде, искусно гримированная с помощью самых утонченных косметических снадобий, о которых ежедневно

вычитывала из газет, надушенная, – она готова была во всякое время принять своего обожателя.

Ныне богатые купцы стараются соперничать с дворянами в светском образовании своих детей; не только воспитательницы француженки, но и англичанки появляются в их семействах, не только сыновья их, но и дочери стали делать экскурсии в чужие края. Но Варвара Тимофеевна родилась почти за полвека назад, когда купцы учили своих детей только читать и писать, да разве первым четырем правилам арифметики. И в том, чему учили Маврушкину, сделала она слабые успехи. Писала она какими-то каракульками и безграмотно. Людвигович, получая ее послания, смеялся про себя над ними, но уверял ее, что читает их с величайшим наслаждением.

У всех порядочных людей есть кабинет, как же не иметь его такой богатой даме, как Варвара Тимофеевна, – говорил ее чичисбей и устроил ей кабинет на барскую ногу, со всеми модными письменными принадлежностями, купленными им за баснословную цену в лучших магазинах. Не забыта была и библиотека, в которой книги красовались своими великолепными переплетами, никогда не раскрываемыми, и потому оставались элевзинскими таинствами для обладательницы их. На стенах как-то дико смотрели, как будто изумленные своим появлением в жилище Маврушкиной, великие мужи разных народов, которых имена коверкала она по-своему. Над этими проделками смеялись родные и знакомые. Человек, который истинно любит, постарается отстранить от

насмешек предмет своей любви, но Людвигович торговал собой, и ему нипочем было унижение женщины, купившей его особу, лишь бы извлечь из нее как можно более выгод для себя.

Варвара Тимофеевна в ожидании домашнего друга, вся в шелку, блондах, изукрашенная на руках, в ушах и на груди бриллиантами, приправленная разными косметическими соусами, одетая по последней моде, как будто манекен на выставке, сидела в своем кабинете и гадала в карты. Другого занятия она не знала.

– Так и есть, – говорила она сама с собою, – эта белобрысая не отходит от него, я у него в ногах. Туз пик и семерка трэф – удар и слезы. Разлучница, пожалуй, отобьет его у меня. Нет, этому не бывать. Не пожалею ничего, чтобы расстроить их свадьбу. Горячей меня никто не может его любить; буду сыпать тысячами, а его никому не отдам; он поклялся мне своим Богом... Однако ж, не был два дня. Сказал, будет провожать друзей в Петербург, все-таки мог бы заехать. Разве сердится, что просрочила... Говорил, крайне нужно, землю дешево продают, там у них, в какой-то польской губернии, хочет купить бедному отцу и матери. Все проклятые попечители задержали. Хоть бы поскорее выдали мне всю завещанную сумму. Приезжай скорее, мой *анж* – кажется так выговариваю, благо Вася выучил. Успокой меня. Вот они десять тысяч, тут у сердца, но не дам прямо, пускай поиграет в отгадку.

Белобрысая соперница, так сильно растравлявшая ее сердце, была та самая молодая особа, которую Людвикович вел несколько лет к венцу и до сих пор не доводил. Маврушкина знала, что между ними, как она говорила по-своему, нет ничего *худого*, потому что щедро платила прислуге Леденцовой (так называли нареченную), чтобы ей доносили, когда он бывает у ее соперницы и что между ними делается. Но все-таки ревнивую женщину, замечавшую утрату своих наружных чар, не могли эти мысли успокоить. Она принялась опять за карточную хиромантию. Бубновая дама опять неотвязчиво ложилась подле сердечного короля. Ее взяли горе и досада, и она принялась было писать к нему нежное письмо с упреками, что ее, больную, забыл, что ей стало хуже, что ей непременно нужно видеть его для дела, которое его самого сильно интересуется. Выражения были большею частью выбраны из песенника. Только что кончила она послание, как послышался звонок. Звук его, дважды повторенный, один за другим, означал приход друга дома. Маврушкина спешила спрятать письмо под сукно стола.

Людвикович вошел без доклада и, горячо поцеловав в два приема ее ручку или, вернее сказать, ее перстни, спросил о здоровье.

– Здорова-то, здорова, – отвечала она, сделав грустную мину, – только с тоски пропала по тебе. Жестокий! Легко ли, два дня не был.

– Я тебе сказал, что буду провожать друзей, да и больных

на руках много, нельзя же их бросить.

– Не больна ли уж твоя нареченная? Чай, не преминул двадцать раз навестить.

– Опять все та же история! Разве не клялся я тебе Маткой Божьей и всеми святыми, что люблю тебя одну. Если езжу к Леденцовой, так для того, чтобы меня считали ее женихом. Она служит нам ширмами, за которыми прячем нашу связь. Поймешь ли ты, я берегу твое имя, твою честь. Кто мешал бы мне жениться на ней, если бы я хотел.

– Кто? – спросила со сверкающими глазами Маврушкина и выпрямилась, как разъяренная Медея. – Кто? – повторила она. – Я! Я заколю тебя и ее во время венчания и объявлю всем, на весь народ, что я твоя любовница.

– Ну, полно бесноваться, душка, ты остаешься для меня навсегда, мой милый, бесценный друг, которую не променяю ни на каких барышень, которую буду любить до гроба. Перестань хмуриться, улыбнись, моя краса. Поверь, что ты не можешь иметь друга более тебе преданного, готового пожертвовать тебе своею жизнью. Если после этого ты будешь ревновать меня, так лучше расстанемся.

– Скорее утоплюсь или удавлюсь.

– Ты говорила, что всякую минуту обо мне думала, а вспомнила ли свое обещание?

– Нет, забыла, неблагодарный! Поцелуй меня хорошенько, выручу.

– Хоть сто раз.

И поцеловал ее Юстиниан Павлович страстным поцелуем, захватив немного розовой помады с губ ее.

В упоении своей любви Варвара Тимофеевна недолго помучила его в отгадку, а пакет с 10 тысячами от сердца ее перешел к его сердцу, в боковой карман фрака.

– О! Как будут радоваться мои родители, что я их успокою на старости, как будут молить Бога за тебя!

Распростились они – Людвикович, довольный, что получил значительный куш, который может посвятить отчизне, – Маврушкина, счастливая уверенностью, что он безгранично одну ее любит и карты солгали. Вышедши в сени, он плюнул и платком обтер себе губы.

Надо было передать этот куш Жвирждовскому. Он поехал к нему, но не застал дома; слуга доложил, что капитан возвратится не прежде двух часов, не будет обедать у себя, вечером поедет в театр и на другой день уедет в Петербург.

«Как быть? – подумал Людвикович, – в 2 часа мне непременно нужно по службе на совещание, потом у богатой родильницы, где меня, вероятно, задержат. Всего лучше доставлю ему деньги через Аннету Леденцову, она для меня готова в огонь и в воду. Милое, преданное мне создание».

Рассудивши таким образом, он поехал к весталке, столько лет неусыпно сжигающей огонь своего сердца на алтаре платонической любви, в надежде, что он скоро поведет ее к брачному алтарю.

Аннета жила с матерью своей, старушкой, слабой здоро-

вьем и характером. Людвикович слыл у них в доме и у интимных их знакомых женихом дочери, хотя это не было объявлено формально, потому что он время от времени откладывал свадьбу по разным препятствиям и не так еще давно по причине, будто не совсем приличен брак с поляком в самый разгар польской революции. Блажен, кто верует, блаженны были мать и дочка Леденцовы, одна по простодушию своему, другая, ослепленная любовью. Надо сказать, что Аннета с начала их знакомства очень нравилась ему своим смазливym личиком, живостью характера и бойким умом, нравилась и придачей 15 тысяч, которые мать давала за нее чистоганом. Но случилось, что между колебаниями его, броситься ли ему в брачный омут или наслаждаться свободною, холостою жизнью, он стал лечить Маврушкину от разных истерических припадков, вылечил ее и сделался другом ее дома и сердца. Это обстоятельство, брошенное судьбою на весы его вместе с пачкою депозиток, положенных на одну из чашечек, перетянуло на сторону вдовушки и ту небольшую привязанность, которую он начинал чувствовать к Леденцовой. Искушение было сильное, но мимолетное. Он продолжал, однако ж, питать в сердце Аннеты надежду, что скоро увенчает их любовь законным союзом. Отважная, решительная, к тому же зараженная модными теориями об эмансипации женщин, хотя и отвергающая гражданский брак, но любя искренно Людвиковича, Аннета готова была исполнить все, что он потребует для блага, пользы и спокойствия сво-

его.

Аннета обрадовалась, как и всегда, его посещению и протянула ему свою руку, которую он несколько раз с жаром поцеловал. Мать ее была нездорова, и потому они могли наедине поверять друг другу свои тайны.

Скоро передана ей была та, для которой он к ней приехал.

– Вы знаете, милый Юстиниан Павлович, что я всегда счастлива, когда могу сделать для вас приятное, – сказала она. – По адресу, который вы мне даете, я вижу, что он живет недалеко, полчаса ходьбы, не более; да если бы мне пришлось для вас на край Москвы, я сделаю это с величайшим удовольствием.

– Смотрите, оденьтесь потеплее, погода суровая, а для меня ваше здоровье так дорого. Вы пойдете, конечно, под вуалью?

– Нет, с открытым лицом. Если встретятся знакомые, je m'en fiche.¹⁷ Все это предрассудки, на которые я плюю.

– Я советовал бы вам быть осторожнее: вы идете в гостиницу, вас узнают, могут проследить, распусят глупые слухи, а меня это очень бы огорчило. Помните, поручаю вам дело секретное. Человек, к которому вас адресую, не должен быть компрометирован.

– Будет по-вашему, мой милый повелитель.

– Знаю, что вы не потеряете пакета, и потому не имею нужды напоминать вам об этом.

¹⁷ je m'en fiche – мне все равно (фр.)

– Ваш пакет с деньгами? Потеряю его разве с жизнью моей.

– Прощайте, мой ангел, еще вашу ручку, спешу к важной больной.

– Не держу вас. Мне также нужно по туалетной практике, хочу явиться перед вашим другом хорошенькой, чтобы он нашел меня достойной вас.

– Вы всегда прекрасная, моя божественная Аннета, – сказал Людвигович, целуя опять с упоением ее руку. – О! Когда бы мог назвать эту ручку своею. Смотрите, однако ж, не заслушивайтесь льстивых слов, которые вам будут расточать. Вы не знаете, я ревнив.

Она кокетливо погрозила ему пальчиком, он пошел было к двери, но воротился, прибавив:

– Не забудьте взять от него визитную карточку и попросите его написать на ней только одно слово: «получил».

– Все будет исполнено, как по воинскому артикулу.

Аннета проводила его поцелуем рукою на воздух.

В сенях он не обтер губ своих и не плюнул, а только сказал про себя: «Черт побери, ныне она особенно интересна; кабы не чучело, набитое золотом, можно бы рискнуть».

Ровно к двум часам пополудни явилась она в гостиницу, где стоял Жвирждовский, и сказала швейцару, чтобы он передал нумерному такого-то номера, что капитана желает видеть дама по поручению доктора Л.

Швейцар позвал нумерного, стоявшего на площадке лест-

ницы, и передал ему, что говорила дама в вуале.

– Ваша фамилия? – спросил нумерной.

– Аннета Чертоплясова.

– Вы смеетесь, сударыня.

– Хоть бы и так. Вот тебе целковый на водку, раздели с швейцаром и делай, что тебе велят.

Нумерной с целковым в руках пошел исполнять ее приказание и, дорогой повторяя имя Чертоплясовой, чуть не прыснул от смеха. Через три минуты он воротился к даме под вуалем с докладом, что капитан велел ее просить. Капитан догадался о мистификации. Провожаемая слугой, она у двери номера объявила ему, что он далее не нужен, и, войдя в номер, затворила за собой дверь.

– Заприте дверь на ключ, – сказала она Жвирждовскому.

Он исполнил волю таинственной незнакомки и попросил ее присесть на диван и сказать ему, кого он имеет честь принимать у себя.

– Мое настоящее имя вам не нужно знать, – отвечала она, садясь на диван и подняв вуаль. – Я имею поручение от доктора Людвиковича передать этот пакет. Сочтите деньги (она подала ему пакет.) Дайте мне вашу карточку, приложите на ней печать и подпишите слово: «получил». Более ничего не нужно. Прошу поскорее...

Жвирждовский раскрыл пакет, прочел записку, в него вложенную, взял со стола карточку, зажег свечу, приложил печать и, написав, где нужно было, слово, которое от него

требовали, вручил карточку Леденцовой.

– Считать я не стану, – сказал он, положив пакет в ящик письменного стола, – такому прекрасному поверенному, как вы, с такими ангельскими глазами, можно поверить миллионы. По записке моего друга я знаю, кто вы. Счастлив он, что имеет такую достойную невесту, еще счастливее будет, когда назовет вас свою супругой. Мне остается у ног ваших благодарить вас за ваше одолжение и за счастье, которое вы мне доставили своим посещением. Поблагодарите за все и моего друга. Дай Бог вам скорее исполнения ваших общих желаний. Верьте, обворожительные черты ваши никогда не изгладятся из моего признательного сердца.

Миссия Леденцовой была исполнена, она встала и, опустив вуаль, простилась с капитаном. Он проводил ее до парадного крыльца и при прощании отвесил ей глубокий поклон, чему были зрители нумерной и швейцар.

Эти знаки уважения госпоже Чертоплясовой в придачу к целковому на водку подвигли и трактирную прислугу к особенно почтительному провожанию таинственной дамы, пробовавшей не больше пяти минут в номере и потому не возбуждавшей никакого нескромного подозрения.

Аннета Леденцова была наверху блаженства, она исполнила, как нельзя лучше, поручение своего милого жениха, слышала от его друга, капитана, столько лестного для себя, в его словах заключалось столько надежды.

Скорей, скорей на квартиру Людвиковича. У подъезда го-

стиницы она взяла щегольские пролетки, вспорхнула на них, не торгуясь, закричала извозчику:

– К Малиновым воротам! – и полетела к своему сердечному доверителю.

Доктора не было дома. Здесь она, по согласию со слугою его или человеком, – как называют еще наших слуг и как, по словам Тьерри, называли Норманы своих невольников – положила в кабинете карточку, служившую квитанцией в получении денег, не без наказа, чтобы она хранилась как зеница ока и была тотчас указана господину по возвращении его домой.

В этот день Сурмин был в Большом театре, где давали «Жизнь за царя». Он сидел в одном из первых рядов кресел и заметил, что в другом горячо аплодировал патриотическим местам пьесы офицер генерального штаба. Всмотревшись в него в антракте, он увидал, что это знакомый его по-прежнему месту служения, капитан Жвирждовский. Зная, что он находится ныне на службе в Вильно при главном начальнике края, Сурмин, из желания выведать, что делается в этом краю, подошел к нему. Они друг другу обрадовались, по крайней мере, наружно. Один притворился, что верен прежним связям товарищества, другой имел затаенную мысль, что не надо слишком доверять поляку, но все-таки никак не подозревая в нем изменника России. Когда б он знал да ведал, вместе с публикой, что в театре подле него сидит сам воевода могилевский!.. Поменявшись местами с его

соседом, Сурмин занял кресло подле Жвирждовского. Слово за слово, большею частью голосом, настроенным на сурдинку, обрывками, сосед рассказал ему о смутах в Царстве Польском не только что было уже известно по газетам, но отчасти и то, что не было по ним известно, не компрометируя себя ни в отношении к польскому делу, которому тайно служил, ни в отношении к России, которой служил по наружности. Казалось, он был так откровенен, такой горячий русский патриот. В разговоре о состоянии умов в западных губерниях он заверял, что кроме безрассудных гимнов и революционных знаков в одежде все обстоит благополучно и что русским правительством приняты решительные и строгие меры к погашению революции, если б она, *паче чаяния*, вспыхнула в этом крае. Так умел капитан искусно пройти между двух перекрестных огней. Но не желая, как он заметил, чтобы соседи слышали то, что он имеет передать Сурмину по секрету, он пригласил его к себе для более свободной беседы на следующий день в 2 часа пополудни, не ранее и не позже, и вручил ему карточку со своим адресом. Этот дал слово быть у него в назначенный час. Во все продолжение пьесы, воевода могилевский не изменил своей роли верноподданного и даже во время польских танцев, простившись с соседом в ожидании приятного свидания, вышел из театра, чтобы, как он заметил Сурмину, не смотреть на веселье поляков в такое смутное для них время.

На другой день в назначенный час Сурмин был в гостини-

це, где стоял Жвирждовский. Проходя длинным коридором к номеру его, он встретил какого-то купца с тощею, поседелою бородкой, в кафтане со сборами, выходявшего из этого номера. Шафранное лицо его, серо-желтые, косые глаза казались ему знакомы.

– Ба! да это тот самый, которого я видел на Кузнецком мосту, когда Ранеев боролся с ним, и который от него вырвался, – подумал Сурминл. – Но не ошибаюсь ли? Дай-ка, попробую, назову его по имени.

– Здравствуй, Киноваров, приятель Ранеева! – сказал он громко, обратившись к купцу.

Купец вздрогнул, от нечаянного ли к нему обращения, или от другой причины, посмотрел на Сурмина или на другой предмет в коридоре, что определить нельзя было по косине его глаз, и отвесил ему глубокий поклон.

– Вы верно обмишулились, – сказал он спокойно, – я купец Жучок из Динабурга, живу то в Белоруссии, то в Литве и не имею чести знать Ранеева.

Тут уж смутился Сурмин. Что было делать ему в этом случае? Он действительно мог ошибиться, Киноварова видел он только мельком. Правда, черты злодея врезались в его памяти, но разве не встречал он иногда на улице или в обществе человека, ему совершенно незнакомого, и не принимал его за своего давнишнего приятеля? Игра природы, не более! Разве она, лепя миллионы разнообразных личностей, не могла вылепить две по одной и той же форме? Да если б и

не ошибался, что может он предпринять? Задержать купца, произвести тревогу в гостинице? К чему бы это повело? К следствию, к суду, на которое он не был уполномочен Раневым; скорее, к хлопотам, в которых он безвыходно запутался бы, а, может быть, и пострадал бы. Он довольствовался только сказать: я тебя отыщу хоть на дне моря.

– Зачем нырять так глубоко, сударь, для такого мелкого человека, я стою в Зарядье на подворье № 56, где на досуге можете меня найти. Очень рад познакомиться с вами, может статься, мы и дельце с вами коммерческое затеем. Позвольте имя вашей милости.

– Мое имя Сурмин, не забудь его.

– Сурмин? – сказал купец, приложив руку ко лбу, как бы стараясь что-то вспомнить. – В Витебской губернии есть поместье одного русского барина, Петра Сергеевича Сурмина. Сам не живет в нем, больше пребывание имеет в Приреченском имении, а только наезжает по временам в Белоруссию.

– Это мой дядя, – отвечал Сурмин, ошеломленный показаниями того, кого принимал за Киновара.

– Как же, батюшка, ведем мы и с ним коммерческие дела, покупаем у него хлебец для винокуренных заводов. Прошлого года построил ему поташный завод. Валежника у него в лесу, что и зверю не пролезть. Говорю ему: что ж у вас, сударь, лес-то даром гниет, давайте-ка гнать поташ. И послушался. Теперь доходец славный получает. Как же, барин умный, хоть, не в осуждение будь сказано, характерный, любит

поприжать нашего брата. Да и то сказать, не все люди Богом под одну масть подобраны. Давнишний благоприятель. Прощу и племянника любить меня и жаловать.

Купец подал Сурмину руку; тот, побежденный простотой обращения его и естественностью его разговора, протянул ему два пальца своей руки.

«Так спокойно, натурально не может говорить подозреваемый в преступлении», – подумал молодой человек и, извиняясь в своей ошибке, взял за ручку двери, которая вела в номер Жвирждовского.

Купец, отошедший было от него несколько шагов, воротился.

– Вы верно к капитану, – сказал он, – спросите у него, честный ли человек купец Жучок или какой бездельник. Да при случае спросите у дядюшки, у Петра-то Сергеевича.

Отвесив Сурмину глубокий поклон, он пошел тихими шагами по коридору; тот вошел в номер, качая головой и усмехаясь от удовольствия, что избавился от хлопот, за которые мог бы дорого поплатиться.

«Наделал бы я дело, – думал он, – если бы погорячился, остался бы в дураках, да еще в каких!»

– Знаете ли, капитан, какую было я штуку выкинул у вас в коридоре, принял купца Жучка, что от вас выходил, за мошенника, которого отыскиваю.

– Жучка? ха, ха, ха!

И разразился хохотом Жвирждовский, подавая руку Сур-

мину.

– Жучка? Да это честнейший человек, какого я знаю. Он доставляет мне и нашему штабу кяхтинский чай и другие товары прямо с нижегородской ярмарки. Настоящий кяхтинский! А то у нас продают все кантонский, контрабандный и то с негодной примесью. Мерзость такая! (Жвирждовский плюнул.) Вы знаете, мы, русские офицеры, прихотливы, привыкли к своему, хорошему. Вот он только что с Макария. Купил я у него для себя, своей братии и отцов-командиров несколько цибиков. Приходил за расчетом. Мошенник, что вы! Ну что, как поживаете? Все у себя в деревне?

– Да, сделался пахарем, тружусь в поте лица по завету Господню.

– Все это хорошо, да труды-то помещичьи ныне плохо вознаграждаются. Эмансипация отняла у нас рабочие руки, не скоро заменим их наемными. На это надо деньги, а достать негде, все обнищали.

– Бог даст, поправимся. Великое, славное дело сделано, жертвы неминуемы. Благоразумные дворяне это хорошо понимают и безропотно покоряются ради блага отечества.

– Ну, а крестьяне как?

– В некоторых губерниях, настроенные злонамеренными людьми, пошумели было, да, благодаря мерам правительства, совершенно успокоились; они поняли, что все это сделано для их же блага.

– Славу Богу, слава Богу.

– А у вас как там?

– Вчера в театре неосторожно было бы говорить вслух о том, что в наших краях творится. Теперь мы одни с вами, никто нас не слышит. Могу сказать вам откровенно как давнишнему товарищу – вы знаете, как я привык уважать вас за твердость и благородство вашего характера, – на Западе плохо. Безмозглые поляки, – говорю это с стесненным сердцем – все-таки братья мне по родине, – заварили кашу, какую не расхлебать скоро, затеяли революцию, какой не бывало. Наверху, снаружи это игрушки. Кунтуши там да гимны мальчишек и паненок, траур и прочее... вздор. Сильна подземная работа не только в Западном крае, но и здесь в Москве, в Петербурге, в Киеве. Тут же подул для революционеров ветер с дальнего запада... вот что грозит бедами... вы меня понимаете. Слова нет, Россия сильна, мы угомоним поляков. Но боюсь, чтобы обстоятельства не сложились и не потребовали чрезвычайных жертв от правительства. Много, много будет пролито крови, помяните меня.

– Это старая история, которая по-прежнему и кончится.

– Дай Бог. Могу сказать вам по секрету: нас известили, что здесь живут польские эмиссары, совращают здешних поляков; мне тайно поручено... Признаюсь, поручение неприятное, тяжелое, фискальное... Сами рассудите, все-таки компатриоты... Я должен следить нити заговора в разных губерниях и здесь. Впрочем, моей миссии никто здесь не знает, числюсь в отпуску, бываю на обедах, на вечерах у гостепри-

имных москалей, танцую до упаду.

– Лихой мазурист.

– Вывертываю на них исправно ногами, а дела своего не забываю.

– Неужели и в Москве есть заговорщики?

– Да, батюшка, вы и здесь ходите на вулкане, который того и гляди готов вспыхнуть. Будьте осторожны. Стараюсь молодых людей образумить, говорю им о могуществе России, о долге присяги... Живя в Москве, вы посещаете разные кружки, не знаете ли каких неблагонадежных поляков?

– Благонадежных, нет. Знаком хорошо с одним, который не продаст России ни за какие деньги, ни за мечту восстановления Польши.

– Например?

– Например, у меня приятель, адвокат мой Пржшедиловский, за этого ручаюсь, как за самого себя.

– Не кладите ему пальца в рот. Иной такой тихий, воды не замутит, честный, благородный, предан на словах России, а он-то и есть величайший враг ее. К прискорбию должен сказать опять про своих компатриотов: поляки уж не тот рыцарский народ, каким знавали мы их прежде, все иезуиты развратили. Поверьте, надо с нынешним поляком пуд соли съесть, чтоб его узнать. Впрочем, сколько знаю Пржшедиловского, он мстиславец, как и я. Нельзя подозревать его в измене, женат на русской, имеет детей, наживает здесь хорошие деньги; куда ему до революционных замыслов! Еще ко-

го не знаете ли?

– Третьего дня познакомился в доме друга моего, Ранеева, с Владиславом Стабровским, братом того гвардейского офицера, что бежал из П. полка.

– Ричард безрассудный мальчишка, сам голову свою кладет в петлю. Не знаю, правда ли, говорят, его уж и поймали. Ну и братец хорош, чай, заносился выше облаков. Горячего темперамента!

– Он говорит, что едет к матери в Белоруссию. Кажется, неглупый, благородный молодой человек, жаль – *une tête un peu montée*.¹⁸

– Не мало, а много. Такие личности все равно, что лошадь с колером, сейчас налетит на рогатку. Немудрено, по породе. И мать его горячая патриотка. Поедет к ней, еще больше свихнется. Но у нас и там есть лазутчики, в случае революционной попытки, накроем разом медведицу и медвежат в берлоге. Ксендза Б. не знаете?

– Нет.

– Вот этого опасного, хитрого эмиссара по моему настоянию выпроводили из здешнего богатого прихода в беднейший сельский приход Могилевской губернии, в глушь лесов. Это все равно, что в Сибирь. Паршивую овцу из стада вон. А Людвиковича не знаете?

– Слышал о нем, как о человеке, искусном по своей профессии, в лицо не знаю.

¹⁸ *une tête un peu montée* – немного возгордился (*фр.*)

– Много говорили о нем подозрительного, но я выведал от своих ищейных, что эти слухи распускали из зависти враги. Ныне я пригласил его к себе и исповедывал не хуже ксендза. Вздор! Дай Бог, чтоб все поляки были так преданы России! К тому же он имеет здесь дружеские отношения с одной богатой купчихой, наслаждается не только привольной, но роскошной жизнью: куда ему до опасных замыслов! Покончив здесь свои дела, как сумел, еду завтра в Петербург. Пожалуйста, в разговоре о нынешней революции успокойте ваших компатриотов, скажите, что правительство приняло энергические меры к потушению пожара, если он сильно вспыхнет. Вы женаты или нет?

– Нет еще, а пора бы завестись хозяйкой.

– Не заводите в такое смутное, печальное время. Я знал вас всегда горячим патриотом: чтобы вам опять под знакомые вам знамена? Может быть, пришлось бы служить вместе, мы бы об этом постарались. Вместе опасности и лавры.

– У меня на руках старушка-мать и две сестры, без меня им будет плохо; куда ж тут до лавров! Если ж обстоятельства потребуют, о! конечно, не задумаюсь тогда ни над какими жертвами.

Простились.

Не было Сурмину причины не доверять словам своего прежнего товарища по генеральному штабу; Жвирждовский казался так всегда предан России. В этот день два мошенника искусно провели его.

При первом свидании с Раневым, он смеясь рассказал ему о встрече с купцом Жучком, которого принял было за Киноварова.

– Может быть, это и был Киноваров, – сказал Михайло Аполлоныч. – Если он умел выпутаться от подозрения вашего, так на это мастерства у ловкого и умного плута достанет. Это актер, какого мы еще на сцене не видали. Впрочем, вы хорошо сделали, что от него отступились. Впутались бы в следствие, которое могло бы продлиться годы и ни к чему бы доброму для меня не привело. Как я вам говорил, это дело решенное, положено в архив до суда на том свете. Несчастье совершено, его уже ничем не поправишь, имущество мое все-таки не возвратят мне, жену не воскресят.

– Вы не раз обещали мне рассказать эту печальную историю.

– Я и не забыл своего обещания, любезный друг. Но чтоб не затруднить ни вас, ни себя длинным рассказом, собираю разрозненные фрагменты, написанные на многих клочках, привожу их в порядок и отдам переписать верному человечку. Дней через десять, – может быть, немного более, вы получите полную историю моей жизни, – даю вам слово. Этот знак моей доверенности послужит вам доказательством, как я вас люблю.

II

Вы видали, конечно, как смысленный попугайчик, наклонив голову на сторону, внимательно слушает урок, задаваемый ему его учителем. Так слушала Крошка Доррит, боясь проронить слово из того, что говорил ей Ранеев. Она сидела в его комнате, с глазу на глаз с ним, утонув в больших креслах, на которые он ее усадил, и спустив с них ножки, не достававшие до полу, Михайло Аполлоныч расположился против нее, держа в руке тетрадь.

– Милая Дарья Павловна, – говорил он, – я позвал вас в отсутствие моей дочери по секретному делу. То, о чем я буду вас просить, должно оставаться между мной и вами, как будто в неизвестном для других мире. Ни ваши братья, ни сестра, ни даже Лиза моя не должны об этом знать. Дадите ли мне слово сохранить эту тайну?

– Все, что могу, сделаю для вас, – отвечала Даша, несколько смущенная таинственностью предложения, – если вы удостоиваете меня доверия, так я, конечно, не употреблю его во зло. Я привыкла хранить секреты по делам, которые на руках у брата моего, а я переписываю; да, считаю за очень дурной поступок передавать другим то, что мне не принадлежит.

– Вот видите, в чем дело. Мы сказывали, что вы мастерски разбираете трудные почерки, пишете правильно и четко. Одолжите мне на время вашу золотую ручку и вашу смыш-

леную головку.

– Пишу недурно, разбирала также до сих пор худые почерки. Вы, вероятно, хотите дать мне переписать какой-нибудь черняк тяжелого дела?

– Долго, долго жизнь моя была тяжбою с судьбою. В этой тетради история ее.

Ранеев развернул тетрадь и представил Даше несколько листов на рассмотрение.

– Рукопись, как видите, написана мною очень неразборчиво. Немудрено: по должности моей я делал до 30 тысяч подписей в год, чем мы в годовых отчетах своих хвастались в доказательство нашей деятельности. Были же такие времена! А сколько черняков нацарапал я моею рукой. Зато в месте моего служения был только один мудрец, разбиравший ее. Здесь испугают вас и бесчисленные помарки, и поправки, то между строк, то на полях листов. Настоящие иероглифы!

Даша взяла тетрадь, пробежала несколько листов, прочла несколько трудных мест, хоть и с запинкой, и сказала потом с уверенностью:

– О! я и не такие разбирала. Здесь, по крайней мере, грамотно, даже литературно написано. А были у меня и такие, что до смысла добраться, как до минотавра... Вот хотела было похвастаться перед вами своим красноречием, – прибавила она, немного покраснев, – да невпопад, Тезеем не могу ведь быть, а вы...

– А я подавно Ариадной.

Старик засмеялся своим добродушным смехом.

– Все-таки путеводную ниточку вам подам.

– Разумеется, чего не пойму, так сейчас попрошу вас объяснить мне. Мы живем ведь руку друг другу подать.

– Лизе я не мог поручить этот труд, она и без того обременена уроками, надо же ей час отдыха. Да, признаться вам, тут есть описания наших семейных несчастий, смерти матери ее... не хотелось бы возобновить в ней грустные воспоминания; это расстроило бы ее здоровье.

– Извольте, я приведу в порядок вашу рукопись и перепишу ее, только...

Даша посмотрела на Ранеева с маленьким лукавством (на большое она не была способна) и остановилась, как будто хотела потомить его недосказанным условием.

– Что ж только?

– Откровенно вам скажу, я даром ничего не делаю.

Это условие, так черство высказанное, озадачило старика, оно было неожиданно. И от кого ж, от Даши, от Крошки Доррит, дитяти наружностью и душой, сестры Тони, которую он считал членом своего семейства?.. Он готов был условиться в плате за труды с каким-нибудь обыкновенным писцом, но ей не смел бы предложить деньги. Разве постарался бы отдарить ее какой-нибудь хорошенькою вещицей, хоть бы вроде вазочки *vieux Saxe* с шалунами-ребятишками на ней. Даша, взглянув на них, улыбнулась бы и вспомнила бы о нем, когда его не будет. Так было у него в мыслях.

– Сколько же вам нужно? – спросил он довольно сухо.

– Не *сколько*, а *только*, Михайло Аполлоныч.

И не дав ему разрешить трудную задачу, да считая за грех томить долее почтенного старика, она не выдержала своей роли, ей несродной, и прибавила:

– Подарите мне на память карточку с вашим портретом; это будет лучшая награда за мои труды... Если ж вы предложите мне что-нибудь другое, я с вами навеки рассорюсь, и тогда ищите себе другого переписчика. Я маленькое твореньеце Божье, но вы меня не знаете. Раз что-нибудь сказала, так тому и быть.

Она говорила энергическим голосом, подняв гордо голову и стукнув кулачком по локотнику кресел, будто маленькая фея своею багетой.

От сердца Ранеева отлегло; он был тронут, несмотря на комическую позу Даши, превратившейся из кроткого, покорного существа в строгого повелителя: он был счастлив, что на это чистое создание не пало пятно.

– Доброе, милое дитя мое, – сказал он, – и я мог... Он не договорил.

– С удовольствием, с большим удовольствием да не знаю, есть ли еще у меня карточка... Кажется, была одна, единственная... Дай Бог, чтобы нашлась...

Он засуетился, стал шарить в ящике письменного стола и, наконец, на дне его нашел заветную карточку.

– Есть, есть, как я счастлив! – вас ждала.

Даша перенесла свои умные глазки с портрета на оригинал и обратно и спрятала на груди.

– Знаете ли, Михайло Аполлоныч, я в вас давно влюблена, а вы и не подозревали (она покачала головкой в виде упрёка.) С каким удовольствием слушала похвалы вам от Тони, как засматривалась на вас, подбирала ваши слова, когда вы удостоивали меня пригласить к себе.

Даша принялась опять за тетрадь, пробежала ее, познакомилась с указательными знаками, спросила объяснения некоторых трудных мест, потом быстро спустилась с кресел, сказав: «До свиданья, с Богом!» и унесла рукопись с собою. Закипела у нее работа, не без того, однако ж, чтобы не сбегать по временам к жильцу в те часы, когда Лиза не была дома. Сколько раз при списывании патетических мест слезы выступали у нее из глаз! Она с живым участием следила за ходом истории Ранеева, как за приключениями интересного романического лица, сердцем желала ему счастливого конца, но конца не было... Как бы она хотела в это время быть Провидением, чтобы довершить развязку по-своему! Через две недели труд ее был готов и на славу. Красивые буквы стояли в строках, как в линейном строю солдаты, все в один ранжир, готовясь предстать к инспекторскому смотру. О, тень Востокова и целый ареопаг грамматиков, возложите на голову Даши венок имортелей за то, что в тетради, ею написанной, не нарушила она ни на одну йоту ваших уставов.

И ты, богиня молчания, со свитою дипломатов, выдай ей

похвальный лист за то, что умела она сохранить вверенную ей тайну, едва ли не лучше их. А то читаешь нередко в газетах, что из такой-то канцелярии такого-то посольства обнаружили государственное дело, хранимое за семью печатями. Правда, для сохранения тайны не нужно ей было принимать трудные и хитрые средства. Тони никогда не интересовалась вмешиваться в бумажные дела братьев и сестры, братьям маленький скриб в корсете решительно объявил, чтобы они не смели спрашивать, каким делом она занимается. Таким образом рукопись, исправленная, четко и грамматически написанная, щегольски переплетенная золотой ручкой, была вручена законному владельцу ее. При этом торжественном случае не было красноречивых речей, но были, с одной стороны, слезы радости, что умела угодить доброму Михаилу Аполлонычу, с другой – слезы благодарности. Он опять думал было подарить вазочку своему скрибу, но не смел, боясь навлечь на себя гнев его.

Нечего говорить, с какой благодарностью Андрей Иваныч принял рукопись.

Вот что он прочел в ней.

III

Я родился в Тульской губернии, где *Красивая Мечь* опрометью бежит между крутыми, живописными берегами и шумом своих бесчисленных мельниц оглашает окрестность. Нет в этой местности ни высоких гор, на которых любят кочевать караваны облаков, ни величественных рек, ни лесов дремучих, то поющих вам, как таинственный хор духов, свою скорбную, долгую песнь, то разрывающихся ревом и треском урагана. Я сравнил бы тамошнюю природу со свежим, милостивым типом русской девушки, которой удел пленять и нежить, а не восторгать душу, я сравнил бы ее с моей дорогой Тони. В этих местах была колыбель того, кто должен был со временем придать им блеск своего имени. Приехав однажды в отпуск из артиллерийского училища на вакационное время, я увидел в приходской церкви небольшого мальчика с интересною, выразительною наружностью. На вопрос мой, кто это такой, бабушка сказала мне, «что это Тургенев, сын нашего соседа». Уж, конечно, не подозревал я тогда в нем будущего поэта-обличителя проходивших перед ним поколений. Недалеко и Ясная Поляна, где другой высокоталантливый писатель завел образцовое училище для крестьянских детей и пишет свои прекрасные рассказы.

Мне был год, когда мать моя, только что откормившая меня грудью своей, умерла. Грустно мне и теперь подумать,

что я не мог помнить ни лица ее, ни ласк. Лицо отца, ласки его я помню, но не видал над собою благословения умиравшего далеко от меня на Бородинском побоище. Шести лет остался я круглым сиротой и перешел под теплое крыло бабушки, матери моего отца, жившей с нами и с малолетства моего заменявшей мне родную мать. Это была женщина старого века, с предрассудками, которые, однако ж, никому не вредили, религиозно-гуманная, но не понимавшая этого слова, любящая и между тем скопидомка, даже до мелочи. Только эта слабость происходила не из врожденной скупости, а для того, чтобы сберечь в целости дорогому внуку родовое имение, оставшееся после отца моего. Управление за восемьдесятю душами было самое патриархальное. Ни бухгалтерии, ни письменных приказаний и донесений за нумерами она не ведала. Отчетность велась мелком на стенах амбара рукою безграмотного старосты, приказания отдавались ему каждый вечер на словах, рапорты от него были тоже словесные. А все как-то спорилось по хозяйству под Божиим благословением, которое бабушка часто призывала к себе на помощь. Крестьяне наши знали свои три рабочие дня и самые легкие натуральные повинности, за то пользовались привольными угожьями, да еще во время летней страды по уборке хлеба и в день моего ангела угощались до пресыщения, и потому мир между ними и доброй госпожой никогда не нарушался. К ней приходили за советами и особенно за снадобьями не только свои крестьяне, но и со всего око-

лодка, – так славилась она авторитетом своего ума и честности и искусным лечением. Бабушка знала тайны заговаривать кровь, обжоги и лихоманку, лечить раны живой водой из заячьей капустки, и все это с крестом и молитвой. Не ведала она гомеопатических разложений, за то каких трав не готовила. Побывши с нею несколько минут в ее аптечке, уносишь бывало с собою на целый день аромат мяты, душицы, укропа, липового цвета и других пахучих растений. А как хороша была, как ласково глядела на нас тамошняя местность! Березовые и дубовые рощицы, будто сажены художником-садоводом, оазисы цветущих, природных кустов и деревьев, играющая в своих берегах речка, раскинутые по широким полям ковры гречи розово-молочного цвета, перемежающиеся волнами ржи и пшеницы, едва видные соломенные крыши деревеньки, потонувшей в коноплях своих огородов, все так нежило взоры и душу. И какие дивные концерты задавали нам по вечерам соловьи. Казалось, пело каждое дерево, пел каждый куст. И что это за восторженный до самозабвения певец соловей! Случалось, гуляешь по саду и видишь, да, видишь, не только что слышишь, как на липке, аршина в три вышиной, поет он с закрытыми глазами, замирая в сладострастной неге своей песни. Я стоял от него в двух шагах, а он меня не замечал. Если б я был немного побольше, мог бы схватить его руками, по крайней мере мне так думалось. Воспоминания из детства трудно изглаживаются и в старости, даже и такие, которые не оставляют по себе резких сле-

дов на будущность нашу. Извините, друг мой, если я говорю вам об этих пустяках. Они могут вам наскучить; но дайте мне насладиться вдоволь у конца моего земного странствования рассказом о том времени, когда мы еще незнакомы ни с заботами, ни с опытами и страстями. Деревня, это был райский сад мой, из которого пламенный меч гневного посланника Божьего не выгонял еще меня за ограду его. Может быть, эти пустяки навеют и на вашу душу сладкие воспоминания о вашем детстве. Бабушка, когда выезжала к соседям или по делам в уездный город, всегда брала меня с собою, пока у меня не было гувернера. Из этих экскурсий выбираю только события, резче других запечатленные в моей памяти.

Раз ехали мы с нею к одному дальнему соседу. При выезде из нашей деревни погода была нам благоприятна. Не успели мы отъехать от себя не более десяти верст, как бабушка сказала мне:

– Не вовремя собрались мы с тобой в путь, Миша; рука у меня сильно заныла, быть грозе.

И действительно, через полчаса с небольшим начали слетаться с разных сторон тучи, все чернее и чернее одна другой, стал погремыхивать гром, молния разрежет их то там, то тут, далее удары зачастили и усилились. Мы только что въезжали в околицу какой-то деревушки, как сильная гроза разыгралась со всеми своими ужасами. Надо было приютиться под каким-нибудь кровом; добираться до порядочной избы некогда было. Бабушка приказала кучеру свернуть

лошадей к первой избушке на курьих ножках, которая попала нам на глаза. Видно было, что нашему возничему это не понравилось: он помотал в знак неудовольствия головой и почесал кнутовищем за ухом. Но делать было нечего, надо было повиноваться барскому приказу. Как я узнал после, он хотел лучше стоять на улице под ударами грозы, чем остановиться у избушки, которой хозяйка, бобылка, слыла в околodge колдуньей. Лошади стали головами под дырявым, соломенным навесом у покосившихся ворот, мы с бабушкой спешно выбрались из коляски, кучер забрался в нее. Длинный слуга наш Вавила дотронулся до щеколды, дверь сама собою потянулась в убогое жилище бобылки. Мы бросились в него – наш Ричард не без того, чтобы не согнуться в три погибели. В это время ослепительная молния ворвалась за нами не только в двери, но и в окна и, казалось, сквозила во все пазы избушки. Со временем представлялась она в моем воображении клеткой, охваченной со всех сторон огнем. Сухой, раздирающий удар грома потряс ее до основания. Я прижался к бабушке; она остановилась как вкопанная на одном месте, но, оправившись от испуга, стала благоговейно креститься и читать псалом: «Живый в помощи Вышняго», да и мне велела читать его за собою. Мы осмотрелись. Нищета, ужасная нищета охватила нас со всех сторон. Не только почерневшие от дыма, но и обугленные стены, вероятно построенные из бревен, оставшихся после пожара, покачнувшаяся печь, наклонившиеся скамьи, закопченные и облуп-

ленные тараканами, недостаток домашней утвари, – все это бросилось нам в глаза. На одной из скамеек сидела безобразная старуха. Лицо ее было изрыто оспой, один глаз подернут бельмом, другой, светло-серый, смотрел каким-то кошачьим взглядом; седые волосы торчали прядями из-под головного, замасленного платка. Большим деревянным гребнем, каким чешут лен, она искала в голове женщины, растянувшейся на той же скамье. Лица этой женщины не было видно, потому что оно закрывалось густым покрывалом темно-русых волос, упавших по полу. В минуту удара грома и одновременного появления нашего, старушка вздрогнула и опустила гребень. Одиноким зрячий глаз ее засверкал фосфорным блеском и остановился на нас. Вдруг закричала она каким-то диким голосом: «Чур, чур нас!» Вероятно, увидав нашего длинного лакея, который нас немного опередил и заслонял собою, она подумала, что это нечистый дух, упавший к ней в избушку с громовой стрелой. Женщина, лежавшая головой на ее коленях, вскочила и во все испуганные глаза свои смотрела на нас. Мы тут увидели, что это была очень молодая, пригожая девушка. Она своим свежим, хорошеньким личиком резко выступала из общего разрушения, ее окружавшего.

– Господь с вами, – сказала бабушка, выдвинувшись из-за слуги нашего, – позволь, старушка, укрыться на время от грозы в твоей избе.

– А ты отколь? – спросила безобразная старушка.

Бабушка назвала деревню нашу и нашу фамилию. Одино-

кий глаз ведьмы еще сильнее засверкал каким-то зловещим огнем.

– Шабры, как же, ведаем. Вестимо, ты и есть та барыня-знахарка, что лечит наших крестьян, знаешься с нечистой силой. Отбила у меня хлебец! Пусто бы вам было, вон из моей избы, окаянные, чтоб и духу вашего здесь не пахло.

В груди ее слышалось какое-то клокотанье.

– Что ты, что ты, неразумная, – сказала своим тихим, добрым голосом бабушка. – Господь, прости тебе грешные слова твои.

Длинный наш Вавила выдвинулся опять вперед, показал старушке свой огромный кулак, и к этой многозначщей мимике присоединил словесную угрозу.

– Смей еще сказать хоть одно супротивное слово моей барыне, так я тебя, поганая колдунья, разом пришибу этим цепом.

Только что он успел это проговорить, как на улице послышались крик и гам, кто-то постучался в окно избы и послышались слова: «Эй, баба, пожар! выноси поскорее крюк» – и вслед затем раздался хохот.

– Чтоб тебя самого скрючило! – проговорила хозяйка.

– Не бранись, бабушка, и заподлинно пожар, – сказала девушка, успевшая подобрать волосы и затем заглянуть в окно, – оwin суседний горит.

В самом деле, огненный столб поднимался против окошек, народ бежал на пожарище. Но огнегасительная помощь

оказалась уже ненужною: крупный град забарабанил по крыше, вслед затем полил дождь как из ушата, так что, думалось мне, готов был затопить нас; он и залил огонь. Гроза стала утихать, гром ослабевал, только по временам слышалось еще ворчанье его. Казалось, разгневанный громовержец был удовлетворен проявлением своего могущества.

Злая хозяйка, угомонившись, молчала и всматривалась в меня, будто пронизывала меня насквозь своим одиноким глазом, потом, обратясь к бабушке, спросила:

– Это внучек твой?

– Внучек, Михаил.

– Испугался, чай, грома? – спросила она меня более ласковым голосом.

– Испугался, – отвечал я, боясь смотреть на нее.

– Бают, Илья-пророк ездит по тучам на своей колеснице.

– Пустое, это железные шары катают по небу нечистые души.

Опять стала она всматриваться в меня.

– Грозы ты не бойся, малый, – прибавила она. – Много ты на своем веку увидишь гроз, много услышишь грома, да вынесешь свою голову цел и невредим; не гроза небесная пришибет тебя, а лихие люди.

Слушал я ее со страхом, потупляя по временам глаза. И что ж? – сбылось ее предсказание: ужасные громы варшавской битвы перекатывались надо мной, гроза свирепствовала вокруг меня, но я вышел из нее цел и невредим. А лихие

люди все-таки меня пришибли.

Бабушка, как я уже говорил, была не без предрассудков. Она, видимо, смутилась от вещих слов колдуньи, подвинула меня к себе и перекрестила, читая про себя молитву, потом ласковою, задабривающей речью старалась подкупить ее благосклонность: пожалуй, испортит или *обойдет* меня. То заговаривала, голубка моя, о ее бедности, о ветхости избушки, обещалась прислать леску на перемену ветхих бревен, плотников, мучки, круп; пригожей внучке ее подарила четвертак на ленту в косу и наказала приходиться к нам.

Девушка в восторге показала своей бабке серебряную монету и потом поцеловала у моей бабушки руку.

– Дай и мне копеечку, – сказала хозяйка.

Расщедрилась моя бабушка и дала ей тоже четвертак.

Когда мы садились в коляску, перед нами за деревней поднялась конусом гора и на ней деревянная церковь. Обвив ее кругом, ходили еще клубами тучи, но в одном месте сквозь облако прорвалась светлая точка, и первый луч ее заиграл на кресте колокольни. О! и теперь этот золотой луч играет на нем в глазах моих.

– Как зовут это место? – спросил я бабушку.

– *Судбище*, дружок, Судбище. Здесь, говорят, правда или нет, сходилась в старину народ судиться.

Многие годы впоследствии думал я, как бы добраться до сути этого предания, но мне не удалось.

Случилось мне в зимний Николин день ехать с бабушкой

к обедне в нашу приходскую церковь, версты за две от нас. Был прекрасный день, солнышко играло на небе, воздух с прохладью умеренного морозца румянил только щеки, но не щипал их. Мы ехали в одиночку в пошевнях; бабушка сидела на грядке, с задка которой спускался до земли персидский разноцветный ковер. Я помещался на сиденье рядом с кучером и правил бойкой лошадкой, метавшей мне в лицо из-под ног снежную пыль. Подрези потешно сипели, поля искрились, все кругом глядело так весело; я был счастлив, как не бывают счастливы великие мира сего, правя народами. В это время плелся, оступаясь, по снежной дороге старенький мужичок, одетый в новый длинный тулуп, не без шахматных вставок в нем, мотавшийся по ногам. На голову нахлобучена была бархатная малиновая шапка, довольно выцветшая и пострадавшая от времени. Когда мы были уже от него близко и он еще не успел посторониться с дороги, я крикнул на него грозным голосом: «пади, пади!» Но бабушка велела кучеру остановить лошадь. Эта помеха моему удалству была мне досадна. Мужичок, поравнявшись с нами, остановился, скинул шапку обеими руками и отвесил глубокий поклон, отчего обнажилась его голова, едва окаймленная тонким венчиком белых волос.

– Здорово, Калиныч, – сказала ласковым голосом бабушка.

– Здорово, Миколавна, – проговорил старик, – к обедне, матушка? Пошли тебе Господь милости свои.

– Надень, надень шапку-то.

– Чай, голова не отвалится от мороза.

– Снежно, – заметила бабушка, – трудно уж плестись в твои годы. Садись-ка со мной, вот рядом.

Говоря это, она подвинулась на грядке к одной стороне.

– Полно, Миколовна, пригодно ли мне, вороне, затесаться в барские хоромы; дотащусь кое-как на своих на кривых.

– Нет, нет, садись, а то не поспеешь к началу; без того не тронусь с места.

– Коли на то воля твоя, нечего с тобой делать.

Надел он шапку и сел бочком около барыни, положив одну ногу в сани, а другую свесив на отвод и держась рукой за прясла; тулуп его мел снег по дороге.

– По добру ли по здорову живешь, Миша? – сказал он, когда уселся.

Я обиделся, что он назвал меня Мишей, и молчал.

– Почтенный человек с тобой здоровадается, а ты, поросенок, и руки к шапке не приложишь, – сказала с сердцем бабушка.

– А сколько тебе лет, Калиныч? – спросила она своего спутника.

– Да девятый десяток давно пошел, коли не обмишулился, память становится плохонька.

– А сколько служил у дедушки и батюшки? – продолжала спрашивать бабушка.

– Десятка три, чай, будет, правил вашей Палестиной. Еще

молодого взял меня дедушка. Были и старше, и умнее меня, да знать на взгляд полюбился.

– И не ошибся покойник, честно и усердно служил ты, за то и почет тебе следует. Вот каков этот человек, Миша, а ты не удостоил его и ответом. Кабы не к обедне ехала, так побранила бы тебя не так, да и вожжи велела бы кучеру отобрать от тебя. Почитай стариков, – прибавила она более мягким голосом, – да помни, что крестьяне кормильцы наши.

Куда девалось мое счастье! Вожжи падали из рук, в глазах у меня помутилось, на душе не было светлее. Я стоял в церкви, как убитый.

Во всю жизнь мою не мог я забыть этого урока!

Чтобы не наскучить вам дальнейшими рассказами о моем детстве, не стану подробно описывать вам, как я начал свое учение у одного отставного учителя народного училища, которого бабушка наняла для меня, как он по временам зашибался и между тем понятливо преподавал мне русский язык и арифметику, как он успел привить мне любовь к литературе. Восемью лет я уже с жаром декламировал тираду из Дмитрия Донского:

«Любезные сыны, бояре, воеводы,
Пришедшие чрез Дон отыскивать свободы»,

и читал хорошо наизусть оду «Бог» Державина, басни

Хемницера и другие произведения тогдашних лучших наших стихотворцев. За русским учителем последовал француз-гувернер, сын эмигранта, довольно образованный. Характер его был мягкий, он умел приятно и полезно занимать меня в часы, свободные от учения, и познакомить с благостью и премудростью Творца в Его творениях на земле и на небе. Не только не охладил он во мне любви к поэзии, которой искру бросил в душу мою русский поклонник Муз и Вакха, но еще больше раздул ее знакомством с Расином, Корнелем и другими французскими знаменитостями. Из прозаических произведений он особенно любил Эмиля Руссо и «Contemplations de la nature» аббата де С.-Пьера.¹⁹ И я к ним, как говорят, во вкус вошел.

Четырнадцать лет, по настоянию дяди моего, артиллерийского полковника, отвезли меня в Петербург в артиллерийское училище. Сколькими благословениями провожала меня бабушка, сколько слез пролили мы с ней при расставании, какую дань заплатил я ими моему доброму гувернеру за его попечения о моем образовании и воспитании! Обоиду первые годы училищной жизни. На быт корпусов новейшими писателями и без меня пролито много света, накинуто в то же время и много грязи, может быть, не без пользы. Скажу только, что я долго скучал своим сиротством, дол-

¹⁹ «Contemplations de la nature» аббата де С.-Пьера – Жак-Анри Бернард де Сен-Пьер (*фр.* Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, 1737–1814, французский писатель, путешественник и мыслитель XVIII века, автор трактата «Этюды о природе» (1784))

го представлял себя изгнанником из свободного, светлого, прекрасного мира. Я принялся горячо за учение, но не могу не признаться, что тогдашнее образование в училище стояло не на высокой степени. Поверите ли, выпускали оттуда в офицеры молодых людей, которые не умели правильно, грамотно написать записки на родном языке. По специальным же их математическим наукам, они, служа уже в батареях, должны были переучиваться у учителей гимназий, приглашаемых давать им уроки, когда они стояли в губернских городах. Правда, выходили из училища ученики и с отличными познаниями, но это были редкие исключения, обязанные своим образованием необыкновенным природным способностям и горячей любви к науке. На этой богатой почве и тощие семена возрастали сторицей и помимо возделывателей ее.

Учитель русской словесности из малороссийских бурсаков... ч был олицетворенное невежество. Задавая параграфы из риторики, он требовал, чтобы их выдалбливали на память, и, если на экзамене ученик заменял печатное слово своим, хоть и равнозначащим, строго взыскивал с него. Специальные математические науки, к которым предпочтительно должны мы были готовиться, преподавались также посредственно. Но из среды бездарных наставников выступали две личности, которых имена должны сохраниться в летописях училища. Один был К. Н. Арсеньев, учитель истории, сделавший бы честь науке в любом университете. Он обла-

дал редким даром слова и умел не только говорить уму юношей, но и сердцу их, то воспламеняя их примерами высоких подвигов, то возбуждая их негодование против неправды, слабодушия и низких дел. Он известен и гонениями, воздвигнутыми на него за его статистику во времена Магницкого. Другой служитель правды и добра был законоучитель наш Алексей Иванович. Он был кумиром воспитанников. Кажется, сам Божественный Учитель возложил на голову его руку свою, чтобы он учил нас по Его примеру. Его уроки были христианские беседы с нами, не для заучивания на память, но для восприятия сердцем. Он умел обольщать нас прелестью добра, представляя его во всех видах и страдающим, и торжествующим. Не в стенах училища, не на экзаменах должны мы были дать отчет в нашем учении, а за, порогом его, на пути служебной и общественной жизни, делами нашими. Еще и теперь, через несколько десятков лет, эта прекрасная личность представляется мне во всем обаянии истинно пастырского служения. Да будет благословенна память его! При мне поступил в училище инспектором Александр Федорович Воейков, автор «Дома сумасшедших»; переводчик «Садов» Делиля и бывший профессор русской словесности в дерптском университете. И там, и здесь служил он, так сказать, спустя рукава. Как теперь вижу его узенькие, калмыцкие глазки, его ужимки. Не могу забыть и странной привычки его здороваться, подавая руку, завернутую в полу фрака или сюртука, как это делают кучеры при передаче и

приеме проданной лошади. Для чего он это делал, не понимаю – боялся ли прикосновения чужой, нечистой руки, свою ли почитал нечистою. Высшим начальником училища был тогда его основатель, великий князь Михаил Павлович. Говорят, он был строг, но кто знал его душу, его дела, не всем известные, скажет, наверное, что это был добрейший из людей. Он был строг – и первый запретил телесные наказания в училище; он был строг – и когда директор заведения предложил ему исключить одного ученика за значительную шалость из заведения и сослать его юнкером на Аландские острова, он помиловал виновного и по этому случаю сказал директору незабвенные слова, которые посчастливилось я слышать из другой комнаты: «Поверь, Александр Дмитриевич, каждого из этих ребят легко погубить, но сделать их счастливыми не в нашей власти. Помни притом: мы взяли их от отцов и матерей для того, чтобы образовать и воспитать, в чем должны отдать отчет Богу». Говорили, он был ригорист, а в комплект 120 воспитанников велел принять 121-го из солдатской роты. А сколько помогал он бедным офицерам из своего кошелька, знают только они и Всевидящий! Спустимся ниже к Воейкову и моим отношениям с ним. Александр Федорович, узнав от кого-то, что я могу прочесть на память несколько лучших мест из Делиля, любимого его поэта, велел мне прочесть их, что я и исполнил со славой. С этого времени он обратил на меня особенное внимание и покровительство и стал задавать мне, помимо учителя, сочинения на

разные темы. Оставшись доволен исполнением их, он поощрил меня к дальнейшим литературным трудам и стал поручать мне составлять разные статейки для «Славянина», который он тогда издавал. Как журнал этот, так и статейки мои потонули в Лете. Они послужили мне, однако ж, в пользу, потому что, упражняясь в литературной гимнастике, наблюдая и соображая законы русского языка, я изучил их лучше, чем по всем грамматическим курсам, которые зазубрил. Произведенный в офицеры, я сделан был репетитором и позднее помощником профессора русской словесности, но, не поладив со своим премьером в методе преподавания, перешел на службу сначала в гвардейскую, а потом в армейскую батарею. Здесь прослужил я недолго. Разразилась гроза польской революции 30 года, и я, возгорев чувством патриотизма, пожелал служить в действующей армии. От бабушки, аккуратно писавшей мне каждые две недели, перестал я получать письма. Причину этого молчания разрешило мне донесение старосты, что бабушка отошла в жизнь вечную, послав мне на смертном одре благословение. Можно судить, как утрата моей второй матери сильно огорчила меня. До сих пор храню в сердце горячую память об этой превосходной женщине. По аккуратным отчетам ее, имение мое было в порядке, и я, отъезжая в армию, поручил его тому же старосте, который уже столько лет правил рулем моего хозяйства; только велел ему, в случае важных дел, относиться к дяде, получившему от меня на этот предмет законную доверенность.

IV

Наступил 31-й год. Я полетел в места, где бились мои братья за дело, которое стоило отечеству нашему с первого 12-го года столько крови и золота. Не скрою, что меня окрыляла и мечта славы, вкравшаяся в мою молодую голову. Спал и видел я, что уже полководец, ознаменовал себя великими подвигами, обвешан знаками отличия. И мало ли каких грез не приходило в нее! Переезд нескольких сот верст не мог растрясти их. Я приехал в Вильно в то время, когда генерал, заведывавший там распределением по корпусам офицеров, прибывавших туда с разных мест, затруднялся, кого послать в Поневеж. Там предположено было устроить госпиталь на 2000 кроватей и провиантский магазин на 80 000 человек для резервной армии графа Толстого. Чтобы оградить этот важный пункт от нападения неприятеля, надо было привести его в возможно оборонительное положение. Не было под рукой у генерала способного инженера; благо на глаза попался артиллерист, и на меня возложили это поручение. Я воображал себя и строителем укреплений, и героем-защитником их. Поручение это вскружило мне еще более голову. Мысленно прохожу курс фортификации, укрепляю слабые места, одушевляю солдат патриотическими речами, ожидаю осады, делаю вылазки. Геройски отразить неприятеля, или, в случае, если сила одолеет, взорвать укрепление

и себя вместе с моими храбрыми сподвижниками – вот святой обет, который я дал себе. Горя желанием скорее явить миру свои подвиги, мчался я на почтовых и обывательских к месту моего назначения. У каждого из солдат первого Наполеона в патронной суме лежал маршальский жезл; почему же мне, русскому офицеру, воспитанному в артиллерийском училище, проходившему курсы всех возможных военных наук и способному, как я воображал, произносить воспламеняющие воинственный дух речи (у меня в голове слагались уже подобные речи), почему же мне не мечтать хоть не о маршальском жезле, а о чем-нибудь подобном? Дорогой, даже в облаках, надо мной носившихся, видел я одни картины битвы. Мне предстояло создать твердыню, если нужно будет, защищать ее всеми силами своего ума, науки и мужества или, как я мечтал в разгаре своей храбрости, похоронить себя под ее развалинами. В последнем случае, думал я, мне поставят там памятник с надписью. «Здесь пал молодой герой Ранеев: он решился лучше погибнуть с честью, взорвав на воздух созданные им укрепления, чем отдать их неприятелю». Как видите, надпись довольно длинная: могут ее сократить, по крайней мере, смысл останется тот же, имя мое не умрет в потомстве.

Не успел я еще отъехать сотни верст, как неожиданный случай окатил все мои горячие мечты будто ушатом холодной воды. В местечке, где мне нужно было переменить лошадей, не оказалось ямщиков, а вследствие того и станционно-

го зрителя. Первый засаленный еврей, попавшийся мне на площади, ломаным немецким жаргоном объявил мне, что они утехали прошедшей ночью, но что на мызе за четверть мили от местечка стоит отряд русских гусар. Нечего было делать, я велел везти меня на мызу. Вы знаете, конечно, рассказ польского простодушного крестьянина, как до такого-то места было прежде три мили, «да пан взмиловался, сделал из них только одну». Так и мне пришлось четверть мили проехать спешной ездой с лишком полчаса. Оказалось, что мыза была пуста, но в полуверсте от нее заметил я высокое каменное здание вроде аббатства и около него шевелился солдат.

– Туда, скорей, во все лопатки, – кричал я ямщику, – гони в хвост и в гриву.

Вот мы и у ворот аббатства. На вопрос мой часовому, кто здесь отрядный командир, он сказал мне его фамилию и чин и указал мне, где его найти. Я вошел в большой двор запущенного католического монастыря, огражденный высокой каменной стеной и увидел несколько десятков лошадей, взнузданных и оседланных, готовых в поход. Около них суетились гусары или закусывали на ходу. Это не предвещало мне ничего доброго, сердце упало у меня в груди. По каменной лестнице, довольно изрытой ногами нескольких поколений отшельников, я взобрался на верхний этаж и через длинный коридор в первую келью, откуда слышались голоса. Когда я вошел в нее, три офицера усердно работали ножами, вилками и ртом над жареным гусем и запивали водкой

пропущенные в желудок куски. Видно было, что все это делалось на лету.

– Трошка, – говорил один из них солдату, который при­служивал им, – выпей для куражу шкалик да закуси жареным, не оставлять же добро полякам, да живо!

Заметив меня, все выпучили глаза, как на чудище, выступившее из полу. Обращавшийся к солдату офицер, высокий, осанистый, с воинственным, загорелым лицом и огромными усами, разметавшимися в стороны (это и был начальник от­ряда), спросил меня – не с приказанием ли я от начальства.

Я объявил ему причину моего появления.

– Не в пору же тронулись вы в путь, батюшка, – сказал он, разразясь добродушным смехом. – Вам до места вашего назначения, как до северного полюса. Все места до него заняты неприятелем, того и гляди нагрянет сюда. Я получил сейчас приказание сняться с моего поста и ретироваться. Закусите-ка на скорую руку, чем Бог послал, и марш с нами, если не хотите попасться в плен. Да на чем вы сюда?

– На почтовых, – отвечал я.

– Трошка, – закричал громовым голосом ротмистр, – миг­гом гужи и прочее из тройки его благородия перерезать, вы­брать из нее лучшую лошадь, какой-нибудь войлочек, сме­каешь (тут он хлопнул ладошами), если седла запасного нет.

Потом прибавил, обратись ко мне:

– Нам приходится убежать, сударь, а в таком случае не до комфортабельной оседлости, взлезешь и на черта, лишь бы

дался. Если придется поработать, паф-паф, прошу слушать мою команду. Есть у вас какое оружие, кроме кортика?

– Есть пара заряженных пистолетов.

– Прекрасно, в дело их. Прошу, господа, на коней.

Я только что успел глотком живительной влаги и куском хлеба заморить чувство, которое скребло мне сердце, как вбежал вахмистр со словом «поляки!»

– Где? – спросил озадаченный ротмистр, сделав гримасу.

– Скачут сюда, человек с лишком сто будет.

Мы все бросились во двор, солдаты были уже на конях, я нашел и своего почтового фрунтовика, покрытого войлочком, с веревочного подпругой и стремянами из такого же пенькового вещества. Выхватить пистолеты из телеги, вцепиться в загривок своего буцефала и вскочить на него – было делом одной минуты. Откуда взялось у меня волтижерное искусство! В это самое время бурным потоком хлынули польские уланы в ворота. Блеснули сабли, зашатались и преклонились копья со значками, мне бросились в глаза зверские лица, лошадиные морды, клубы дыма; воздух огласился дикими криками, пальбой; русские гусары и польские уланы смешались вместе. Лошадь, кажется, создана для военного дела, она откликается веселым ржаньем на звук трубы, во время сражений одушевляется каким-то необычным пылом, не знает усталости. И моя измученная лошаденка приободрилась и ринулась со мною в сечу. Я разрядил свои пистолеты не даром, пули, вылетевшие из них, попали метко

в неприятелей, и не мудрено, я стрелял в упор. Дулом ударил я было сгоряча наотмашь одного по зубам, но в это самое время почувствовал, что загорелась у меня икра правой ноги, и я вслед затем свалился с падавшей подо мною лошади, убитой тем же ударом, который меня ранил. Благородное животное, издыхая, жалостно посмотрело на меня. Бой продолжался несколько минут, сила одолела. Нас было с небольшим тридцать человек, неприятеля едва ли не впятеро больше. С десятков наших, в том числе один офицер, проложили себе дорогу сквозь сражающихся и успели ускакать через ворота, так что погоня за ними была напрасна. Начальник наш истекал кровью от раны в руке.

Так кончились мои геройские подвиги, и маршальский жезл вышел из рук! Сколько мечты вознесли меня, столько действительность унизила. Я был в плену; эта мысль невыносима для военного. Рана моя не представляла опасности, пуля только сорвала кусочек мяса с икры; ротмистр был ранен тяжелее, но за жизнь его ручался лекарь-поляк, который (надо отдать справедливость его человеколюбию), управясь со своими, принялся и за наших. Убитым, своим и чужим, вырыли отдельные ямы, чтобы и после смерти отлучить католиков от еретиков, и, как водится, насыпали на них по бугорку земли. Всех нас, живых, врагов и не врагов, поместили в здании монастыря. Провели мы в нем несколько дней, но раненые не успели еще совершенно оправиться, как дошли до начальника польского отряда какие-то тревожные слухи,

и мы тронулись в путь. Меня гнали с моими товарищами, как овцу на заклание, ругали, били; я куска хлеба не видел двое суток и умер бы с голоду, если бы не сжалился еврей. Целую неделю в проливной дождь месил я грязь и глину по щиколотку под грозою сабли, которая прищпоривала меня, когда я изнемогал от усталости. Поверите ли, горстями снимал с себя разную тлю. Скажу еще более: проходя в каком-то жидовском местечке через базар, я украл с крестьянской телеги конец серого грубого сукна аршина в три и окутал себе им шею и грудь. Да, сударь, украл!.. Невмочь уже было мне выносить потоки холодного дождя, который заливал меня. Правда, польский генерал Дембинский, увидев нас в этом положении, очень сердился на отрядного начальника, выдал ему деньги и велел нас одеть и накормить получше. Но приказание это не было исполнено. Вскоре отряд уланов отделился от нас, остались несколько конвойных, да и те, проведав от евреев, что на пути нашем находятся русские войска, бросили нас на произвол судьбы и сами убежали в лес. Не стану описывать вам похождения наши до прибытия в русскую главную квартиру. Здесь потребовали нас к главнокомандующему, фельдмаршалу графу Дибичу-Забалканскому; он стоял в каком-то фольварке. Нас ввели в довольно большую комнату. Вдоль ее ходил скорыми шагами взад и вперед генерал маленького роста, довольно плотный, в сюртуке, видавшем виды, с потусклыми генеральскими эполетами и аксельбантом. Ходя и останавливаясь по временам, он дикто-

вал адъютанту приказ. Русская речь его была не совсем правильна, с немецкими оборотами. (Вероятно, адъютант, записывая ее, поправлял ошибки против языка и переводил по-русски немецкие слова, по временам вырывавшиеся у него, когда он затруднялся подобрать приличное русское слово.) Молнией вылетали его слова, скоры были движения. Мы стояли перед фельдмаршалом Дибичем. Кончив диктовку, он быстро взглянул на нас своими мутными, покрасневшими от бессонницы глазами, покачал головой, конечно, от впечатления, сделанного на него видом нашей оборванной и грязной обмундировки, и обратился к моему товарищу, ротмистру.

– Когда вы получили приказание сняться со своего поста? – спросил он довольно сурово.

– За четверть часа до появления неприятеля, – отвечал ротмистр.

– Что ж вы мешкали?

– Я дал своей команде закусить и приготовиться к походу.

– Закусить! Вы могли бы это сделать в походе. На войне минуты дороги. Виноват, однако ж, тот, кто дал вам поздно ордер. Впрочем, видно, вы храбрый офицер, не убежали от неприятеля, как другие из вашей команды. Я взыскал с них. По перевязи на руке вашей вижу, что вы кровью своей искупили вашу вину.

Действительно, на лице моего товарища не было кровинки, он был не краше мертвеца, да и представлял из себя печальную фигуру. Тут граф обратился ко мне, спросил, как я,

артиллерист, попал в отряд гусар, и, когда я рассказал ему, куда и за каким делом я был послан, пожал плечами, так что густые эполеты запрыгали на плечах; на лице его изобразилось неудовольствие.

– Вам дадут ордер, в какую команду явиться, и деньги на обмундирование. До свидания, господа; на боевом поле, – сказал он, кивнув головой.

Нам не суждено было свидеться с ним на боевом поле, – он вскоре умер от холеры.

Немного времени спустя я видел другого главнокомандующего, графа Паскевича-Эриванского, у моей батареи, во время осады Варшавы. Голубые глаза его так приветливо смотрели, лицо сияло удовольствием, улыбка возвышала дух войска и заранее сулила ему победу.

Таков он был всегда во время разгара битвы.

Не мне, субалтерн-офицеру, заключенному в тесном кругу своих обязанностей, так сказать, прикованному к своим орудиям, описывать ход и перипетии войны, да и предмет моих записок не она, а моя маленькая личность.

Во время кампании я свято исполнил долг свой, – могу это сказать без хвастовства, – и щедро награжден за свои заслуги, которые угодно было начальству заметить. Горячечные мечты мои остыли, я их уже сам стыдился. Когда Царство Польское и Литва успокоились до поры до времени, мне дали батарею. С нею ходил я несколько лет по разным грязным местечкам и городам Литвы и Белоруссии, имел дела с пана-

ми, экономами, крестьянами и евреями и узнал *досконально* их быт и нравы. Влюблялся я в ловких и очаровательных полек, но, влюбляясь, не поддался чарам этих сирен и не полюбил ни одной. В 42 году пришел я квартировать в губернский город В.

Что за грустная сторона Белоруссия! То хвойные, мрачные, завывающие леса, местами непроходимые от гниющего валежника, населенные стаями волков, то плешивые пригорки с редкими порослями, которые и через двадцать лет будут такими же уродцами, какими видели мы их ныне. Тощая земля, тощие обитатели! Кажется, и солнце светит здесь, как и в других краях России, попадаютс я и живописные местности, но все это покрыто печальной пеленой – так душевное настроение облекает все предметы свои красками. Печально и положение здешних крестьян, забитых, загнанных. Между тем бросьте в сердце этого доброго, простодушного народа благодетельную искру, заставьте его на часок забыть панский и жидовский плен, и вы увидите, как этот мертвый народ оживляется будто гальваническим током. Тогда появятся в деревенском кружке музыканты с волынкой и скрипкой, девчата пускаются в пляс, довольно легкий и грациозный, распевают тонкими голосами веселые песни. Но все это вспугнет вдруг бричка, хоть бы пана эконома, или появление неумолимого, вечного кредитора – еврея. Везде копошатся рои этого израильского рода, размножающегося как рои комаров от луча солнечного, или бегут в одиночку на рысях,

раскинув по ветру свои пейзажи. Польские евреи носят с собой свой собственный запах, как слуга Чичикова. Войдите в их жилище, и минуты через две нестерпимое зловоние выгонит вас на вольный воздух, хотя бы это было в жестокие морозы. Дворы их – вместилище всяких нечистот, настоящие клоаки. Воображаю, сколько жертв уносит эта нечистота во время эпидемий. И никто не подумает об этом. На лето команда моя размещалась в уезде, я по временам посещал ее. Верст за десять от города жил панцирный боярин Яскулка (по-русски Ласточка), у которого стоял офицер моей батареи. Я увидел там 19-летнюю дочь его Агнесу и скоро полюбил ее. Не стану описывать вам ее красоту, портрет ее вам знаком. Скажу только, что эта красота была отражением ее души. Она получила воспитание в панском семействе, родственном ей по матери. Яскулка был вдов. Жена его происходила из дворянского рода Стабровских, и потому он имел шляхетское родство, да и сам ветвью своего рода, хотя и слабой, держался к шляхетскому дереву. На прикрепление к нему он имел притязания. Права были затеряны, но это не останавливало его хлопотать о восстановлении их. Гордый, не зная почему, своим панцирным боярством и разве тем, что предок его держал стремя у одного из польских королей и удостоился приветливых слов наияснейшего, он стремился дорваться, во что бы то ни стало, в архивных мусорах до утраченной дворянской короны. Хорошо устроенный фольварк, большое количество угодьев, большое стадо, до-

ходная мельница, множество рабочих, которых он держал в дисциплине, доказывали его достаточное состояние. Он жил на шляхетскую ногу, хотя и не широко, но по-своему комфортабельно. Мне и в голову не приходило получить с рукой Агнесы его богатство, для меня она одна, своим лицом, была сокровище дороже всех сокровищ в мире. Притягиваемый неодолимой силой, я стал часто ездить к Яскулке и каждый раз свидания с его дочерью находил в ней новые, прекрасные достоинства. Мы полюбили друг друга той чистой, высокой любовью, которая должна была освятиться браком или сделать нас несчастными. Я просил у Агнесы руки ее и вместе позволения обратиться за тем же к отцу ее. Не в силах долее скрывать свои чувства, она со слезами на глазах бросилась мне на шею и запечатлела поцелуем обет принадлежать мне или никому. Отец давно замечал наши сердечные отношения друг к другу и, казалось, одобрял. Я обратился к нему с просьбой осчастливить меня рукой Агнесы. Родство с русским полковником, может стать, будущим генералом, должно было льстить сердцу честолюбивого панцирного боярина.

– Ваше предложение, – сказал он, пожимая мне руку, – делает мне высокую честь, почту себя счастливым иметь такого достойного зятя, как вы. Давно привык я уважать вас и любить. Но знаете ли, что я еще не утвержден в правах своих на шляхетство, что я еще мужик и потому дочь моя мужичка.

– Для меня это все равно, – отвечал я, – вы дорожите эти-

ми правами и, конечно, справедливо. Сколько я слышал от вас об этом предмете, можно ручаться за успех вашего домогательства. По своим связям (дернуло меня сказать) и я помогу вам в этом деле, даю вам свое честное слово. Но теперь отдайте мне вашу дочь, как она есть, дочь панцирного боярина. Никакой родовой, ни денежной придачи к ней мне не нужно. Мы любим друг друга, благословите нашу любовь.

– Помните ваше слово, – сказал он, горячо обнимая меня, – и берите мою дочь.

Он был не нежного характера, но тут прослезился.

– Агнеса, – крикнул он, отворив дверь в соседнюю комнату, – поди сюда.

– Любишь ли ты пана полковника? – спросил он ее, когда она вошла к нам.

– Всеми силами своей души, – промолвила она.

– Ну так поцелуй своего жениха.

Я принял ее в свои объятия, прижимал к сердцу, целовал без счета.

Вскоре мы были обручены и помолвлены.

В городе наделала много шума весть о будущем нашем браке, много толковали о нем; иные пожимали плечами, говоря, что это ужасная *mesalliance*. Я пренебрег этими толками и пересудами и гордился моей невестой, предпочитая ее всем сиятельным. Красота ее, прекрасный нрав, образование, любовь ко мне – были для меня выше всех родовых отличий.

Отец ее был католик; дочь захотела принять православие.

– Мой будущий муж православный, дети мои станут исповедовать его веру, они пойдут молиться в одну церковь, а я должна пойти в католическую, если она еще случится в месте, где нам придется жить. Вот уже рознь в семействе... не хочу ее.

Русский священник, приготовив ее к переходу в новое исповедание, совершил над нею тайну миропомазания. Католики подняли гвалт и готовы были, если бы могли, закидать ее камнями, но ограничились в кругу своих единовверных одними насмешками и проклятиями... Никто из католической родни ее матери не приехал на нашу свадьбу, зато в русском соборе, где мы венчались, было избранное русское общество.

Как хороша была моя Агнеса под венцом!

Я был счастлив, от нее веяло каким-то неземным блаженством. Отец ее был весел, гордясь, что имеет зятем своим полковника, украшенного знаками отличия; я старался всячески изъявлять ему мое уважение, особенно при значительных лицах города; офицеры моей батареи, любя меня, оказывали ему свое внимание. Мне случилось при нем говорить по делу об отыскании им потерянного шляхетства с губернатором и губернским предводителем дворянства. Они обещали содействовать, сколько от них зависело, успешному ходу этого дела, когда все доказательства будут собраны и представлены. Мой тесть собирал их, рылся со своим адвокатом

в архивах и, несмотря на свою скудость, не жалел денег.

Медовый месяц наш не прошел, однако ж, без неприятностей. Однажды, когда меня не было дома, горничная моей жены пала к ногам Агнесы, ломала себе руки и призналась ей, что хотела ее отравить по наущению ксендза, бывшего духовника ее матери, за то, что она перешла в русскую веру. Горничная не исполнила этого, измученная угрызениями совести и страхом последствий. Жена моя любила ее, знала такую преданной и была поражена этим признанием, но мне рассказала все полушутя, как глупую историю, которую стыдно бы пускать в ход. Я решился исполнить ее совет и предоставил все суду Божьему. Мы щедро наградили горничную с тем, чтобы она молчала, если не хочет себя погубить, и отпустили ее.

Через несколько месяцев Агнеса почувствовала, что носит под сердцем залог нашей любви.

Раз в мучительном ожидании разрешения ее, сидел я за перегородкой ее спальни. Вдруг слышу крик ребенка. Это был крик свободы пришельца в здешний мир из девятилетнего тюремного заключения, привет братьям человека, вступающего в их общество. С чем можно сравнить чувство отца, услышавшего этот крик! Я пал на колени и со слезами на глазах благодарил Творца за ниспосланного мне первенца. Лиза родилась в эту минуту. Надо было видеть тихую радость моей жены, когда поднесли к ней хорошенькое дитя, и она рукой указала мне на него. Через два года после то-

го родился у меня сын Володя. Дети наши росли пригожие. Немудрено, их кормила сама мать. Часто и теперь представляется она мне в ореоле свой наружной и душевной красоты, с ребенком у полуобнаженной груди. Оттого-то, когда я встретился с вами в первый раз у окон Дациаро, я с таким жаром говорил вам о картинке, на которой изображена была мать, кормившая дитя своей грудью. Оттого-то, когда я не нашел в магазине этой картинки, вырвались у меня слова: «Ее уж нет!» Ее уж нет, и с того времени не прошло дня в жизни моей, чтобы я не оплакивал эту божественную женщину. Возвращаюсь к тому времени, когда она *была*.

Не желая, как военный человек, которого жизнь похожа на кочевую, таскаться с женою и детьми с места на место, я решил искать другой, более оседлой службы. С этой целью поехал я в Петербург. Здесь предложили мне довольно значительное место в Приречье. Протекция была у меня сильная, и я, уволенный с военной службы для определения к статским делам, назначен на предложенное мне место. Я шел столько лет по одному пути, и вдруг расчеты моего разума и сердца толкнули меня на другой, совершенно новый для меня. Владея пером, ознакомясь с формами делопроизводства при пособии моего приятеля, посвященного в эту премудрость, и со всеми постановлениями, касающимися до моей должности, я был убежден, что в состоянии добросовестно сладить с предстоящими мне обязанностями. Природная логика должна была довершить то, чего недоставало моей

неопытности; этой логики не заменят никакие знания и долговременная служба, чему я видел много примеров.

Возвратясь в В. за женою и детьми и для сдачи батареи назначенному на мое место лицу, я с удовольствием узнал от моего тестя, что дело его в ходу и все данные обещали ему успех. Одно, что мне не нравилось по этому делу, был выбор адвоката-поляка, хотя и умного дельца, но, как мне сказали, слишком смелого, готового иногда, очертя голову, и на нечистые извороты. Яскулка, которому я передал мои опасения насчет этого господина, совершенно вверился ему и не хотел передавать дело, начатое с такими большими трудами и, по словам его, так успешно веденное, другому адвокату. Я просил еще в-ские влиятельные лица помочь моему тестю в окончании этого дела, и мы расстались совершенными друзьями.

В Приречье, при первом представлении моему начальнику (буду называть его Анонимом), я заметил, что он не совсем доволен определением меня в товарищи к нему. Немудрено, он хлопотал о другом на место, которое я занял, но его хлопоты не увенчались успехом. Взгляд его был суровый, речь сухая, манеры жесткие. Он мне с первого раза не понравился, но на службе нельзя поддаваться сердечному влечению или отвращению, а остается только думать об исполнении своего долга, несмотря, приятна или неприятна личность, с которой должен служить. Впрочем, мы скоро с ним поладили. Я увидел в нем, хоть и строгого формалиста, но

деятельного и, сколько я мог судить по его речам и открытым действиям, честного человека. Одно обстоятельство доставило мне в первом году моего служения в Приречье случай оказать ему услугу. Он был в затруднительных денежных обстоятельствах и в интимной беседе со мною откровенно признался в них, прибавив, что не знает, где найти денег, что лица, предлагавшие их, имеют дела в его ведомстве, следовательно неблагоприятно занимать у них. Я только что продал свое 80-душное имение, которое после смерти моего умного и честного старосты и вслед затем моего дяди оставалось без надлежащего призрения и стало давать мне скудные доходы. Мне же управлять им за несколько сот верст было несподручно. Свободные деньги от этой продажи лежали у меня в шкатулке. По простодушной природе моей, увлеченный желанием оказать помощь верному человеку в нужде, я наемкнул Анониму, что у меня есть такая-то сумма. На этот раз он обошел неблагоприятность займа у человека, служившего под его начальством. Он просил у меня эту сумму на год под заемное письмо, предлагая и проценты, какие назначу. Разумеется, я *взял узаконенные* и получил следующее мне обязательство. Он не знал, как благодарить меня за выручку его из критического положения, и в излишней своих чувств обнимал, целовал меня так, что поколол мне щеки колючками своей небритой по случаю нездоровья, бороды. Это одолжение, известное только нам двум и маклеру, не изменило моих служебных отношений к начальнику, что старался я дока-

зять, продолжая деятельно заниматься моими должностными обязанностями.

Жена моя была принята в Приречье с тем вниманием, какое она заслуживала по своему уму, душевным качествам и ровным обращением со всеми, с кем вынуждена была знакомиться. Пошептались между собою о ее плебействе провинциальные аристократки, до которых дошло сведение, что она дочь какого-то шляхтича, непризнанного еще в дворянском достоинстве, но, побежденные ее привлекательной любезностью, признались, что она достойна занимать одно из первых мест в их обществе.

Годовой срок заемному письму, данному мне Анонимом в занятых у меня деньгах, миновал. Я покупал именьице верстах в десяти от Приречья. Съездив его обозреть, я нашел его не только выгодным по угодьям, но и чрезвычайно живописным, а это для эстетического наслаждения моего и жены моей было необходимо. Небольшая речка, гремящая по камням, которыми дно ее было усыпано, в прихотливых извилинах своих весело пробиралась между холмами, увенчанными разнородными рошицами. На одном берегу, вдавшемся мысом в континент, росли купы молодых, но уже тенистых лип и тополей; перерезав его, можно было образовать островок. С небольшой горы открывались прекрасные виды сквозь просеку дальнего леса на церковь села Холмец, напоминавшую мне Судбищенскую, на мельницу и курганы, где, по преданию, были похоронены рыцари исчезнувшего с лица

земли народа. Эта гора, как нарочно, предлагала место для постройки господского дома. Скоро сладил я с продавщицей к удовольствию обеих сторон. Издержав довольно денег на путешествие из В. в Петербург, обратно и в Приречье, так же как и на приличную здесь по месту моему обстановку, я не имел других денег на покупку и устройство этого имения кроме тех, которые должен мне был Аноним, и потому я обратился к нему с просьбой возвратить их. Он поморщился и сказал мне с неудовольствием, что уверен был в отсрочке займа еще года на два, на три, что приготовил уже и проценты на следующий год, что требование мое ставит его в отчаянное положение.

– Вы совершенно снимаете с меня голову, – прибавил он.

За несколько дней до этой перемолвки один добрый приятель мой, узнав, что я покупаю имение, предлагал мне ровно ту сумму, какая была дана мной Анониму, и потому я обещал должнику моему выхлопотать ее для него под заемное письмо за те же законенные проценты, которые я брал с него. Аноним помялся было, но делать было нечего – согласился на мое посредничество. Дело благополучно уладилось и тем успешнее, что моему приятелю нужно было устроить своего сына в штат канцелярии его превосходительства. Я получил свои деньги, и мы с Анонимом остались, может быть, наружно, в тех добрых отношениях, какие существовали прежде между нами.

Купив имение, я стал устраивать его по плану, заранее на-

чертанному в моем живом воображении, возвел двухэтажный деревянный домик с балконами и террасами, весело глядевший на все четыре стороны и при освещении казавшийся волшебным фонарем. Затем вырыл я проточный пруд с помощью бесчисленных ключей, питавших его. От него с речкой по другую сторону образовался островок. Сажал я деревья, выводил цветники. Всем этим приятным заботам посвящались мною праздничные дни и летние vacationные месяцы; они радовали меня и еще более жену мою. Посетив со мною наше именице, она была в восторге от него, да и соседи мои говорили, что я пустынное местечко, каким оно прежде было, магическим жезлом превратил в очаровательную виллу.

В Приречье родился у меня сын Аполлон. Агнеса еще кормила его; ему было только десять месяцев, а мать наложила на себя обет не отнимать детей от груди прежде года – видела ли она в этом продолжительном кормлении залог их здоровья или ей жаль было оторвать от себя дитя, которое питала своей жизнью, с которым она составляла как бы одно существо. Расстаться со сладкими заботами кормилицы-матери, знать, что эта разлука принесет ему много горя и неминуемое расстройство здоровья, было для нее мучительно. Вы найдете это чувство даже в матерях-крестьянках, обремененных тяжкими работами. По выздоровлении ее мы с ней и детьми временами, в свободное от службы время, продолжали ездить в свой обетованный сельский уголок, улучшать

и украшать, его.

К домашним моим радостям присоединилось отрадное чувство, что и моя служебная жизнь не нарушалась никакими важными неприятностями. Правда, с некоторого времени случались у меня с Анонимом столкновения, доходившие до высшего начальства, из которых я выходил, однако ж, с торжеством; правда, были колючки с его стороны, не улегшиеся в его ежовой душенке за неудавшийся заем, но они скользили только по моему сердцу, не оставляя в нем глубоких следов. Сочтемся бывало, и остаемся в прежних мирных отношениях.

Господи! Ты читаешь всевидящим оком в душе моей, Тебе известно, что ни одного черного дела не сделал я в продолжение моей жизни, что я не изменял никогда долгу и чести ни в отношении к своим ближним, ни в отношении к своему отечеству и государю. Это скажу и тогда, когда предстану пред высочайший суд Твой.

Не воображал я тогда, что невидимая злодейская рука подкопалась уже под мое благополучие.

V

В те годы, о которых говорю, в России была какая-то эпидемия на расхищение общественных и казенных сумм. Кто не слышал о растрате инвалидных управляющим кассой их? Он задавал обеды и пиры на весь город, ставил по десяти тысяч на карту. Знатные, высокопоставленные господа, члены, обязанные поверять кассу, должны были сильно поплатиться. Но в этом несчастье для них нашелся один богач, пожертвовавший огромную сумму на пополнение растроченных денег, и члены были освобождены от взыскания. Не всегда случаются такие благодетельные и щедрые люди, особенно когда подвергается подобному несчастью такая мелочь, как наша братья.

В один из этих годов открылась утайка или, лучше сказать, похищение тысячной суммы в губернском общественном банке города Приречья. Деньги, полученные из одного судебного места, не были записаны на приход более полутора лет и переползли в карман управляющего банком. Виновный был коллежский советник Киноваров, служивший прежде чиновником особых поручений при предместнике Анонима и считавшийся доселе честным и деятельным чиновником; Аноним особенно благоволил к нему. Но честность его была только маска, которую он на себя надевал, пока не имел еще возможности распорядиться важными сум-

мами. Страсть его к карточной игре обнаружила, на какие черные дела он был способен, и погубила его. Играл он с кем попало, с жителями Приречья, с приезжими иностранными артистами и волтижерами, с честными людьми и шулерами. Проигрывая большие куши, он, как водится, хотел отыгрываться и, наконец, зарвался до того, что стал полною рукою черпать из общественного сундука. Все это, однако ж, было известно его интимным друзьям и скрыто от начальства. Аноним, поймав и улучив его в похищении тысячной суммы, в первый взрыв негодования велел подать ему в отставку, но, неизвестно по какой снисходительной причине, похититель остался на своем месте и представлен за разные заслуги к знаку отличия. Аноним не замечал, что он в продолжение уже нескольких лет похищал из кассы губернского общественного банка важные суммы.

Мое сердце не лежало к Киноварову по какому-то инстинктивному чувству, да и физиономия его с серыми кошачьими стеклянными глазами, в которых нельзя было читать ни одного движения души, отталкивала от него. Впрочем, не смея судить о человеке иначе, как по делам его, я не показывал ему своего нерасположения, но не принимал его в свое семейство, а только имел с ним сношения по службе. Жена моя при первой встрече с ним в обществе призналась мне, что он возбуждает в ней какое-то отвращение, словно кошки, которых она не терпела и в доме не держала. Преступник не мог воровать без сообщников. Вся канцелярия губернского

банка была подобрана им в одну шайку из людей, готовых на всякие черные дела. Тут были, как оказалось впоследствии, составители фальшивых кассовых билетов, гениальный каллиграф, подписывающий под чужие руки так искусно, что тот, под руку которого он подписывался, должен был признать ее за свою. Были тут и другие художники подобного рода из канцелярских чиновников, закупленных Киноваровым, в том числе и секретарь, главный товарищ атамана шайки. А кабы видели, какие это были святоши по наружности, как они усердно ставили свечи перед образами, и клали земные поклоны! Сам Киноваров, стоя в церкви у клироса, присоединял всегда свой голос к голосам причта, возносившим молитвы к престолу Бога. Лицедейство было доведено ими до совершенства. Раз искусившись в злодеянии, они должны были молчать о проделках своего ближайшего начальника из своего интереса и из боязни поплестись в Сибирь. Слепая же доверенность и необыкновенная благосклонность к нему Анонима поощряли их к постоянному дальнейшему участию в подвигах главного преступника, тем более, что члены, присутствовавшие в губернском общественном банке и ближайшие блюстители банковых сумм, ничего из этих подвигов не видели. Члены эти были: один от дворянства, хворый умом и телом, упивавшийся, в чаянии движения воды, покуда хлебным опиумом, подписывавший журналы у себя на дому, другой – от купечества, едва умевший выводить каракульками свое звание и фамилию, и третий от крестьян,

мещанин, лакейски исполнявший то, что прикажет ему секретарь, не только что Киноваров. Он подавал в отсутствие сторожа теплую одежду и калоши приходившим в банк чиновным посетителям. Мало-помалу стали открываться, одна за другой, разные утайки значительных сумм, продолжавшиеся, как я сказал, несколько лет. Их нельзя уже было скрыть. Аноним, обязанный ревизовать ежемесячно суммы банка, был в ужасной тревоге, но старался всячески спастись от крушения, которому он сам, испытанный кормчий, подвергнул общественный корабль, и потому напряг все силы своего ума и душонки, чтобы выпутаться из беды. На первый раз он двусмысленно донес высшему начальству об утрате некоторых сумм, оговорив, что нельзя определить, похищены ли они или поздно записаны на приход, и потому, писал он, невозможно еще судить о степени виновности Киноварова. Впрочем, приказал сделать сначала секретное, и затем формальное следствие. Между тем он не дремал. Родные и друзья Киноварова окольными путями начали вносить деньги на покрытие недостающих в банке. Родному брату своему он незадолго помог на украденные деньги жениться на богатой невесте, обставил его щегольским экипажем, богато меблированной квартирой, приличной прислугой и прочее и прочее, чем можно было блеснуть как жениху с большим состоянием. Этот брат прислал ему довольно значительную сумму, которую преступник, будучи уже под стражей, получил через вторые руки с почты. Движимое имущество его

довольно ценное, секретно продано было разным лицам, и вырученные деньги внесены в банк взамен похищенных с запискою их на приход, где следовало, хотя через дальние сроки после похищения. Я был спокоен, потому что похищения эти до меня не касались, так как все они сделаны были во время управления Анонима, – спокоен до того, что, получив отпуск в деревню, уехал туда, чем он был очень доволен. Мое отсутствие удалило от него товарища, который мог, оставаясь в Приречье, быть невольным свидетелем его не совсем чистых изворотов. Оказалось, однако ж, что всех, разными путями вырученных денег на покрытие похищенных было недостаточно; отсекали одну голову у гидры, вырастала другая. Аноним вынужден уже был утвердительно донести об этом обстоятельстве. Вследствие этого донесения приехали следователи из Петербурга. Не подозревая ничего неблагоприятного для себя и не имея ничего, чем упрекнуть себя по служебным делам, я наслаждался в моем сельском убежище прекрасными летними днями, счастливый любовью моей Агнесы и рассветом жизни моих детей.

Срок моего отпуска кончился, я возвратился в Приречье и явился к Анониму. Лицо его было печально и сурово, глаза из-под надвинутых на них бровей метали от себя какой-то зловеший огонь. Недалеко от него стоял почтмейстер с озабоченным видом.

– А вы в объятиях природы прогуляли важную сумму (такую-то) общественного банка, – сказал он мне.

Я думал, что он корчит угрюмую рожу, желая помистифицировать меня, как случилось ему делать, засмеялся и отвечал, что он, конечно, шутит.

– Шутка плохая! Не угодно ли вам удостовериться в этом. Потрудитесь съездить с господином почтмейстером в почтовую контору и потом в банк – вы удостоверитесь в истине моих слов.

С тревожным чувством поехал я на почту. Там по страховой денежной книге видно было, что за два года назад, во время моего управления, по случаю отсутствия Анонима, Киноваров действительно получил с почты важную сумму и в получении ее расписался. Еду в банк – по денежной книге эта сумма не записана на приход.

– Что, справились? – спросил меня иронически Аноним, когда я возвратился к нему с почтмейстером.

Пораженный своим несчастьем, будто громовым ударом, я ничего не отвечал и закрыл рукою глаза, из которых хлынули слезы.

Я был уверен в своей невиновности, но знал, что казенные деньги, тут же и общественные, не горят и не тонут (надо прибавить), а только тают в горячих руках, и взыскание их должно пасть на меня с членами банка. Из преступника было выжато все, что можно было выжать на покрытие сумм, похищенных во время управления Анонимом. Жена, дети после моей смерти остаются без куска хлеба, вся моя будущность отравлена, разбита в прах. Поставьте себя на мое ме-

сто, и вы не удивитесь, что я в первые минуты моего несчастья заплакал, как дитя. Твердый под перекрестным огнем неприятеля, я пал тут, как самое слабое существо.

Вот как совершенно преступление Киноваровым и открыто оно умными, деятельными и верными своему долгу петербургскими следователями. Пробираясь по нитям его, они потребовали от всех мест и лиц отзыва, какие деньги прислались ими или вносились в губернский банк. В почтовой конторе найдено, что там получена была значительная сумма из высшего петербургского банка, адресованная в губернский, что она принята Киноваровым с почты и не записана им в денежной книге на приход, следовательно им похищена. За два года до раскрытия этого похищения Аноним, собираясь ехать в Петербург по делам службы, свидетельствовал суммы и документы губернского банка. Киноваров, уверенный в успехе своего преступного замысла, заранее приготовил отношение в высший петербургский банк, подписанное им и скрепленное секретарем, будто по определению губернского общественного банка (тогда, когда этого определения не существовало) посылается столько-то билетов, на которые и просит прислать за несколько прошедших годов проценты. До свидетельства же или во время свидетельства Анонимом билеты выкрадены из казенного сундука так искусно, что он этой передержки не заметил, вложены в отношение и тут же посланы в почтовую контору. Следовательно, билеты похищены при Анониме и приступ к похищению

процентов сделан при нем. После того он оставался еще с неделю в Приречье. Если бы он в этот промежуток времени пригласил меня в губернский банк и стал бы сдавать мне суммы и документы, как по законам следовало, тогда же открылась бы преступная отсылка билетов в Петербург, и похищение требуемых процентов было бы предупреждено. Он этого не сделал, а дал мне только предложение вступить в его должность. Месяца через два, три в отсутствие его получают проценты на значительную сумму и с ними возвращаются билеты. По журналу губернского банка, подписанного под мою руку и членами его, дается доверенность Киноварову получить с почты деньги и билеты. Он медлит близ месяца принять их из боязни, чтобы как-нибудь члены не вышли из своей дремоты и не вспомнили о данной ему доверенности, и выжидает для лучшего успеха своего подвига удобного случая. Случай этот представляется. Члены спят по-прежнему и подписывают журналы, не читая их; я занят приготовлениями к приему одной высокой особы и вследствие того размещением многочисленного войска в городе. Накануне приезда ее Киноваров, пользуясь этим обстоятельством, получает из почтовой конторы деньги и билеты, деньги кладет себе в карман, а билеты, с помощью своих сообщников, в денежный сундук. При первом ежемесячном свидетельстве деньги по приходно-расходной книге и журналам оказываются налицо (помните, что те, которые получены с почты из высшего банка, не записаны на приход), билеты искусно предъявлены

мне, членам и прокурору. Никто из нас, не подозревая преступления, не посмотрел на оборотном листе надписи, что проценты по ним выданы. Вот моя единственная вина, если судить меня как провидца. После того двадцать раз в течение двух лет Аноним с членами делает ежемесячные свидетельства и не видит этих надписей. Комиссия, секретная и формальная, наряженные при открытии первых похищений Киноварова, тоже не видят их. По открытии петербургскими следователями преступления, Киноваров посажен в острог, главный сообщник его, секретарь, по особенным видам и расчетам Анонима, остается в прежней своей должности несколько лет. Только впоследствии, когда губернский суд рассмотрел дело, не избег он заключения в тюрьму, но, посидев в ней несколько времени, выпущен, однако ж, из нее на поруки по причине, что не спрошены еще все лица, причастные к делу, которое более и более разрасталось. Меня несколько лет ни в продолжение следствий, ни в продолжение суда не спросили ни единым словом, что мне известно по этому делу, между тем губернский суд приговорил меня, наравне с членами банка, к уплате похищенных денег, отстранив по ним от всякой ответственности своего главного начальника и главного виновника всех беспорядков в банке—Анонима. Мудрено ли! он мог во всякое время найти беспорядки *в подведомственном ему судебном месте* или пригреть членов его лучом благоволения. Оговорки суда в пользу его были условные, гадательные, как: «*могло бы, если бы, мож-*

но полагать, могло стать» и тому подобные.

Я сказал, что меня несколько лет не спросили ни единым словом, что я могу объяснить по этому делу. Знаю одного собрата моего по такой же должности, какую я занимал, попавшего совершенно так же, как и я, в приготовленную западню, которого через 20 лет по открытии преступления, не им совершенного, но так же, как и я, присужденного губернским судом к уплате важной суммы, спросили, что может он сказать в оправдание свое. Представьте себе, какую нечеловеческую память должен был иметь мой собрат, чтобы вспомнить и сообразить обстоятельства дела, случившегося за 20 лет. Таковы были в то время наши суды под гнетом административного влияния и под покровом глубокой тайны.

После нескольких недель заключения Киноварова в остроге, Анониму донесли, что он умер там и, как следует, похоронен. Через дней десять после того полицмейстер, из немцев, небойкого ума и характера, по секрету рассказывает мне, что хоронил Киноварова, но что человек, которого он хоронил, был совершенно непохож на него.

– Донесли ли об этом Анониму вовремя? – спросил я полицмейстера.

– Говорил, – отвечал мне простодушный немец.

– Что ж он сделал?

– Закричал на меня так, что я прикусил язык.

Мне-то что оставалось делать в этом случае? Подавать бумагу, возбудить следствие, вырывать мертвое тело! Вождь

полиции, боясь гнева своего главного начальника, отказался бы от своих слов, время было упущено, все осталось бы шито и крыто и меня запутали бы в новые, нескончаемые затруднения. Перед этим случаем был один почти подобный, хотя не так важный, в тюремном замке. Крестьянин госпожи Ивой был посажен в нем от своей помещицы за побег и разные воровства, по которым и судился. По прошествии некоторого времени, госпожа И-ва получает через местную земскую полицию повестку, что ее крестьянин умер в остроге, а месяца через два-три этот самый крестьянин в образе и плоти живого человека является к ней и бросается ей в ноги, умоляя о прощении. Можно вообразить изумление помещицы, когда она увидела перед собою живого мертвеца. Что было делать с ним? По совету своего зятя, она отдала его в солдаты... Тем и дело кончилось.

Ходили в Приречье под сурдиной слухи, что Киноваров тайно выпущен из тюрьмы. Кто содействовал его побегу, покрыто мраком неизвестности. Говорили, будто он перебрался под фальшивым паспортом в П. губернию. Вы помните, что я встретился на Кузнецком мосту с этим мертвецом в костюме мещанина или купца, помните, как я в первую минуту отчаянного порыва вцепился было в него, и он от меня вырвался. Вы сами встретили его в гостинице под именем купца Жучка из Динабурга. Немудрено, что он выхлопотал себе под этим именем вид, приписавшись в купцы, платит гильдейские повинности и поживает себе спокойно. В той

местности, где он имеет оседлость, беглые находят себе безмятежный приют под известным покровительством; если же какой-нибудь случай потревожит их, то переезжают реку и ускользают от преследований в любой из трех смежных губерний.

Жена моя кормила еще нашего меньшого сына Аполлона. Я скрывал от нее свое несчастье, чтобы не повредить здоровью ее и ребенка. Меня еще поддерживала надежда, что я, по своей невинности, которую, конечно, признает суд, не пострадаю. Но меня удивляли какие-то уловки Агнесы скрыть от меня признаки горя. Нередко заставлял я ее в грустном раздумье; увидав же меня, она тотчас принимала веселый вид, шутила, смеялась. Еще более изумило меня, что она, не выждав годового срока кормления ребенка, как себе предположила, отняла его вдруг от груди. Я не выдержал и спросил ее о причине такой перемены.

– Друг мой, – сказала она мне, наконец, покачав головой, – зачем скрывать от меня то, что всему городу известно? Разве ты и я не составляем одно существо, разве я не сумею снести несчастье, которое угодно было Богу послать на нас? Понесем его вместе и облегчим друг другу бремя его. Да будет воля пославшего вам это испытание! Я уверена, что ты чист в этом деле, как Тот, кто нес крест на распинание себя. Вот дело бы другое, если бы я потеряла твою любовь. О, тогда я не могла бы перенести своего несчастья. Но я знаю, что ты меня любишь, и эту любовь не променяю ни на какие сокро-

вища. Умрем, – Отец небесный не оставит детей наших.

Я прижал Агнесу к груди моей и рассказал ей все, что вам здесь рассказал. С этого времени она удвоила свои горячие ласки, беспрестанно почерпая их в богатом роднике любящей души своей, казалась спокойна, весела.

Вот как она узнала о похищении из банка суммы, падавшей на мою ответственность. К ней хаживала вдова канцелярского служителя, оставшаяся после смерти мужа с многочисленным семейством без всяких средств к существованию. Агнеса помогала временами этой женщине. Приходит она к ней и рассказывает, что ее сына, лет двадцати пяти, служащего в общественном банке, единственного ее кормильца, посадили в острог по подозрению, что он был участником в расхищении сумм.

– Вступитесь, матушка, ваше превосходительство в наше бедственное положение, – говорила она жене моей, горько плача, – замолвите словечко вашему супругу, попросите его защитить невинного от напрасной клеветы. Сын мой не более виноват в этом деле, чем его превосходительство Михайла Аполлоныч. – И рассказала вдова, что слышала от сына по делу о расхищении сумм в банке.

Действительно, ее сын, единственный честный чиновник в банке, оказался непричастным к совершенному преступлению и по определению высшего суда освобожден из заключения, в котором его протомили несколько месяцев, между тем как главный сообщник Киноварова оставался на свободе

и на службе секретарем в том месте, которое они ограбили.

Недаром говорят, что одно горе ведет за собой целую вереницу их. Появится на небе тучка, и набегают на нее новые, облегают все небесное пространство мрачным покровом, и раздражается ужасная гроза.

В ласках жены моей, в лепете и играх старших детей, в улыбке меньшого я забылся и стал не так тревожно помышлять о последствиях киноваровского дела.

Получаю из В. от своего приятеля письмо, которым он уведомляет меня, что дело моего тестя Яскулки приняло несчастный оборот. Адвокат его, увлеченный нетерпением поскорее кончить это дело, за которое обещана ему была значительная награда, не отыскав в архивах некоторых документов, необходимых для подкрепления прав своего доверителя на шляхетство, вместо того, чтобы идти по законному пути, вздумал очертя голову прибегнуть к нечистым средствам. В это время образовалась шайка составителей грамот на дворянство и других подобных документов. Тут были искусные резчики из евреев, печатники, каллиграфы, мастерски подделывавшие печати и подписывавшие под руку давно истлевших польских королей. Многие по таким фальшивым актам получили шляхетство. Успех их подстрекнул адвоката Яскулки обратиться к вожакам этой шайки. На беду негодяев, приехал в В. новый губернатор, князь Д., человек энергичный, горячо преданный своему долгу, которого не могли подкупить не только деньги, но и чары польской женщины.

Его память чтут доселе все честные жители В-ой губернии, которую он управлял, к сожалению, недолго.

Он накрыл делателей грамот на дворянство и разгромил шайку их. Адвокат моего тестя вместе с другими преступниками был предан суду, всех их постигла законная кара. Сам Яскулка был оговорен в этом деле. В одно время с моим приятелем он писал к дочери своей письмо, исполненное горьких упреков, что я, дав ему слово благородного человека хлопотать по его делу, не исполнил своего обещания, изменил чести, связям родства и т. п. Выражения были подобраны самые жестокие, резкие. Оканчивал Яскулка свое письмо тем, что разрывает все отношения с нами и не хочет более нас знать, предоставляя Богу судить нас за наше коварство. Надо было потерять вовсе рассудок, чтобы сваливать вину своего адвоката и, может статься, собственную вину на меня и Агнесу, ни в чем не виновных перед ним. Несмотря на эту вопиющую несправедливость и болезнь жены моей, пораженной незаслуженным гневом отца, испросив себе отпуск, я поехал в В.

Яскулка не хотел принять меня и, чтобы я как-нибудь не переступил через порог его дома, выехал из своего фольварка к одной родственнице. Пренебрегая несправедливым гневом безумца, я стал хлопотать, чтобы не притягивали его к уголовному суду. Мне это удалось, так как составление фальшивой грамоты было прямым делом его адвоката, уже пострадавшего за свое преступление.

Нам с Агнесой не в чем было упрекать себя по этому делу. Мы писали несколько писем к Яскулке и ни на одно не получили ответа.

Умер у нас младший сын Аполлон.

Все эти удары, один за другим, расшатали окончательно здоровье Агнесы, в груди ее образовалась ужасная болезнь, для исцеления которой врачебная наука не нашла еще никаких средств. Несмотря на сделанную здесь, в Москве, операцию, час нашей земной разлуки наступил. Последняя ее просьба была стараться помириться с отцом ее. Ничего не завещала она мне насчет детей наших, твердо уверенная, что это завещание и без слов ее будет свято мною исполнено. Она благословила восьмилетнюю Лизу и пятилетнего Володю, припавших с рыданиями к холодеющей руке ее, крепко пожалла мою руку и, устремив на нас последний взор, отошла в лучший мир.

Агнеса умерла в мае. В то же время каждый год цветет на ее могиле белая сирень и кругом ее наполняет воздух своим благоуханием. Так цвела и благоухала душа ее!

Говорить ли вам после описания этой ужасной утраты о потере моего имущества? Еще и теперь вычитают из моего пенсионера половину.

С Анонимом мы стали крепко не ладить и, наконец, совсем рассорились. Он умер недавно, оставив хорошее состояние своему семейству. Я переехал в Москву, где живу уже несколько лет. Родственница моя, Зарницына, о которой го-

ворил я вам в первый день нашего знакомства, не имея детей, взяла к себе на воспитание Лизу, пристроила ее за свой счет в учебное заведение, чтобы она была поближе ко мне, заботилась о ней, как о собственной дочери. Володя жил со мной долгое время; сначала я сам учил его всему, что знал, потом он поступил на казенный счет в гимназию; оттуда перешел с помощью той же Зарницыной в университет. Остальное вам известно.

Вот вам, друг мой, история моей жизни. Как видите, много в ней печальных страниц, над которыми вы призадумаетесь. Но не забудьте, что я с благодарностью целую десницу, пославшую мне несколько лет несравненного счастья с моей неоцененной Агнесой и моими добрыми детьми.

VI

Михайла Аполлоныч, раскрыв Сурмину тайны своей жизни, как бы приобщил его к своему семейству. Сурмин высоко ценил этот знак дружбы, еще более уважал его, если можно сказать, благоговел перед ним. Сколько несчастий пронеслось над головой благородного старика! Как не пал он под ударами судьбы! И теперь еще, сколько можно судить, живет он в нужде. Из его пенсии, заслуженной столькими годами честной службы, вычитают половину, дочь дает уроки по домам. Между тем злодей Киноваров гуляет по белому свету, может быть, наслаждается жизнью в полном довольстве. И этот безумный честолюбец Яскулка, довершивший то, что другой начал...

В горячих выражениях молодой человек изъяснил свою благодарность Ранееву.

И тот и другой тайно желали скрепить узы дружбы, их соединявшие, более тесными, родственными. Но Ранеев, следя очами сердца за отношениями друг к другу Сурмина и Лизы, замечал только с одной стороны постоянное искательство и неудачу в нем, потому что, в противном случае, ничто не помешало бы Андрею Ивановичу просить руки ее. Лучшей партии не мог желать отец для своей дочери. Какое торжественное чувство заставляло его подозревать, что она любит другого. И этот другой, думал он, никто, как Владислав

Стабровский, брат изменника русского знамени и едва ли не сам сторонник польского дела. Он был уверен, что дочь не преступит завета его, не отдаст руки своей врагу России.

Между тем некоторые признаки, не ускользнувшие от него, особенно последнее свидание и прощание ее с Владиславом в Пресненском саду, горячее заступничество за него после этого свидания, не раз повторенное, оставили в нем смутное и грустное впечатление. Может статься, Владислав дал ей слово остаться верным России, убедить брата возвратиться к своему долгу и просить прощения у Того, Кто в беспредельной доброте милует раскаявшихся преступников. Во всяком случае, это подозрение сильно тревожило его. Ни одним, однако ж, словом не обнаружил он перед дочерью грустной тайны души своей, предоставляя рассудку ее и разлуке сделать свое дело.

Что происходило в это время с Сурминым? Любовь к Лизе, как прилив и отлив моря, то набегала на его сердце бурными, кипучими волнами, то успокаивалась на мысли, что если она к нему равнодушна, так он пустит свои горячие надежды по ветру и по-прежнему обратится к одним заботам о благосостоянии матери и сестер. Его характер не был романический, гореть безнадежно страстью, играть глупую роль селадона или рыцаря печального образа не находил он себя способным. Так же, как и старик Ранеев, он замечал проблески чувства к Владиславу, более чем родственного. Не мог Сурмин забыть, как в первый день знакомства с ними Лиза сму-

тилась при одном имени кузена, как на вечере Елизаветина дня при появлении Владислава она изменилась в лице и рука ее, наливавшая чай, сильно задрожала. Хотя лицо Сурмина было полуобращено в другую сторону, однако ж, ревнивый взор успел все это уловить. Он угадывал также, что в решении спора его со Стабровским о польской национальности, когда Лиза подала руку победителю, она не могла иначе поступить, хотя и против своей воли, боясь гнева отцовского и суда маленького кружка, перед которым происходил спор, да и предмет состязания был патриотический, и показать себя сторонницей польского дела было противно рассудку и сердцу ее. Среди этого раздумья, бросившего мысли Сурмина из одной стороны в другую, он осторожно выведал от адвоката своего, Пржшедилковского, что соперник его уехал из Москвы в Белоруссию; может быть, навсегда и тем положил между собой и Лизой вечную преграду. Сурмин, успокоенный этим отъездом, предался опять своим надеждам. «К тому же подозрение не есть еще доказательство», – думал он, и решился узнать от самой Лизы свой приговор и покончить так или сяк со своей мучительной неизвестностью. Он уверен был, что она неспособна притворяться и прямо объявит ему решение его участи, и стал выжидать случая приступить к этому решению. В минуты грустного настроения, Сурмин находил отраду в сближении с привлекательной Тони, в ее заманчивом, игривом разговоре, в котором высказывались ее ум и открытый характер.

Не только видал он ее у Ранеевых, но стал посещать и в мезонине, иногда с Михайлой Аполлонычем и Лизой, иногда один. Иногда играла она ему Шуберта и Шопена или пела своим чистым, задушевым контральто пьесы, как она заметила, им особенно любимые, то веселые и рассыпчатые, то заунывные, в которых слышалась натура русского человека. И во всем этом не было и тени кокетства, хотя и была доля желанья нравиться ему. Сам Ранеев не пропускал случая искусно выставить перед ним ее достоинства. Когда Лизы не было дома, он приглашал Сурмина посетить его дорогу Тони.

– Пойдем к моей второй дочке, – говорил ему старик, – послушаем ее сердечную музыку, отведем душу от житейских невзгод.

И ковылял старик по крутой лесенке в мезонин, поддерживаемый своим молодым другом.

Тони занимала две отдельные от братьев и сестры комнаты, из которых в одной принимала своих посетителей. Комната эта была такая хорошенькая, убранная хоть небогато, но комфортабельно и со вкусом. При входе в нее вас опахивало благоуханием цветов. Особенно одно померанцевое дерево, подаренное ей Сурминым, было осыпано цветами. Ему посвящены были материнские заботы. От хорошенького личика хозяйки веяло невозмутимым счастьем, в самом звуке ее голоса был такой гармонический отголосок чистой души, так приятно умела она занять своих гостей, что они, возвраща-

ьясь домой, действительно забывали свои житейские невзгоды.

Мы сказали, что в то время, когда Лиза и Владислав прощались на береговой дорожке нижнего Пресненского пруда, никто из них не заметил, как за ними наблюдал зоркий глаз соглядатая. Этот свидетель их прощания была бой-баба Левкоева. Выходя со двора, чтобы по делам своим направиться к Пресненскому мосту, она заметила, что Лиза повернула к Горбатому мосту, и, находя, что ей приятнее идти в обществе ее по одному направлению, садом, хотя и ощипанной рукой суровой осени, но по песчаной дорожке, чем по улице, довольно грязной, – она вздумала нагнать Ранееву. Раза два Левкоева окликнула ее. Та, вероятно, занятая мрачными мыслями, не слыхала ее голоса и вошла в сад через ворота Горбатого моста. Левкоева за нею, сделала уже с десятков шагов, но, увидав, что Лиза и Владислав встретились, остановилась, чтобы посмотреть, как будет происходить эта встреча, и спряталась за древним вязом, у решетки, отделяющей сад от улицы. Представлялся случай узнать, может быть, какие-нибудь тайные отношения двух особ, которые, казалось ей, были равнодушны друг к другу. Не пропустить же эту оказию даром! И увидала Левкоева, как они встретились, как жарко говорили, как Владислав долго держал руку Лизы в своей, целовал ее (ей померещилось даже, что Лиза поцеловала его). Видела она, что они простились, Лиза махнула ему платком и потом приложила платок к глазам, вероятно, что-

бы скрыть свои слезы. Для злорадного любопытства бой-бабы довольно было и того, что она видела, и того, что изображение ей подрисовало. Она вышла из своей засады, скользнула назад к Горбатову мосту, очутилась на нем, как будто шла через него с другой стороны пруда, и повернула в Девятинскую улицу. Владислав, шедший тоже к Горбатову мосту, мельком заметил этот маневр и, нагнав ее уже на Девятинской улице против овощной лавочки, поравнялся с нею. Увидав, что это Левкоева, постоялица Лориных, бывавшая у Ранеевых, он злобно на нее взглянул, как бы хотел убить ее этим взглядом, и не утерпел, чтобы не сказать: «домашний эмиссар!» Левкоева не смутилась, сердито посмотрела ему в лицо и вслед ему бросила свою отповедь: «только не польский». Тем и кончилась эта встреча.

– Он далеко уезжает, – думала она, – следственно, для нее не опасен.

И вот носит она тайну свою в муке ожидаемого разрешения ее. Не передавать же ее Ранееву! Может быть, дочка, под видом, что ничего не скрывает от отца, сумела сама искусно рассказать ему о прощании своем со Стабровским, утаив, конечно, поцелуи и слезы. Отец, не чающий души в дочери, не поверит словам вестовщицы, на которую он с некоторого времени нападает своими сарказмами. Хотя бы Левкоева в минуту доброго его стиха и рассказала ему поосторожнее, что видала, что ж пользы, какие выгоды от этого получит она для себя? Вот дело бы другое – Сурмину. Он че-

ловек богатый, показал свою щедрость, дав для бедной вдовы две двадцатипятирублевые депозитки, и может ей самой в нужде пригодиться. Он неравнодушен к Лизе и рад будет узнать, что ее строгость только маска, накинутая на себя, чтобы скрыть свои настоящие чувства, и оценит услугу преданной ему женщины. Кстати уж и отомстить Ранееву за дерзкие его выходки против нее и сына, отомстить за холодность и гордость девчонки, тоже с некоторого времени, видимо, не влюбившей ее. Если Сурмин думает жениться на ней, так не бывать этому – не даром же зовут ее бой-бабой. Дней с десятков поносила она со своим бременем в нерешительности исполнить задуманное ею и отчасти в тревоге нечистой совести. Что ни говори, а в подобном деле, где замешана честь девушки, и у отважного человека опустятся руки. Однако ж, измучившись своими долгими колебаниями, она решила отправиться к Сурмину. Его не было дома. Поехала дня через четыре – опять неудача. Тут неожиданно упала на нее с неба особенная благодать. Какой-то добрый, влиятельный в обществе господин, тронутый рассказом о ее бедном, несчастном положении, предложил устроить в пользу ее благородный спектакль, с тем, чтобы она сама в нем играла. Сбор выдается ей секретно, публика не будет знать, в чью пользу он устроен, ей же поручат раздачу билетов и сочинение истории насчет бедного, анонимного семейства, участь которого желают облегчить. На выбор пьесы, актеров, помещения для сцены и приготовление прочих

аксессуаров, необходимых для спектакля, еще более для выучки ролей, потребовалось недели две. Наконец, Левкоева сбросила с себя эту обузу, она свободна! Надо было развозить билеты. Кстати, случилась новая размолвка с Ранеевыми, и она поспешила воспользоваться этим случаем, чтобы поточить свое жало на оселке злословия.

Было десять часов утра – лучшее время застать Сурмина дома.

Сидя в своем шлафроке, он пил чай, когда слуга доложил ему о приходе статской советницы Левкоевой.

«Зачем черт принес?» – подумал он и велел все-таки просить ее. Переодевшись, он принял бой-бабу со всей светской вежливостью, всегда строго соблюдаемой им перед дамами, кто бы они ни были.

– Ожидал ли барин такую раннюю гостью? – сказала она своим бравурным тоном, хлопнув с высоты подъема своей руки по руке, ей протянутой. – Я уж раза три была у него и все-таки не поймала ветреника дома.

– Очень жалею, что невольно заставил вас так много беспокоиться, – отвечал Сурмин, усаживая свою гостью около чайного стола, – вы могли бы приказать мне явиться к вам. Не угодно ли чаю?

– Я вполне русская, и потому от чаю никогда не отказываюсь; ныне же так сыро и холодно, что не худо согреть старые кости, которым давно пора на погост.

– Уж и старые кости, – заметил Сурмин, усмехаясь, – уни-

жение паче гордости. Вы еще так цветете, полны жизни.

– Compliments в сторону; я приехала к вам по делу, мой добрейший господин.

– Иначе я и не предполагал, вы вечно хлопчете за других, ангельская душа.

– Не говорите этого: нам, бедным пассажирам на утлом суденышке по тревожному жизненному морю, приходится хлопотать и за себя. Особенно, когда имеешь на руках сына, требующего всего от матери. Что ж делать? – прибавила она, вздохнув, – иные сынки содержат свою мать, а мое дитяtko вздумало в кавалерию. Вы знаете, как там нужны пенензы и пенензы.

Говоря это, она прихлебывала чай урывками от своей речи.

– А какой у вас ароматный чай! Я давно не пивала такого и попрошу у вас другую чашку. Где вы его покупаете?

– Право, не помню, – отвечал он, наливая другую чашку. – Если бы смел, я предложил бы вам вступить со мной в дележ из цибика, только что початого.

– Разве для хвастовства, попотчевать какую-нибудь сиятельную.

– Сережа, – закричал Сурмин и, когда слуга явился, велел ему подать цибик и два листа оберточной бумаги самого большого формата.

Цибик с двумя листами бумаги был принесен, от него понесло чайным ароматом. Левкоева стала махать на себя ру-

ками, как бы желая подышать воздухом, который был им напрован. Андрей Иванович стаканом и ложкой бережно насыпал на каждый лист по целой горе чаю и приказал слуге хорошенько завернуть и отдать барыне, когда она от него выйдет.

– Смотри, Сережа, – сказала Левкоева, у которой глаза заискрились от полученного подарка, – заверни и увяжи получше в двойную бумагу, чтобы благодать, благодать-то не улетучилась. – Потом, обратясь к хозяину, промолвила, – ого, какие вы щедрые! видно, что служили в кавалергардах. Впрочем, всякое даяние благо, особенно когда предлагается так любезно. Большое, пребольшое спасибо (она протянула через стол руку). Дай Бог вашим сердечным и денежным делам в гору.

– Вот денежная статья отличная, – сказал Сурмин, притворяясь человеком корыстолюбивым. – Сантиментальность в наше время поступила в архив. Кабы вы мне посватали богатую невесту, какую-нибудь купчиху.

– За этим дело бы не стало, если б вы говорили искренно. Теперь потолкуем о моем деле, а там примемся за сердечные, проверим вас.

– Готов внимать.

– Извольте видеть, мой бесценный, мы с одним добрым человечком устроили благородный спектакль в пользу одного благородного семейства. Уж это не из той мелочи, для которой я на днях хлопотала и которой вы так великодушно по-

могли – подымай выше! Я принимаю в этом спектакле участие, играю роль сварливой барыни с язычком, как бритва, видите, роль совершенно по мне.

– Вы и себя по привычке не жалеете.

– Нечего греха таить, вижу и свой сучок в глазу.

– Уверен, что сыграете свою роль мастерски.

– Без хвастовства скажу, на репетиции все были от меня в восторге. На меня же взвалили обузу развозить билеты; вы, конечно, не откажетесь взять парочку.

– Хоть пять.

Левкоева вынула из своего портмоне пять билетов и вручила их Сурмину. Он сходил в соседнюю комнату и передал ей двадцатипятирублевую кредитку.

– Давно были у Ранеевых? – спросила она.

– Дня с три, четыре, право, не помню.

– Прекрасное семейство! Жаль, что несчастья сделали старика раздражительным, стал накидываться и на друзей своих.

– Я заметил, что в этих случаях правда всегда на его стороне. Уважаю его, как бы он мне был отец родной.

Левкоева лукаво погрозила ему пальцем.

– Или около того. Признайтесь, вы не совсем равнодушны к дочке.

– Как и всякий другой, кто увидел бы ее хоть раз. Но до серьезной любви, до посягательства на ее руку очень далек.

– Нечего сказать, дивно увлекательна. Между нами, une

tête exaltée.²⁰ С виду гордая, холодная, настоящая Семирамида, у ног которой все должно преклоняться, а между тем...

– Что ж?

– Беда, если полюбит какого-нибудь красавца с такою же горячей головой, с таким же пылким сердцем, как у нее, и оба бросятся в омут приключений.

Сурмин успел хорошо узнать Левкоеву, знал, что злословие – ее пятая стихия, но, заинтересованный разговором о Ранеевых и своею ревностью, невольно слушал ее с видимым участием.

– Она так рассудительна, – заметил он, – что, конечно, не полюбит сорванца.

– Кто знает, может быть и полюбила. Говорю это из сожаления, из желания этой превосходной девушке, тут же и вам добра.

Сурмин благодарил кивком головы.

– Молю Бога, чтоб она избавилась от злого навождения. Сказала бы больше, да боюсь, не пришли бы мои слова к привычке чесать язык насчет ближних. Я так люблю, так предаю этому семейству, оно же так много пострадало в жизни своей. Считаю за смертный грех прибавить к его горю новое.

– Верю вам, и я люблю, уважаю много это семейство и не потерпел бы злословия насчет кого-либо из членов его. Убежден, что Лизавета Михайловна чиста, как золото без лигатуры...

²⁰ une tête exaltée – горячая голова (фр.)

– О! и я за это ручаюсь сама. Но искушения ежедневных сближений с красивым, пылким, умным молодым человеком... К тому ж кузен, хоть и седьмая вода на киселе... родственные отношения, под прикрытием которых говорится многое, чего не дозволено постороннему, высказываются тайны сердечные красноречиво, с жаром... ныне, завтра, месяцы... И металл поддается. Сердце – не камень. Лизавета Михайловна в поре разгара страстей, кипучая натура... И вы не удивитесь, если они оба потеряли головы.

– Однако ж, я думаю, – сказал Сурмин не без тревожного чувства, – что у нее достаточно много благоразумия, довольно любви к отцу, чтобы не впасть в искушение, вопреки воле его, питать надежду в сердце того, кто...

– По национальности своей неприязнен к России, скажете вы.

– Да, покинуть отца, который вдали от сына видит в ней свое единственное утешение и опору, да это святотатство, на которое способна только безумная женщина.

– Конечно, до этого дело не дошло. Отец может умереть... Чем бес не шутит! Помните Елизаветин день, помните сцену, когда Владислав вошел, как демон (я заметила, что он был немного выпивши).

– Уж будто и это!

– Глаз мой верен. Да, если б не вино, не стал бы городить такой вздор, особенно к концу вашего спора. Сравнивая свою судьбу со счастливой жизнью вашего адвоката, он вы-

сказал перед нами тайну своего сердца. Заметили ли, как Лизавета Михайловна при появлении его сделалась белее ска-терти на чайном столе? Рука ее задрожала так, что, я думала, чайник выпадет и произойдет какой-нибудь скандал. Видели ли вы все это?

– Признаюсь, я был занят приходом нового лица, меня ин-тересовавшего, и ничего не заметил. Впрочем, это все до-гадки без доказательств, может быть, и мираж вашего подо-зрительного, лукавого характера. Вы могли видеть призна-ки страсти в том, в чем другие видели одну случайную тре-вогу души. Не забудьте, Владислав бывший друг дома, род-ственник их, еще прежде Елизаветина дня он оскорбил от-ца и следственно дочь безрассудным разговором о польской национальности в Белоруссии, давно не был у них и вдруг неожиданно-негаданно явился именно в день ее ангела.

– Хорошо бы, если б это так было. Но я могу сказать еще более, могу сказать то, что видела собственными глазами. Уж не негодование за оскорбление патриотического чувства, а доказательство истинной любви...

– Любопытно, однако ж, знать, что вы видели, хоть для того, чтобы посмеяться.

– Если вы уважаете эту девушку, так, конечно, не смех возбудит мой рассказ. Еще оговорку. У меня один сын; ка-ков ни есть, он дорог матери. Отними его, Господи, у меня, если я хоть в одном слове покривлю душою в том, что вам передаю. Слушайте же.

И рассказала Левкоева все, что ей удалось нечаянно увидеть на береговой дорожке Пресненского пруда. Когда же дошла до того, как Владислав целовал у Лизы руку, как она сама поцеловала его и плакала, прощаясь, Сурмин не выдержал и, вспыхнув, спросил:

– И она сама поцеловала? Не обмануло ли вас расстояние?

– Не такое же оно было большое, чтобы глаза мои могли меня обмануть. Впрочем, я уверена, что тайна эта останется между нами.

– Можете не сомневаться. Впрочем, я и тут не вижу ничего особенно предосудительного, ничему не удивляюсь. Конечно, поцелуй, если вы не ошиблись, данный тайно мужчине, – важный, роковой акт любви. Но ведь и то сказать, она прощалась с кузеном... Владислав уезжал далеко, может статься, навсегда... увеличение в этих случаях простительно. Верьте, тайна, переданная мне, хотя она мне ни на что не пригодна, будет зарыта в душе моей, как бы это была тайна моей сестры. Честь девушки – такое сокровище, которого не возвратишь, если оно раз потеряно. Умоляю вас сохранить между нами то, что вы мне передали. В противном случае, вы найдете во мне ожесточенного врага – клянусь вам в том честью своей,

Последние слова сказал Сурмин решительным, строгим голосом.

Разговор более не клеился. Левкоева заметила, что он был смущен, расстроен, да и саму ее тревожил червяк в серд-

це. Расстались, по-видимому, друзьями, повторив обещание свято хранить тайну, известную только им двоим.

Он проводил ее до дверей, сказав слуге, чтобы не забыл передать ей чай.

– Мерзкая, низкая женщина! – вырвалось у него из груди, когда он воротился в комнату. – Мне казалось, рука моя дотронулась до какой-то гадины, которую стоит только пришибить камнем.

– Сережа! – закричал он, – дай мне умыть руки.

Рассказ Левкоевой, как ни находил Сурмин источник его нечистым, сделал, однако ж, на него сильное впечатление. Порешить какой-нибудь развязкой со своей любовью и поскорее – сделалось для него необходимостью, которую ничто не должно было изменить. Могла бой-баба и прилгать по своему обыкновению, может быть, из чувства мщения за какую-нибудь воображаемую обиду со стороны Ранеевых. Но все-таки, как ни поворачивай это обстоятельство, оно накидывает какую-то тень подозрения на отношения Лизы к Владиславу. Рассудок и сердце велят ему разрубить гордиев узел, так крепко затянувшийся. Лизе, ей одной, без свидетелей, должен он передать откровенно свою душевную тревогу и услышать от нее свой приговор, которым все, еще смутное для него, все неразгаданное должно объясниться. Но как это сделать без свидетелей, в том заключалась трудная задача.

Был конец октября на дворе, в одну ночь выпал частый снег при легком морозце, все утро до полудня сеял он гу-

стыми хлопьями. Замелькали сани по улицам. Жители нашего севера так же рады первым признакам зимы, как и появлению первых теплых дней мая. Наша осень со своей слякотью нагоняет хандру, езда по грязи несносна. То ли дело родная матушка-зима! Она подстилает вам ровный, как скатерть, путь, румянит щеки красавицы, сбрасывает несколько лет с плеч старика, все в это время оживает. Накануне был Сурмин у Ранеевых. Ему сказали, что Тони не так здорова и не должна дня два выходить из комнаты. Он изъявил свое сожаление, но внутренне доволен был, что один человек, и самый важный, не помешает его объяснениям с Лизой. Надо было освободиться от присутствия Михайлы Аполлоныча, и на это составил он свой план.

– Если завтра, – думал Сурмин, – не будет оттепели и путь не испортится, приеду к Ранеевым на ямской тройке и приглашу Лизу прокатиться со мной. Она не из щепетильных барышень и, конечно, не откажется, Михайла Аполлоныч и подавно даст свое согласие.

Сама природа содействовала ему. Он прикатил на лихой тройке с рысаком в корню и завивными на пристяжках в самые сумерки, когда фонари только что зажигались и великолепный фонарь на небе делал свет их ненужным. Все устроилось по его желанию. Лиза с удовольствием согласилась на предложенное ей катанье. Михайла Аполлоныч, видимо, доволен был, что молодой человек, которого он так любил, будет какой-нибудь час наедине с дочерью. Может быть, в этот

час разрешатся его надежды. Каждый из них имел свою за- таенную мысль, и все они, как-будто нарочно, условились устроить это *partie de plaisir*.²¹ Пролетел ямщик на своих вих- рях-конях несколько улиц, так что огни фонарей казались седокам одной лучистой, огненной полосой, и дома быстро двигались мимо них. Лиза, видимо, не боялась такой быст- рой езды. Сердце у Сурмина сильно стучало. Возле него си- дела та, которая в этот час должна решить его судьбу. Пре- красное лицо ее озарялось матовым светом месяца, черные глаза ее горели необыкновенным огнем. «Если б эта женщи- на была моя, – думал он, – с каким удовольствием полетел бы я с ней рука в руку, хоть на край света». Но Лиза была не *его*, и он приступил к цели, им задуманной. Ямщику велено ехать тише, Сурмин говорил с Лизой по-французски, чтобы тот не понял их разговора.

– Я устроил это *tête-à-tête* с вами, – начал он, – не для пустого удовольствия прокатить вас.

– Я это угадывала, – отвечала Лиза, – и вы видели, как я охотно приняла ваше предложение.

Он стал объяснять ей свои чувства, глубокие, неодоли- мые, зародившиеся в душе его с первой встречи с ней, гово- рил, что она должна была их заметить, что мука неизвестно- сти, разделяет ли она эти чувства, сделалась для него невы- носимой, и потому умоляет ее решить его судьбу. Все подоб- ные объяснения влюбленных почти на один лад, с некото-

²¹ *partie de plaisir* – увеселительная прогулка (*фр.*)

рыми вариантами. Пламенная речь Сурмина дышала такую любовью, такую преданностью, она изливалась из сердца открытого, благородного. Та, к которой относились его слова, не могла сомневаться в искренности их. Наконец, она отвечала:

– Я ожидала этого объяснения, скажу более, я его желала. Уверены ли вы, что говорит с вами женщина, которой слова так же честны, как и душа ее?

– Уверен так же, как и в том, что есть Бог.

– Что раз сказанное мною не в состоянии изменить никакая власть на земле?

– Убежден в твердости вашего характера и тем более поклоняюсь вам.

– Считаете ли вы меня другом своим, лучшим другом после отца моего?

– Счастлив бы я был, если б мог им называться.

– Дайте же мне вашу руку, друг мой, брат мой.

Сурмин подал ей свою руку, Лиза крепко пожала ее и продолжала:

– Теперь, сбросив с души все, что могло затруднить мои объяснения с вами, скажу вам то, что должна сказать для общего нашего спокойствия. Не хочу вас обманывать. Вы мне раскрыли свое сердце, также честно раскрою вам свое. Я не могла не заметить, что вы ко мне более, чем равнодушны, что лучшее желание моего отца, хотя он мне прямо не говорил, было бы назвать вас членом нашего семейства. Осуше-

ствить это желание было бы для него истинным счастьем. Но я, неблагодарная, безрассудная дочь, готовая пожертвовать ему своею жизнью, не хочу, даже и за цену его счастья, продать свою душу. Я знаю ваши достоинства, знаю, что была бы с вами счастлива, но не могу отдать вам с рукою своей сердца чистого, никого не любившего прежде, сердца, вас достойного. Зачем не явились вы к нам за год прежде! Я была бы ваша. – На глазах Лизы выступили слезы. – Теперь, друг мой, скажу вам то, чего не говорила близнецу моего сердца, Тони, не говорила даже отцу. Таково мое доверие к благородству вашему. Я любила, может быть, еще люблю... Скажу еще более, даже тот, кого я любила, не знает этого вполне. Рассудок, обстоятельства, отец, патриотизм, все было против этого чувства.

– Неужели этот счастливец Владислав?

Лиза ничего не отвечала.

– Но он уж уехал и едва ли не навсегда.

– Я простилась с ним навсегда.

– Если же он враг России?

– И я буду его врагом. Что ж вам и тогда в сердце, которое в другой раз так любить не может, измятом, разбитом, сокрушенном? Я обманула бы вас, если бы отдала вам руку свою, не отдав вам нераздельно любви своей. Хотите ли жену, которая среди ласк ваших будет думать о другом, хоть бы для нее умершем?

– Боже меня сохрани от этого несчастья!

– Видите, какая я странная, безумная, непохожая на других женщин. Оцените мою безграничную доверенность и останемся...

– Друзьями, – договорил Сурмин, глубоко вздохнув. – Я у ног ваших, преданный вам еще более, чем когда-либо. Если постигнет вас какое-либо несчастье... (молю Бога отвратить его от вас), жизнь ваша не усыпана розами... могут быть случаи... обратитесь тогда ко мне, и вы найдете во мне человека, готового пожертвовать вам всем, чем может только располагать.

Так кончилось это объяснение, давно обоими желаемое. Сурмину казалось, что с груди его свалился тяжелый камень: гордиев узел был разрублен, подле него сидела уж *сестра* его.

Они ехали по площади так называемых «Старых триумфальных ворот».

– В поле, где шире! – закричал Сурмин ямщику, – прокати молодецки.

Замелькали опять перед ними огни фонарей, и пронеслись мимо дома Тверской-Ямской, и отступили от них, как будто в страхе, мифологические гиганты, безмолвные стражи новых триумфальных ворот. Вот они миновали Петровский парк, Разумовское. Снежное поле, и над ними по голубому небесному раздолью плывет полный, назревший месяц. Широко, привольно, словно они одни в мире, дышится так легко.

Ямщик укоротил вожжи, поехал шагом и запел звонким, приятным голосом песню «про ясны очи, про очи девицы-души». Песня его лилась яркой струей, кругом тишина невозмутимая, хотя бы птица встрепенулась. Когда он кончил ее словами: «Ах, очи, очи огневые, вы иссушили молодца», страстно заныла душа певца.

– Не знаешь ли другой, поновее? – спросил Сурмин ямщика.

– Как не знать, ваше сиятельство, – отвечал молодой парень, приподняв немного шапку. – Спою вам первого сорта, выучил меня школьник, что ходит в верситет на Моховую. Стоял нонешним летом в жниво у нас в деревне, сложил для одной зазнобушки писаной, словно барыня, что сидит в саях.

И запел ямщик новую песню с жарким колоритом звуков.

Запахнись скорее, красно-солнышко,
Дальним, темным лесом, частым ельничком
Холодком плесни, роса вечерняя.
Больно истомилась, измоталась,
Целый день с серпом к земле склоняючись.
А придешь как на свиданье, миленький,
Встрепенуся, будто сиза утица,
Что в студеной речке искупалася.
Постелю тебе, дружок, постелюшку
Мягче пуха, пуха лебединого,
Отберу снопы все с василечками.

Расцелую друга в очи ясные
И в уста твои, что слаще сахару,
И забудем, есть ли люди на свете,
Кроме нас с тобою двух, мой яхонтный.
Слышишь, бьет, стучит, как во ржи перепел?
Бьется так в груди моей сердечушко,
Мила друга к ночи поджидаячи.

Тревожное чувство закралось в сердце Лизы, она боялась долее поддаться ему; ее проняла какая-то дрожь, это не могло быть от легкого, едва заметного морозца, она была окутана тепло.

– Пора домой, – тихо проговорила она своему спутнику, – отец будет беспокоиться.

Они поехали домой; когда ж вышли у крыльца домика на Пресне, Лиза сказала ему глубоко-задушевным голосом.

– Благодаря вам, я была более часа счастлива, и этим вам обязана. – Сурмин высадил ее из саней и поцеловал протянутую ему руку, которую уже никогда не мог назвать своею.

«Что ж сказала бы Левкоева, увидев нас в эту минуту», – подумал он.

Отуманенная всем, что испытала в этот вечер, Лиза еще раз поблагодарила его за удовольствие, ей доставленное, и, сказав отцу, что немного устала, удалилась в свою комнату.

Вслед затем простился и молодой человек с Михаилом Аполлоновичем. Ничего не было промолвлено о том, чего ожидал отец, ни слова не было произнесено и в следующие

свидания их. Тони скоро выздоровела и посетила свою подругу. Разговорились о санном катанье.

– Выдался же такой прекрасный вечер, – сказала Лиза, – как будто Господь устроил его для нас. Посмотри, какая теперь оттепель и по улицам месиво.

Тони слушала ее с трепетным участием.

– А знаешь ли, душа моя, что в этот вечер Сурмин сделал мне предложение?

Тонкий румянец сбежал с лица Лориной, губы ее побелели.

– Что ж, ты отвечала? – спросила она дрожащим голосом.

– Решительно отказала ему.

– Ему?

Тони произнесла это слово, как будто ее подруга совершила святотатство.

– Да, ему.

– Такому милому, прекрасному человеку! Он имеет все, что может составить счастье женщины.

– Только не мое. Разве не говорила уж тебе, что я-то не могу составить его счастья. Я это ему тоже сказала. Обман в этом случае был бы с моей стороны преступлением. Такой умный, благородный, богатый молодой человек может устроить себе партию получше меня.

– Не о богатстве его речь, а о душевных достоинствах.

– Их оценит другая и отдаст ему вместе с рукою чистое сердце. Моя участь не такова.

– Странное, причудливое существо! – завершила этот разговор Тони.

VII

Сурмин не был на представлении пьесы, в которой подвизалась бой-баба, но слышал, что ее осыпали рукоплесканиями за прекрасное, художественное исполнение ее роли. Чтобы она больше не тревожила его своими посещениями, он приказал слуге не принимать ее, если придет. Ранеевы были к ней так холодны, что она перестала их посещать и переехала на другую квартиру. Несмотря на сценическое свое торжество и хороший куш, полученный ею от театрального сбора, она была неспокойна, но не смела распускать, как бы ни хотела, нечистых вестей насчет Лизы, боясь мщения Сурмина, которого, знала она, словно было дело. В половине декабря он получил от матери следующую телеграмму. *«Дядя твой умер скоропостижно, не сделав духовного завещания. Ты остаешься его единственным наследником. Приезжай поскорее. Анастасия Сурмина»*. Он простился со своими друзьями, жившими в домике на Пресне и поспешил со своим адвокатом по Николаевской железной дороге к матери, оставив позади себя двух хорошеньких девушек и старика, его истинно по-своему любивших. Михайла Аполлоныч провожал его как сына своими благословениями. Казалось, квартира Ранеевых и комнаты Тони без него опустели. И ему самому было грустно расставаться с ними. Его сердце так стройно сжилось с ними, ему так отраднo было в их круж-

ке, как будто для него не существовало другого мира, кроме того, который заключался в этом кружке и собственном его семействе. Старик, видимо, скучал, сделался нетерпеливым, раздражительным, чего с ним прежде никогда не бывало. Две подруги, каждая питая к отсутствующему разнородные чувства, находили особенное удовольствие говорить о нем и между тем посвящали нежные заботы свои дорогому для них старцу. Вторая дочка его в отсутствие родной, когда та ходила давать уроки, старалась всячески рассеять его мрачные мысли то увлекательною беседой, то чтением, иногда музыкой. Усердной, преданной, горячо любящей сиделкой была у него нередко Крошка Доррит. Правда, по временам успокаивали его письма от сына из Царства Польского. В них уведомлял Володя, что здоров, ждет с нетерпением военных действий, что ему поручено полковое знамя и он этим гордится, что любим командиром полка, любим обществом офицеров и особенно дружен с братом Лориных. Несмотря однако ж, на эти успокоительные известия и нежные попечения кровного и названных членов его семейства, Ранеева тяготило какое-то смутное предчувствие, в котором он не мог дать себе отчета и от которого не в силах был избавиться. Сердце Лизы растравляло грустное, болезненное состояние ее отца. Нередко она почитала себя отчасти виновницей этой душевной тревоги.

– Я могла бы утешить, осчастливить его, если бы не отказала Сурмину. Слава Богу, он этого не знает, может быть,

думает, что и сам Сурмин не делал мне предложения. Воротить прошедшего невозможно, я исполнила свой долг, к тому же... Тони любит его, я это заметила, – думала Лиза, и эта мысль несколько успокаивала ее совесть.

Общий любимец их писал из Приречья к Михаилу Аполлонычу, что «не забывает их среди приятной жизни в своем семействе и хлопот по наследству, заочно познакомил их с матерью и сестрами, которые, не видевши их, еще полюбили. Когда кончатся мои деловые заботы, – прибавлял он, – непременно привезу их в Москву, чтобы они сами могли оценить душевные качества, которыми жители дома на Пресне скрасили мою московскую жизнь и заменили мне мое кровное семейство».

При этом случае он посылал Ранееву несколько дорогих групп *Vieux Saxe*, доставшихся ему по наследству, с просьбою оставить себе те, которые ему более понравятся, а остальные распределить *своим*, чья память ему, отсутствующему, так дорога. Расстановка этих групп и выбор их рассеяли на время хандру старика. Он выбрал себе хорошенькую жницу. На плече ее был серп, за спиной в тростниковой корзине пригожий, улыбающийся ребенок, протягивающий ручонку к цветку на голове его матери.

– Теперь выбирайте сами, что вам по душе, – сказал Ранеев Лизе и Тоне, – да не обделите моего маленького скриба, Дашу.

Глаза Тони заискрились при виде красивого рыцаря с зна-

менем в руке.

– Знаешь ли, на кого он похож, – шепнула она своей подруге.

Лиза осмотрела фарфорового рыцаря.

– В самом деле необыкновенно похож, – сказала она, – такие же голубые, добродушные глаза, профиль, стан, волосы как он носит их. Настоящая статуэтка Сурмина!

Глаза и сердце Тони выбрали эту статуэтку, но она не сме- ла просить ее, чтобы не обнаружить чувства, привлекавшего ее к ней.

– Возьми *его* себе, – сказала Лиза, заметившая, что ее подруге очень хотелось иметь рыцаря, потом, обратясь к отцу, спросила его:

– Неправда ли, папаша, этот рыцарь похож на Андрея Иваныча?

Старик своими подслеповатыми глазами осмотрел куклу и наконец сознался, что в ней действительно есть сходство с Сурминым.

– Кому же достанется? – спросил он.

– Тони желает его иметь, – отвечала Лиза.

– Кто же тебе это говорил? – перебила ее Тони, покраснев.

– Твои глаза, твое... – Лиза не договорила.

– Отдай *его* Тони, – произнес энергично Ранеев. – Она до- стойна владеть им.

Кукла была передана Тони, принявшей ее с нескрывае- мым удовольствием, она готова была ее расцеловать.

– А знаешь ли, папаша, что она неравнодушна к нему?

– Какой вздор городишь! – сказала Тони.

– Что ж тут удивительного, – заметил Ранеев. – Какая же девушка с *чистым сердцем* (на эти два слова он особенно сделал ударение), с умом, без глупых фантазий, видя его так часто, не оценит, помимо его привлекательной наружности, его ума, прекрасного, благородного характера, не полюбит его. Берите, берите моего рыцаря, душа моя, и дай Бог, чтобы сам оригинал принадлежал вам. Какую же *куклу* выберешь ты, Лиза? – прибавил он с иронией.

Лиза поняла из загадочных слов отца свой приговор. Смущенная, с растерзанным сердцем, она стояла перед ним, как преступница перед своим грозным судьей, глотала слезы, готовые хлынуть из глаз, но скрыла свое смущение и отвечала с твердостью:

– Ту, которую вы сами мне назначите.

Долго искал старик между группами, какую бы ему выбрать для дочери: то прикасался сильно дрожащей рукой к одной фигурке, то к другой, и ни на одной не остановился.

– Я вижу тут сестру милосердия, – проговорила Лиза, – дайте ее мне.

Отец пробежал по фарфоровым статуэткам сщуренными глазами, на которых дрожали слезы, нашел сестру милосердия в белом покрывале, прижавшую крест к груди, с обращенными к небу молящими глазами и передал дочери. Вместе с этим он горячо поцеловал Лизу в лоб, как бы желая воз-

наградить ее за жесткий и, быть может, незаслуженный укор.

Не забыли Даши. Ей выбрали мальчика, который положил руку на барашка и смотрел с восторженным благоговением на небо, будто видел в нем прекрасное видение. Остальные фигуры назначено поберечь для Володи.

Скоро наступил 63-й год, роковой для России, роковой для многих из сподвижников за ее честь и благосостояние ее. Революция была в разгаре, получались тревожные вести из Царства Польского. Наконец новая варфоломеевская ночь с 10 на 11 января, положившая вечное пятно на польское имя, в которую погибли столько мучеников свирепого фанатизма, сделалась известна из газет... Газеты, выписываемые Сурминым и отсылаемые по его распоряжению к Ранеевым, были пробегаеты сначала Лизой и Тони, потом читались Михаилу Аполлонычу. Разумеется, чтцы пропускали места, где выставлялись слишком резкие описания происшествий на театре революции, или искусной переделкой смягчали их, или переменили местности, на которых они разыгрались. И потому известие о резне в ночь на 11 января миновало слуха и сердца Ранеева. Недели две, три, четыре, нет писем от Володи, нет писем от брата Лориных. Старик в мучительной тревоге, не менее тревожатся Лиза и ее подруга.

Они старались успокоить его и себя тем, что по смутному времени правильные сообщения невозможны, что почты останавливаются мятежниками; многие почтовые дворы разорены, войска беспрестанно передвигаются с места на ме-

сто, вынужденные вести сшибки с бандами в лесах, которыми так обильны польский край и смежные губернии. Когда же, где тут заниматься письмами, через кого посылать!

– Вот и в семействе, где даю уроки, есть сыновья, служащие в действующих войсках, и те не получают писем, – говорила Лиза.

– Так долго, так долго, – жаловался Ранеев, – это невыносимо. Впрочем, да будет воля Божья, – прибавлял он, успокаиваемый убеждениями близких его сердцу.

В таких колебаниях страха и упования на милосердие Божье прошел месяц. Наступил февраль. В одну полночь кто-то постучался в ворота домика на Пресне, дворовая собака сильно залаяла. Лиза первая услышала этот стук, потому что окна ее спальни были близко от ворот, встала с постели, надела туфельки и посмотрела в окно. Из него увидела она при свете фонаря, стоявшего у самых ворот, что полуночник был какой-то офицер в шинеле с блестящими погонями.

«Уж не Володя ли, – подумала она, – произведен, может статья», и сердце ее радостно забилося. Вслед за тем пришел дворник и, опросив позднего посетителя, впустил его во двор. Собака, так сердито прежде лаявшая, стала ласкаться около офицера, визжала, бросалась ему на грудь.

– А! Узнала, Барбоска, – сказал он, лаская собаку.

«Барбоска так любила Володю», – подумала Лиза и, если могла, готова была выпрыгнуть из окна, готова была закричать: «Володя!» Но дворник и офицер пошли на заднее

крыльцо, откуда был вход в мезонин Лориных. Сердце у нее упало. В мезонине слышались голоса, ускоренные шаги, суетня.

Ночным посетителем был поручик Лорин. Можно судить, как радостно было свидание братьев и сестер.

Лиза ждала, не будет ли письма от Володи – письма не было. Раздирающее душу предчувствие не дало ей сомкнуть глаз; всю ночь провела она в молитвах.

Поутру следующего дня Тони прислала просить ее к себе, и все для нее объяснилось. Лорин был изуродован мятежниками в роковую ночь на 11-е января, на его лице остался глубокий шрам, трех пальцев на одной руке не доставало. Володя пал под вилою злодея, но пал с честью, со славой, сохранив знамя полку. Все это рассказала Тони бедной своей подруге. Что чувствовала Лиза, услышав ужасную весть, можно себе вообразить! Но ей было теперь не до себя. Как передать эту громовую, убийственную весть отцу?

С начала прошедшей ночи старик заснул было часок, но, разбуженный каким-то страшным сновидением, уже не засыпал более. Он слышал суетню в мезонине, подумал, не случился ли там пожар, но успокоился, когда тревожные звуки улеглись. Утром позвал он к себе Лизу. Ее лицо страшно изменилось, это была тень прежней Лизы, ее глаза впали.

– Что с тобою случилось? – спросил отец, встревоженно смотря на нее.

– Приехал брат Лориных из Польши, ужасно изуродован.

– Не о нем же ты так беспокоилась, по-видимому, не спала целую ночь. Верно, худые вести о Володе?

– Да, друг мой, не совсем благоприятные, только не отчаянные. Он сильно ранен, но за жизнь его ручаются. Володя совершил великий подвиг, не дал врагу опозорить честь полка, сохранил ему знамя.

– Благодарю тебя, Господи, – сказал Ранеев, благоговейно перекрестясь. – Скажи мне всю правду. Он умер? По лицу твоему и голосу я вижу... Говори, теперь мне легче будет узнать эту ужасную весть.

Лиза пала перед ним на колени, целовала его руки, обливала их слезами.

– Крепись, мой друг... Господь послал нам жестокий удар. Володя отошел к матери моей.

– Он дал нам его, Он и взял, – произнес из глубины души Ранеев, и слезы заструились по бледным, исхудалым его щекам. – Я хочу слышать от самого Лорина подробности его смерти. Не тревожься за меня, я выслушаю их с сыновнею покорностью воле Всевластного. Пригласи ко мне молодого человека.

Явился поручик Лорин. Это был статный офицер; несмотря, что шрам несколько обезобразил его лицо, можно было проследить в чертах его большое сходство с его сестрой, его Тони; слегка замечалось, что он хромал.

Михайло Аполлоныч бросился обнимать его и, припав к его плечу, горько плакал.

– Теперь, – сказал он, – я готов с твердостью выслушать вас. Вы, конечно, были при последних минутах моего сына, расскажите все, что, как было с ним, не утаите от меня ничего.

Лиза, Тони и Даша уселись кругом рассказчика, впиваясь слухом и сердцем в каждое его слово.

– В январе, – начал поручик Лорин, – стояли мы в деревне, в штабе нашего полка, за несколько верст от Плоцка. Две неполные роты разместились по крестьянским хатам, я со взводом моим содержал караул на фольварке, сажений в ста от них. Остальные части полка расположились по окрестным деревням. Накануне ночи на 11-е января полковой командир наш поехал их осмотреть. Все кругом было спокойно, о шайках мятежников не было слуха. Да и время ли было им действовать в жестокие морозы. Таким безмятежным состоянием мы и пользовались, как бы в самое мирное время у себя, в своем отечестве. Ночь была метельная при слабом свете молодого месяца, да и тот по временам подернут был сетью облаков. Ни один огонек не мелькал в деревне, все спало глубоким сном. И я крепко заснул в отдаленной комнатке у пана эконома. В самую полночь, будто кто толкнул меня в бок; просыпаюсь и выхожу на улицу. Только ветер по временам жалобно стонал в вековом сосновом лесу, который тянулся кругом на десяток верст, да вторил ему вой волков. Сверху сеял снег, снизу мела поземка, занося плетни около дворов и насыпая белые валы кругом скирд и ометов. По ближнему

озеру, окованному льдом, снежные вихри, словно привидения в саванах, кружились или обгоняли друг друга. У казенного ящика расхаживал часовой и вблизи его ваш сын.

– Что ты не спишь, Володя? – спросил я его. – Надо вам сказать, мы жили с ним как хорошие братья. – Сердце у меня что-то не на месте, – отвечал он, – сильно замирает, не до сна. Что за вздор! Не волков же бояться, да русалок-снежуток, что бегают по озеру.

Только что успел я это проговорить, как с дальнего конца деревни донеслись до нас какие-то дикие, нестройные звуки, вслед за тем вспыхнул огонек, потом другой, послышалась пальба из ружей. Вдруг прибегает к нам запыхавшись, с окровавленным лицом солдат и кричит:

– Братцы, поляки напали на нас врасплох, режут сонных, зажгли две хаты, наши спросонья отстреливаются из окон. Их тьма-тьмушая с косами, вилами и ножами. – С этими словами он грянул на снег. Послышались снова крики, усиливались и приближались к нам.

– Паша, – сказал мне ваш сын, – дело плохо. – Как бы спасти знамя и честь полка.

Надо вам сказать, за несколько дней перед тем мы говорили с ним об унтер-офицере Азовского мушкетерского полка Старичкове, который в аустерлицком деле спас на себе знамя полка. Умирая, он передал его своему товарищу. Эта мысль пришла ему теперь в голову, но, подумав немного, он ее оставил.

– Боюсь, – сказал он, – что неприятель, убив меня, пожалуй раскрошит, и таким образом знамя пропадет. Лучше снимем его с древка и спрячем в фундамент амбара, через продувное окошечко, а древко оставлю при себе. Будем сильно защищать его, чтобы обмануть мятежников.

Мы так и сделали, амбар был недалеко.

– Передай этот секрет, – сказал он, – нескольким унтер-офицерам и солдатам. Если что с тобой случится, так кто-нибудь укажет нашим. Буду убит, когда увидишь отца и сестру, скажи им, что в роковые минуты я думал о них и умер, как он мне завещал.

Мы обнялись, он встал у казенного ящика с древком от знамени, на котором надет был клеенчатый чехол. Я передал нескольким солдатам из моей команды о месте, где хранилось знамя, и зажег сигнальную ракету, чтобы батальоны нашего полка, стоявшие в околных деревнях, узнали о нашем опасном положении. Стрельба стала редеть, видно, наши изнемогли, пламя разрослось и вдруг упало, слышался грохот разрушенных хат, и на месте огня встал густой дым столбом. Команда моя была в сборе, мы приготовились встретить мятежников. Огромная толпа их с усиленным гулом приближалась к нам. Позволив ей подойти на несколько десятков сажен, мы обдали ее дружным залпом. Она расстроилась было, но вскоре оправилась и стала отстреливаться. Потом помню только, – словно в безобразном кошмаре, – что мятежники хлынули на нас с косами, вилами и ножами.

Я и несколько солдат отчаянно защищали вашего сына и казенный ящик. Я видел, как один поляк ударил в него вилами, другой выхватил у него из рук древко. Думали, что досталось им знамя. Восторженные клики огласили воздух. Володя пал в кругу распростертой около него геройской семьи солдат. В эту самую минуту ударили меня саблей по лицу, другой бросился на меня с ножом. Ухватился я за нож, почувствовал, что кровь льется из руки, и упал недалеко от вашего сына. Тут пырнули меня в ногу каким-то острым оружием. Что было потом, не знаю. Когда я пришел в себя, стало рассветать. Полковой лекарь перевязывал мне руку, фельдшер хлопотал около моей ноги, вокруг меня стояли офицеры. Я слышал, что полковой командир кричал:

– Где же знамя, Боже мой, где знамя? – Первая моя мысль была спросить об юнкере Ранееве. – Юнкер Ранеев убит, – сказали мне, – мы нашли тебя около него.

– Отнесите меня к амбару, – проговорил я. Меня приподняли и отнесли туда; я указал, где знамя и сказал, кто его сохранил. Полковой командир крестился, офицеры целовали руки вашего сына. Как хорош он был и мертвый! Улыбка не сходила с его губ, словно он радовался своему торжеству. Как любили мы нашего Володю! Его похоронили с большими почестями, его оплакали все – от командира до солдата. Имя Ранеева не умрет в полку.

Кончив свой рассказ, поручик Лорин уцелевшим обрубок кисти правой руки закрыл глаза, из которых лились сле-

зы.

Ранеев пал на колени перед образом Спасителя и, крестясь, изнемогающим голосом произнес:

– Благодарю Тебя, Господи, что сподобил моего сына честной, славной кончины. Имя Ранеевых до сих пор безукоризненно.

Его приподняли и хотели довести до дивана, но он рукой дал знак, что сам дойдет и прилег на диван.

Следующие дни он казался спокойнее, беседовал часто.

Лорин дополнил рассказ о ночи на 11-е января.

– Вы не можете поверить, какие неистовства совершали злодеи над нашими солдатами, когда напали на них сонных. Живых потрошили, бросали в огонь, доканчивали зверски раненых; содравши с них кожу, вешали за ноги с ругательствами и хохотом. Только подоспевшие к нам по сигнальной ракете батальоны положили конец этим неистовствам, возможным разве у дикарей. Вот вам цивилизованный польско-христианский народ, каким величают его паны и ксендзы. Ожесточенные солдаты наши при виде изуродованных и сожженных своих товарищей, не давали врагам пардона, только немногие утекли в леса и болота. Казенный ящик с деньгами, еще не разграбленный, и древко от знамени были отбиты нашими.

Несмотря на то, что Михайло Аполлоныч крепился, удар, поразивший его, был так жесток, что он не мог его долго перенести. Силы его стали день ото дня слабеть, нить жизни,

за которую он еще держался к земле, должна была скоро порваться. Он позвал к себе однажды дочь, велел ей сесть подле себя и, положив ее руку в свою, сказал:

– Единственное, милое, дорогое мое дитя, я желал бы передать тебе то, что у меня тяжело лежит на сердце. Может быть, то, что хочу тебе сказать, не удастся сказать в другое время.

Лиза начала было говорить в утешение его, но он на первых же словах ее остановил:

– Не прерывай меня, мой друг. Немного слов услышишь от меня, но выслушай их, как бы говорил тебе свое завещание умирающий отец.

– Свято исполню вашу волю, – отвечала с твердостью дочь.

– Об одном заклинаю тебя, не выходи после моей смерти за *врага России*. В противном случае не будет над тобою моего благословения с того света, ты потревожишь прах мой, прах матери и брата.

– Клянусь вам в этом прахом их, – произнесла Лиза, обратив слезящиеся глаза к образу Спасителя. – Неужели вы могли сомневаться в моих убеждениях?

– Верю, теперь мне будет легче умирать.

Он перекрестил дочь, крепко, крепко продержал ее в своих объятиях и, немного погодя, сказал:

– Напиши завтра к Сурмину, что я очень нездоров и желал бы его видеть, – прибавив, – если возможно. Я так люблю

его. Он знает все тайны моей жизни. Кстати, напиши Зарни-
цыной о нашей потере.

Лиза писала к Сурмину:

«Друг наш, Андрей Иванович! Мой брат убит в Царстве
Польском в ночь на 11-е января. Смерть его сильно потрясла
моего дорогого старика. Он нездоров и желал бы очень вас
видеть, если вам возможно.

Преданная вам всею душою *Елизавета Ранеева*».

Лиза, в постоянной переписке с Евгенией Сергеевной
Зарницыной, не утаивала от нее ничего из своей сердечной
жизни. На этот раз она в нескольких словах уведомляла ее
только о смерти брата и болезни отца.

VIII

Какой-то купец стал похаживать к дворнику Лориных, вызывал его к воротам и выведывал, что делается у постояльцев, Ранеевых. Дворник был падок на денежную водку, а таинственный его собеседник умел задобрить его то полтинником, то четвертачком. В последнее время он узнал, что сын Ранеева убит в Польше и старик сильно хворает. Шнырял он однажды в вечерние сумерки около дома Лориных с мальчиком и увидел, что со двора вышли сначала трое молодых мужчин, из них один офицер, и вслед за ними выехали на извозчичьих санях две молодые женщины, а конфидент его собирался затворить ворота.

– Смотри, – шепотом сказал мальчику купец, – помни, ты Владимир, Володя.

– Не сызнава учить урок, – отвечал тот.

Купец подозвал к себе привратника.

– Кто это вышел из ворот? – спросил он.

– Хозяева молодые.

– А выехали в санях?

– Барышня Тонина Павловна с постоялкой, видно, прокатиться что ли вздумали.

– А что, старик Ранеев все еще болен?

– Плох, на ладан дышит.

– Кто ж из ваших дома?

– Дарья Павловна.

– Одна?

– Одна.

– Можно мне ее увидеть, поговорить, бумажку написать?

– Пошто нет. Коли бумажку написать, так все едино; барышня разумная, мал золотник да дорог. Настрочит тебе так, что и приказному нос утрет.

– Проведи меня к Дарье Павловне.

– Пожалуй, проведу. А что, это сынок твой?

– Сын.

И, передвигаясь дряхлыми ногами, словно на них были тяжелые гири, провел их дворник к Даше. Лохматая Барбоска злобно лаяла на пришедших, теребила их за фалды кафтанов, точно чуяла в них недобрых людей. Дворник сердито закричал на нее и пинком ноги уgomонил ее злость.

Купец, вошедши в комнату Дарьи Павловны, благоговеино перекрестился на иконы, стоявшие в киоте.

Даша зорко посмотрела на него и спросила, что ему угодно.

– Вот, разлюбезная барышня, мне нужно по одному дельцу прошеньице в суд написать.

– Пожалуй, я это могу. О чем же дело?

– Ставил я разный товар в Белоруссию богатому еврею, да затягивает расплату, разные прижимки делает.

– Как имя еврея, какие гильдии, место жительства, какой товар, словесные при свидетелях или письменные сделки, и

прочее, что я буду вас спрашивать. Все это напишу сначала начерно.

– Вот что, барышня, живет у вас барин, Михайла Аполлоныч Ранеев... мне знакомый, как был еще военным... хотел бы по этому делу с ним слово замолвить. Ум хорошо, а два лучше. Нельзя ли к нему?

И вынул купец красненькую бумажку и с тупым поклоном подал Даше.

– Не делав дела я не беру благодарности за него, – сказала она и отклонила рукой приношение. – А имя как ваше?

– Купец 3-й гильдии, из Динабурга, Матвей Петрович Жучок.

– Жучок из Динабурга! – воскликнула Даша. Она приложила руку ко лбу, желая вспомнить что-то, и стала пристально всматриваться в посетителя.

Живые, разгоревшиеся ее глаза, пронизывающие душу посетителя, ее слова, полуговором сказанные, как таинственные заклинания, нашептываемые над водою или огнем, смутили его.

– Серо-желтые с крапинами глаза, косые... – тревожно, но тихо произнесла Даша, всматриваясь в купца, будто полицейский сличал приметы подсудимого с его паспортом. – Нет, ты не Жучок, – вырвалось у нее наконец из груди, – а Киноваров, злодей Киноваров.

Киноваров-Жучок не ожидал нового свидетеля его преступлений, побледнев и затрясся, но вдруг в каком-то ис-

ступлении произнес:

– Коли вам это известно, я – Киноваров, злодей, погубивший Ранеева. Вяжите меня, ведите в тюрьму, делайте со мною, что хотите, только дайте мне видеться с Михайлой Аполлонычем. Пропадай моя голова, мне уж невмочь.

И бросился он на колени перед Дашей.

– Угрызения совести не дают мне покоя, бесы преследуют меня по ночам, днем лазутчики сторожат по заказу Сурмина.

– Сурмина нет в Москве.

– Он поручил своим сыщикам и без себя караулить меня, отсыпаюсь только деньгами.

– Встаньте, – сказала Даша, – не могу видеть вас в этом низком положении.

Киноваров встал.

– Так или сяк, я должен покончить со своими мучениями. Если вы знаете мое гнусное дело, так должны знать, что оно случилось очень давно. Погубить меня можно, но прошедшего для Михайлы Аполлоныча не воротишь.

– Не воротишь с того света и его жену, которую вы убили. Если б я могла...

Крошка Доррит не договорила. Гневно горели глаза ее, она, казалось, была готова вцепиться в грудь его.

– Меня сошлют в Сибирь, что ж из этого? Видите, это мой сын, одно утешение мне в жизни. Не погубите его. Помните слова Спасителя: «Иже аще приемлет сие отроча во имя мое, меня приемлет». Бросьте в нас после того камень и убейте

нас обоих.

Перед словами Спасителя Даша смирилась, и гнев ее утих. Горько плакал Киноваров.

– Я должен передать важную тайну Михайле Аполлонычу; от нее зависит участь целого края. Знаю, уверен, что он не станет гнать меня, не захочет погубить этого отрока. Он сам имел сына.

– И потерял его, – грустно сказала Даша, покачав головой, – то был сын честного человека.

– Не вы, а Ранеев судья мой. Доставьте мне только случай увидеть его. больше ни о чем не прошу, предупредите обо мне. Он сжалится над этим безвинным мальчиком, а если нет, да будет воля Божья.

Даша задумалась, потом подняв головку, вдохновенная высоким чувством любви к ближнему и покорности воле Всевышнего Судьи, сказала твердым голосом:

– Во имя Господа я исполню вашу просьбу. Теперь у старика никого нет. Я пойду прежде к нему одна, а вы здесь меня подождите.

Даша сошла к Ранееву и со всеми предосторожностями, какие могла придумать ее умная головка и любящее сердце, рассказала ему о появлении Киноварова и все, что он говорил.

Ранеев спокойно выслушал ее.

– Я должен покончить со всем своим прошлым, – произнес он с чувством. – Не на свежей же могиле сына приносить

жертвы мщения. Может быть, скоро предстану перед светлым ликом Вышнего Судьи. Повергну себя перед Ним и скажу ему: «Отче мой, отпусти мне долги мои, как я отпустил их должникам моим». Пускай придет. Да покарауйте дочь мою и Тони. Потрудитесь, мой друг, передать им, что я занят с нужным человеком.

– Они, вероятно, не так скоро будут, хотели заехать в дом, где Лиза дает уроки, – сказала Даша и поспешила позвать Киноварова и мальчика, а сама удалилась в комнату Лизы.

Киноваров молча преклонил голову перед своим судьей; в косых, безжизненных глазах его, как и всегда, нельзя было ничего прочесть.

Ни одного слова в оскорбление его не произнес Ранеев; он стал говорить с ним, как с человеком, который никогда не сделал ему никакого зла.

– Это сын твой? – спросил он.

– Сын.

– Не похож на тебя, хорошенький мальчик, со светлыми, бойкими глазами.

– Весь в мать.

– Дай Бог. Как его зовут?

– Владимир.

– Так звали и моего, но того уж нет на свете. Сколько ему лет?

– Тринадцать.

– Во имя Господа, Искупителя нашего, прощаю тебя.

Ошеломленный таким внезапным великодушием, Киноваров не знал что сказать, хотел было броситься к ногам Ранеева, но, хорошо знакомый с его характером, стоял неподвижно, склонив низко голову и скрестив руки на груди.

Михайла Аполлоныч подозвал к себе мальчика и, положив ему руку на кудрявую головку, сказал:

– Не забудь, что буду тебе говорить, Володя. Какое злое искушение придет тебе на ум, помолись Спасителю, чтобы не допустил тебя совершить его. Помни, ни одно худое, бесчестное дело не проходит мимо очей всевидящего Бога. Если злодей и кажется счастливым, не верь этому: есть в душе его обличитель, который не дает ему покоя. Не играй в карты, будь честен.

Мальчик смутился было, но вскоре оправился и произнес всхлипывая:

– Буду честен, не стану играть в карты.

– Видно, в мать. Сама она кормила его?

– Сама, – отвечал Киноваров, – дивная была женщина, хоть и простого рода.

– Была?

– Умерла лет пять тому назад; умирая говорила Володе то, что вы теперь ему сказали.

– Садитесь, – сказал Михайла Аполлоныч и указал Киноварову на стул возле себя, – а ты, Володя, садись возле меня.

Посетители разместились, как указал им хозяин.

– Теперь, ради любопытства, которым я, еще земной жи-

тель, одержим, Расскажи, как ты...

Ранеев остановился, увидев, что Киноваров указал головой на своего сына, как бы желал, чтоб он не слышал его откровений, и приказал мальчику идти в соседнюю комнату.

– Вы, верно, хотите, – начал Киноваров, когда тот вышел в соседнюю комнату и затворил за собою дверь, – чтобы я вам рассказал, как я украл банковские деньги, что заставило меня это сделать, как я бежал из тюрьмы и что затем со мною последовало?

– Расскажи.

– Я играл в карты в азартные игры. Гнусная страсть эта, как вы знаете, ведет за собою преступление. Проиграл я проежму иностранцу, содержателю цирка, с орденом Меджидия, пять тысяч рублей, хотел отыгаться и спускал все большие и большие куши. Получаемые в общественном банке деньги не записывались на приход по нескольку месяцев, иногда по году и более, они покрывали мой проигрыш и доставляли новую пищу для игры. Иногда приятели давали мне ко дню ревизии свои деньги, разумеется, за хорошее вознаграждение. Вы знаете, какие были члены банка. За мною не следили, никто ничего не видел. Канцелярия, составленная мною из отъявленных и искусных мошенников, в том числе главного сообщника моего, секретаря, купленного мною, усердно содействовала мне. Получаемыми мною в банке деньгами покрывал я старые похищения. Так понемногу выросла значительная сумма. Воровали от себя и мои

клевереты. Случалось, пошлешь на почту тысячу, а посланный с ней возвращается и доносит мне, что я обложился, не оказалось столько-то. Нечего было делать, молча докладывал я деньги. Брат мой звал меня в Москву и просил помочь ему в его роковых обстоятельствах.

«Я имею в виду очень богатую невесту, – писал он, – но мне шепнули, что родители желали знать, как я живу. Надо было пустить им золотую пыль в глаза, и я занял деньги за огромные проценты. Приезжай скорее, друг мой, выручи меня, скоро сочтусь с тобою лихвою».

В это время сделана мною покража суммы, которая погубила вас. Внутренний искушитель мой нашептывал мне, что разбогатевший брат мой искупит все мои грехи. Ловкость моих сподручников, спячка моих сослуживцев помогли этому искушению...

– И подпись под мою руку в журнале, которым давалась тебе доверенность принять с почты сумму, полученную из Петербурга, не правда ли?

– Мастерски была она сделана братом секретаря, так что вы, кажется, сгоряча признали ее за свою. Все содействовало успеху моего преступления. С этими деньгами поехал я в Москву, заплатил долги брата и обставил его, как богатого человека, светской мишурой, которая в близоруких глазах идет за чистое золото. Свадьба состоялась, С рукою невесты он получил несколько сот душ в одной из губерний, что зовут житницей России. Брат обнимал меня, изливался в горя-

чих благодарностях и обещал, как скоро заберет свою половину в руки, пополнить издержки, которым обязан мне был своим благосостоянием. Возвратясь в Приречье, благодаря своей ловкости, слепой доверенности и благосклонности моего начальника, испросившего мне в это самое время награду знаком отличия за мои подвиги на пользу службы, я продолжал ремесло чиновного вора. Желая заморить червяка, который грыз мне сердце, пил водку едва ли не стаканами, щедро помогал бедным...

– Знаю, ты слыл благодетельным человеком.

– Делал богатые вклады в церкви.

– Слышал позднее и об этом. Фарисейство!

– Как открылось мое преступление, вам известно. Меня посадили в острог. Брат узнал обо всем, прислал мне из степной деревни, в которую переселился с женою, три тысячи рублей. Это было несколько капель на иссохшую почву. Будучи уже под стражей, я получил эти деньги с почты по доверенности моей через одного приятеля. Ими и вырученными за мое движимое имущество, отчасти расхищенное, пополнилась только часть украденных денег. Приехал в Приречье брат мой. Мне дали возможность видаться с ним в остроге. Я умолял его внести хотя бы ту сумму, которая была похищена во время вашего управления. Он поклялся всеми богами исполнить этот, как он говорил, священный долг.

– Полицмейстер, видевший его, говорил мне это, но...

– Но не исполнил брат своей клятвы, между тем как по

богатству мог бы... Бог ему судья! Я был заключен в одиночную камеру для *благородных*. Меня стали спаивать водкой. Графин всегда стоял возле моей кровати, авось я сопьюсь и со мною умрет тайна моих сообщников и покровителей. Я прежде любил заливать водкой угрызения совести, но тут вскоре решительно отказался и объявил наотрез посетившим меня приятелям по карточной игре, что если не доставят мне средств бежать из тюрьмы, так я выведу сообщников своих на чистую воду. Эта угроза сильно подействовала. Все препятствия к побегу были сняты, ожидали только благоприятного случая выпустить птицу из клетки. Случай этот пал, как сон в руку. Умер в остроге крестьянин. Меня снабдили фальшивым паспортом и выпроводили благополучно из тюрьмы, а вместо меня похоронили крестьянина. Не стану рассказывать вам моих походов во время моего побега. Вам известно, как подобного рода странствующие рыцари, находят на Руси, содействие к укрывательству. Добравшись до имения брата, я жил сначала у него в лесной сторожке, потом переселился на мельницу, как ее наемник, изучил мельничную механику, стал строить и другие в окрестности. Дела мои шли успешно. Я прописался в уездный город в мещане. Здесь приглянулась мне хорошенькая мещанская дочь, сирота. Я своей наружностью не мог ей понравиться, но ее родные выдали ее за меня, как обыкновенно выдают из этого сословия отцы своих дочерей, по приказанию; однако ж, с первым ребенком она привязалась ко мне всей силою про-

стой души. В это время случился на моей мельнице пожар, мы были разорены, жена умерла. Брат мой имел поместье в Белоруссии. Желая удалить со мною живой укор в сообществе с моим преступлением, он предложил мне переселиться туда с тем, что подарил мне несколько десятин земли с водами, удобными для постройки мельницы, и дать деньги на обзаведение. Ничто не привязывало меня к местам, где умерла жена моя; я согласился. Прибыв на новое место, я нашел действительно в нем воды, удобные для постройки мельницы, и устроил ее. Скоро я свел сношения с соседними помещиками, экономами, евреями и офицерами расположенных там команд. Последние дали мне мысль заняться торговлей. Ухватившись за эту идею, я тотчас принялся выполнять ее. Продал мельницу, переселился в Динабург, откуда глазом видишь Литву, Прибалтийские и Белорусские губернии, и записался в купцы. Дела мои пошли хорошо в кругу этих губерний. Мало-помалу я вошел в роль купца, как будто она мне была прирождена. Но с некоторого времени, покупая кяхтинский чай и другие товары для русских офицеров, я нередко был должен ездить в Москву. Здесь судьба наткнула меня на вас на Кузнецком мосту и встретился я в гостинице с вашим приятелем Сурминым. Вы, вероятно, рассказали ему о моем преступлении, он меня преследует.

– Я на это не уполномочивал его, – сказал Ранеев, – и к чему теперь! Даю тебе слово, он бросит свои напрасные гонения. Наша тяжба с тобою решена. Какую же особенную

тайну хотел ты мне передать?

– Она тяжело лежит на груди моей, не дает мне теперь с некоторых пор покою. Но будь что будет, открою вам ее. Делайте из нее, что хотите.

Голос Киноварова дрожал, казалось, его била лихорадка.

– В нашем Белорусском крае творится что-то недоброе. Пани надевают траур, мужчины и пани поют революционные песни в церквах, закупается холодное и огнестрельное оружие. Я сам, по заказу капитана генерального штаба Жвирждовского обязался поставить в имение пани Стабровской топоры, косы и охотничьи ружья, сколько могу.

При имени Стабровской Михайло Аполлоныч вздрогнул, будто его ужалила змея. Слух и сердце его приковались к словам рассказчика. Тот продолжал:

– Скупал я их по дорогам в великороссийских губерниях, недавно отправил обоз с русскими ящиками до границ Могилева. Все это уложено в ящиках, наглухо заколоченных, под именем чайных цибикиков и разных колониальных товаров. Часть их примут в Могилевской губернии, другую, большую часть, отправят в Витебскую через евреев. Сколько я мог узнать, в последней складывают товар в имении Стабровской, которое досталось ей по наследству от одного родственника, в костеле, недостроенном в пятидесятых годах. Постройка была запрещена тогда местным начальством. Вы знаете, что новые костелы, вследствие указа, воздвигать запрещено. Хотя покойный пан и отзывался, что строит музей,

где будут поставлены бюсты великих мужей и фамильные, но полиция на этот раз настояла на своем.

– Что слышно о сынках Стабровской? – спросил Ранеев.

– Слышал от евреев, они знают все, что делается не только на земле, но и под землей, – говорят, будто меньшей, бежавший из полка, пропал без вести. Старший при ней, да что-то не ладят, часто ссорятся, хотел было возвратиться в Москву, однако ж, мать ублажила, остался.

Многозначительное «гм!» вырвалось из груди Ранеева.

– Нельзя ли вам дать знак кому-нибудь...

– При последних днях моей жизни я не берусь за это. Тут нужны энергия и сила для поездок... и тут... меня и тебя затаскали бы, поляки взяли бы свое.

Ранеев махнул рукою и потом погрузился в думу, наконец сказал:

– Не слышал в своей губернии о полковнице Зарницыной?

– Кого я не знаю! Ее зовут Евгенией Сергеевной. Такая полная, черные брови дугой, красивая барыня, даром ей гораздо за сорок. Умная, бойкая барыня, добрейшая душа. Я и ей доставляю из Москвы чай. Дама на редкость...

– Писать к ней об этом деле не буду, а ты постарайся поскорее повидаться с нею и расскажи ей от имени моего все, что знаешь. Даю тебе слово, она не будет дремать и выведет козни врагов на свет Божий. Скажи ей только от меня, чтобы тебя поберегла, да сам будь осторожнее.

– Непременно явлюсь к ней и сделаю все по-вашему.

– Если решишься сослужить службу своему отечеству, то совершишь благое дело. Да благословит тебя Господь! Помни, мы с тобою сочлись на земле и на том свете. Иди теперь с миром. Моя дочь должна скоро воротиться; я не желал бы, чтобы она тебя видела.

Позвали мальчика.

– Поцелуй меня, – сказал Ранеев, когда тот вошел.

Мальчик бросился целовать его руку. Киноваров с сыном стали уходить, первый воротился.

– Михайла Аполлоныч, одно слово.

– Говори.

– Знаю, вы бываете в нужде.

– Это до меня одного касается.

– Если бы смел, предложил бы вам хоть двадцатую долю того, что...

– Посobie?.. Ты... Ни от кого на свете, подавно от тебя. Мне помогает Зарницына, моя родственница, мой друг. Спасибо, ступайте.

Когда двуногий сторож и четвероногий его помощник, Барбоска, выпроваживали Киноварова и сына со двора, он спросил первого, обделал ли свои дела.

Киноваров молча сунул ему серебряную монету в руку, мальчик живо отвечал за него:

– Обделал на славу.

Лишь только отошли они несколько десятков сажень от дома Лориных, мальчик захохотал.

– Лихо же надули мы старика, – сказал он и разразился еще более жарким хохотом.

– Не смейся, Федюшка, – заметил грустным голосом Киноваров, выведенный смехом своего спутника из глубокого раздумья, в которое был погружен, – человек он Божий.

– Как есть простота. Раздевай его догола, он сам будет помогать скинуть с себя одежду; долби ему ворона клювом голову, не смахнет рукой. А признайся, дяденька, мастерски сыграл я комедь, хоть бы Расплюеву. Чуть-чуть было *не сорвалось*, как стал читать проповедь. Да разом поправился, захныкал так, что любому актеру лучше не состроить. Откуда взялись слезы.

– Бестия порядочная! Смотри – ни гу-гу, а то запутаешься, что и в сибирку попадешь.

– Чтоб глаза мои лопнули, да и ты смотри, дядя, уговор лучше денег. Зелененькую-таки дашь, а в театр, как хочешь, своди.

– Сказано. Сам не пойду, а заплачу за билет в раек.

– Признаться, люблю в театр. Как там принц датский вместо мыши убивает человека, али Кречинский подменивает алмазы на стеклышки. Сам я мастер на разные штуки. То водочки отбавишь из графинчика, да водой подольешь, то в счетце постояльцу припишешь, да серебряную ложку подтибришь. Все с рук сходило. Да ведь и учителя у нас, старшие, хороши, хозяина надувать горазды.

Киноваров шел молча.

Мальчик вошел в энтузиазм и с жаром продолжал.

– Все это мелочь, плевое дело. Вот бы удрать важную штуку: красного петуха подпустить под хоромы этажа в три. Богач пузо отрастил, словно боров, ездит себе развалившись в коляске, на лихих рысаках, что земли под собой не чуют. А чернозубая, жиром заплыла, хозяйка с ним рядом, будто жар-птица. Разом бы им спесь сбил. А потехи, потехи сколько! Скачут пожарные со всех концов, генералы, полицмейстеры, гром раскатывается по мостовым, земля ходуном ходит. Зарево на всю Москву, крики, треск, а ты стоишь себе в народе, молчок, только ухмыляешься – мое, дескать, дельце. Человечек с ноготок, дрянцо, а все эти пожарные, генералы, солдаты, народ собрались будто по твоей команде. Любо!

И захлебнулся Федька от восторга, огонь глаз его прорезывал ночную темноту, он с жаром размахивал руками.

– Тешился так в Приречье один малый, немного постарше тебя, да и попался, словно кур во щи. Видел я его после этой потехи в остроге, за железной решеткой, да на хлебе и водице, видел потом, как его в тяжелых цепях ссылали в Сибирь. Там, братец, в рудниках, под землею, не видно никогда света Божьего, грудь хоть глотком свежего воздуха не поживится, исчахнешь в молодые годы. Смотри, Федька, не угодить бы тебе за ним. Однако взять бы Ваньку, мне что-то ныне неволю пешком плестись.

Взяли они извозчика и отправились на подворье, где стоял Киноваров. Во время остального пути болтовня была не у

места.

Приехав домой, Киноваров дал сорванцу зеленую кредитку за мастерское исполнение своей роли и мелкую монету на билет в раек и отпустил его к хозяину, у которого отпросил на два часа.

Очувтившись в своем номере, впал он в глубокое раздумье. И было ему о чем задуматься, и было для чего спуститься в тайник своей души. Перед отъездом в деревню Сурмин наказал верному, купленному им человеку, навещать его, следить, где он будет в Москве останавливаться, когда и куда выедет из нее. Киноварову тоже верный человек дал знать об этом и возбудил в нем подозрение, что его отыскивают по делу Ранеева. Он переменил квартиру, другую, но и тут наводили об нем справки в полиции. Хотя не было никаких запросов от него, ему шепнули, однако ж, что какой-то тайный шпион следит за ним и не выпускает его из виду. Ему нужно было, во что бы ни стало, покончить в Москве расчеты по торговым делам. Сурмин уехал в Приречье, но мог скоро возвратиться, тогда судьба его может худо разыгаться. Пожалуй, дело о похищении сумм из банка снова поднимется. Он решился, в отсутствие своего гонителя, на отчаянный подвиг – идти напролом, напропалую к Ранееву, тяжело больному, пасть ему в ноги, испросить себе, в память убитого сына, прощение, в противном случае бросить все дела свои и ускакать в Белоруссию. Услыхав от своего благоприятеля, дворника Лориних, что Михайла Аполлоныч любит Дарью Пав-

ловну как родную дочь он предположил отнестись к ней сначала с просьбой написать прошение в суд. «Потом, – думал он, – не открывая, кто я такой, буду умолять ее дать мне возможность переговорить с Раневым, как человеку, знакомому с ним». Мы видели, как это Киноварову удалось, не с такими изворотами, а более открытым, отчаянным путем. Чтобы разжалобить сильнее старика, он легко согласил мальчика, бойкого и плутоватого, из прислуги с подворья, где квартировал, сыграть роль его сына, Владимира. То же имя, которое носил убитый сын Ранеева, должно было иметь магическую силу на ум и сердце больного старика. Он научил мальчика, что говорить и делать, предоставляя его изворотливому умишку выпутываться из трудных обстоятельств, как сумел. Киноваров не солгал, сказав, что был женат, что жена его была добрая и честная и умерла. Он действительно имел сына, которому могло быть в настоящее время тринадцать лет, но и тот года четыре назад также помер. Представленный им Володя был подставной сынок, взятый напрокат. Ни в одном слове остального рассказа своего он не покривил душой. Не раскаяние, а чувство самосохранения вело его к тому, кого он некогда разорил. Расчеты его были довольны верны, – он надеялся на доброту души Ранеева, еще более усиленную потерей сына и физических сил. Успех превзошел ожидания. Однако же безграничное великодушие Михайлы Аполлоныча, не помраченное не только оскорблением, даже гневным словом, сильно тронуло и негодяя. «Иди

с миром», – сказал ему судья его. А мир не был в его душе. Он решился раскрыть Зарницыной подземные, коварные действия белорусских панов и тем хоть несколько загладить свое прошедшее. Дела его в Москве были почти на исходе, на днях окончательно развязанные; они дадут ему возможность возвратиться в край, где ему предстоит первый в жизни благородный подвиг. Он всю ночь не спал и провозился с боку на бок на кровати в тяжелых думах. Когда же к утру заснул, ужасные видения преследовали его. Он кричал во сне так страшно, что Федюшка, разбуженный этими криками, встал, приложил ухо к двери номера, но, успокоенный наступившим затем молчанием, возвратился на свой войлочек.

IX

Завернем к Сурмину в его сельский приреченский приют, где семейство его свило себе постоянное гнездышко. Можно вообразить, как мать и сестры, не выдавшие его несколько месяцев, обрадовались ему. Настасья Александровна была типом тех женщин, которые в любви к детям, в их радостях и успехах воспитания находят все свои радости, надежды, все свое счастье. В первые часы свидания, как она, так и сын забыли о цели его приезда, забыли о богатом наследстве, посланном им с неба. Они и без него имели хорошее состояние и сверх того обладали сокровищем, которого не купишь ни за какие деньги – семейным согласием, любовью, миром, невозмутимым никакими сильными житейскими невзгодами. Две сестры Андрея Иваныча, Оля и Таня, шестнадцатилетние близнецы, милые создания, и подавно не думали о богатстве, не зная даже и цены ему. Они жили жизнью одна другой и только делились ею с матерью и братом, не помышляя ни о какой лучшей доле на земле. Скучала одна, а это случалось очень редко, скучала и другая; что находила одна хорошим, то находила и другая, и наоборот. Это были две птички *inséparables*.²² Если б умерла Оля, умерла бы Таня. Наружное сходство их было так велико, что даже домашним случалось в них ошибаться, и потому мать вынуждена

²² *inséparables* – неразлучные (фр.)

была отличить каждую простенькими браслетами, у одной с бирюзой, у другой с изумрудом. И характеры их были так же сходны, как и наружность. Привязанность их друг к дружке тревожила иногда мать за их будущность. «Ведь нельзя же обеим оставаться в безбрачном состоянии», думала Настасья Александровна и старалась, не расстраивая этой привязанности, смягчать ее временной разлукой: то оставляла одну или другую погостить на несколько дней в Приречье и у добрых соседей, где были девицы сходных с ними лет, то стала вывозить в губернский приреченский свет, собирала у себя кружок разного пола и возраста, где было полное раздолье всяким играм и увеселениям. Имели и намерение посетить нынешней зимой Москву, чтобы познакомить дочерей со всеми удовольствиями и достопамятностями древней столицы. Не оставляла также внушать им, что жизнь их не может ограничиться домашним кругом, в котором они родились и воспитывались, но что ожидает их другая будущность, где они встретят другие привязанности, именно супруги и матери, другие священные, дорогие обязанности, которым должны будут отдаться всем существом своим. Такие внушения, если не охлаждали их дружбы, все-таки притупляли опасный характер ее. Образованием их, по программе матери, занимались англичанка средних лет и русская институтка, обе с добрым характером и с достаточным запасом знаний. Холодная наружность и манеры одной расцветивались веселым, живым характером другой. За религиоз-

но-нравственным воспитанием дочерей наблюдала сама Настасья Александровна, согревавшая их душу теплым дыханием своей души.

Среди откровенных разговоров матери с сыном, когда они оставались одни, она замечала ему, – «почему он, живя так долго в Москве, не избрал себе до сих пор в тамошнем обществе подруги».

– Не выбрал еще по сердцу, – отвечал он.

– Ты писал мне с таким необыкновенным восторгом о Лизе Ранеевой, с таким теплым чувством об Антонине Лоринной, – говорила мать.

– Из моих писем вы, конечно, заметили, что я полюбил первую страстно, как не любил ни одной женщины.

– Эти порывистые страсти бывают ненадежны.

– За то и сокрушились разом, когда она сама призналась мне, что любила другого. Мы все-таки остались друзьями, я еще более прежнего стал уважать ее за честное, откровенное признание, и с того времени к двум сестрам моим прибавилась третья.

– А Лорина?

– Мое сердце, милая мамаша, не переметная сума. Ныне полюбил страстно одну, не удалось приобрести ее любви, не предложить же вдруг своего сердца другой.

– Не зная их лично, могу только судить о них по твоим письмам. Признаюсь тебе, мое сердце лежит более к Лоринной. Та с горячею, эксцентрической головкой, энтузиастка, с

жаждой каких-то подвигов, не совсем по мне. И сестры твои, по твоим портретам, склоняются более на сторону Тони. Может быть, мы и ошибаемся.

В задушевных беседах с матерью и сестрами пролетели дня два. Андрею Ивановичу надо было приступить к цели своего приезда. Дядя его, Петр Андреевич, которого будем называть младшим в отличие от брата его, Ивана Андреевича, прежде умершего, поссорился некогда с ним из-за дела наследства, в котором почитал себя обиженным, и долго питал к нему неудовольствие. Со временем помирились они. Младший вкрался в доверенность к старшему до того, что тот поручил ему заведывание своим имением во время пребывания своего в Петербурге, где удерживало его несколько лет воспитание сына. Петр Андреевич не только принял-ся усердно хозяйничать в этом имении, но и ссужал старшего брата деньгами, когда оказывалась у того засуха в бумажнике. А это случалось нередко по случаю дорогой жизни в Петербурге, с которою он, сельский житель, не мог сладить. После смерти Ивана Андреевича оказались на нем долги, и самые главные брату. При этих займах не забывалось брать законные обязательства, но забывались расписки в получении то процентов, то части капитальной суммы – расписки, которые по родственной и дружеской доверенности бросались куда ни попало, а иногда и вовсе уничтожались. Мы видели, что Петр Андреевич был выбран опекуном над имением своих племянника и племянниц, видели, что это имение

было доведено до продажи с аукционного торга. К счастью малолетних, было отыскано несколько расписок и остальной долг заплачен кредитору, хотя не без тяжких жертв. В последнее время дядя, подстрекаемый своим корыстолюбием и страстью к сутяжничеству, затеял снова тяжбу с детьми своего брата о значительных пустошах, которые он по межевым книгам считал своими. В нижних инстанциях ему было повезло, но дело перенесено в сенат, и тут приняло другой, более законный оборот, благоприятный для семейства Ивана Андреевича. Эта неудача озлобила еще более Петра Сурмина, и он поклялся, что дети родного брата его не получат после смерти его ни гроша, а отдаст он все свое богатое имение дальним родственникам, хоть бы пришлось отыскивать их на краю света. Провидение распорядилось, однако ж, иначе. Параличный удар положил конец этим враждебным замыслам и тяжбе. По законам, все, что оставалось после него, движимое и недвижимое, правдою и неправдою нажитое, переходило именно к тем, кого он в злобе своей отстранял от наследства. Права прямых наследников были бесспорны, оставалось только судебным местам признать их актуально.

– Не забудь сделать что-нибудь для обеспечения Прасковьи и детей ее, – сказала Настасья Александровна сыну, когда тот собрался ехать в имение дяди. – Остались без куска хлеба. Простая женщина, а между тем сколько в ней благородства, честной энергии! Будешь там, все узнаешь подробно и оценишь ее.

Приехал Андрей Иванович в имение дяди и нашел, что местная полиция исполнила правильно свои обязанности. Оставалась в доме молодая особа, экономка по названию, но более близкая по связям к покойнику. Она была дочь дворового человека. Прасковья, как называли ее господа, и Прасковья Семеновна, как величала ее домашняя прислуга, пришла с дядей Сурминым троих детей. Ничего не сделал он для их обеспечения, откладывая со дня на день исполнение этой обязанности в надежде на крепкое свое здоровье. Во время суматохи, происшедшей в доме по случаю внезапной кончины владельца, эта особа могла бы, — как это делается в подобных случаях, — с помощью дворовых людей, любивших ее за кроткий нрав, и в надежде дележа, воспользоваться большею частью движимого имущества покойника. А имущество это заключалось в богатой серебряной посуде, музее редкостей, доставшемся ему по закладной, в сериях и кредитных билетах. К удивлению Андрея Ивановича, все это оказалось в целости согласно с описями, которые вел дядя в величайшей исправности и которые могли бы быть истреблены с помощью и не дворовых людей. Только что успел остыть труп покойника, Прасковья дала знать местной полиции, чтобы она прибыла для освидетельствования движимого имения и опечатания его. Нашлись чиновники, наметнувшие ей о возможности сделать львиный раздел ему, но она была глуха ко всем искушениям и объявила, что если кто осмелится дотронуться до ценных вещей и денег, остав-

шихся после покойника, до приезда законного наследника, так даст немедленно знать об этом Настасье Александровне. Между тем эта диковинная женщина оставалась с детьми без куска хлеба. Андрей Иванович при этом случае вспомнил разговор свой с Ранеевой о русских женщинах и устыдился, что в числе их оскорбил своим злословием и Прасковью. Первым его делом было обласкать ее и детей ее, вторым – устроить их будущность. До совершения законного ввода его во владение имением он выдал так называемой экономке от своего имени заемное письмо на полгода в десять тысяч рублей, дозволил ей жить в доме, сколько ей угодно, и на это время положил ей приличное содержание с детьми. Дворовые люди не были забыты и получили также щедрое обеспечение. Таким образом жилище скорби и страха радостно оживилось с приездом молодого наследника. Благословениям ему не было конца.

Все распоряжения сына Настасья Александровна скрепила печатью своего сердца. Формальности о признании в законных правах его требовали иногда его присутствия в губернском городе, где он оставил для успешнейшего хода дела своего адвоката. Что ему особенно было неприятно, так это неминуемая поездка в Белоруссию, где дядя имел значительное поместье, в эту terra incognita, край, по слухам, враждебный, суливший ему много скучных и тревожных дней.

Среди забот по наследству, сменяемых мирными удовольствиями семейной жизни, он не забыл обитателей домика на

Пресне и пробежал мысленно последние месяцы своего пребывания в Москве. Обновлялась в памяти его роковая встреча на Кузнецком мосту с добродушным, благородным стариком Раневым, так горячо полюбившим его и к которому он сам привязался, будто к отцу родному. Как горячий луч пал в душу его и дивный образ Лизы, этой странной, чудесной девушки, околдовавшей было его чарами своей красоты и ума, создавшей в его сердце целый мир блаженства. И что ж потом? Несколько слов довольно было, чтоб все это рассеялось прахом. Из-за этого образа вставал другой, не столько ослепительный, а все-таки светлый, привлекательный, с животворной улыбкой, с очами, ласкающими сердце, с детским, игривым говором, вносящим в него мир и отраду.

Мог ли Сурмин думать, что в это самое время; смерть вырывала жертву из дорогой ему семьи и носилась уже над другою!

Письмо от Лизы глубоко тронуло его. Не задумываясь ни одной минуты, он бросил свои дела, доверив окончание их своему адвокату, и простился с матерью и сестрами.

В передней квартиры Раневых встретила его Лиза, как будто неземного врача, который должен был поднять отца с болезненного одра. Она готова была броситься ему в объятия.

– Он вас так ждал, так часто спрашивал, – говорила она Андрею Ивановичу, подавая ему дружески обе руки. – Пойдемте за мной, я предупрежу его.

Через две минуты она позвала приезжего. Старик лежал на постели, но при входе Сурмина приподнялся, лицо его просияло.

– Благодарю, благодарю, – произнес он слабым голосом, сжимая его руку в своей, и слезы покатались по щекам, изрытым болезнью.

В следующие дни он казался спокойнее и тверже, беседовал по временам с молодым другом своим, рассказывал ему о славной смерти сына, не забыл, между прочим, просить, чтобы он прекратил свои гонения на Киноварова.

– Я рассчитался уже со своим прошедшим, – говорил старик, – и простил всех, кто меня оскорбил и сделал мне зло. К тому же он может быть полезен для русского дела в краю, где живет.

Сурмин дал слово исполнить его волю.

Такая благодатная перемена в состоянии больного продолжалась с неделю, сердце оживилось надеждою, все кругом его приняло более веселый вид. Сурмин находил, что Тони еще похорошела, глаза ее блестели необыкновенным огнем, когда она с ним говорила.

Но признаки выздоровления Ранеева были обманчивы, были только радостными проблесками, которыми Провидение хотело украсить последние его дни и дать передохнуть окружающим его перед печальною катастрофой, готовою над ним разразиться. Ему делалось хуже, он стал тяжело дышать и потребовал священника. Исполнив христианские обязан-

ности, разрешавшие его земные узы, он заснул, но стал вскоре бредить. Сокровенные тайны души вырвались у него в эти минуты «Лиза, бедная Лиза, – говорил он, – помни, мое милое, дорогое дитя... Никогда за врага России! Бедность, бедность!.. Дочь генерала!.. ходить в слякоть, в дождь, в мороз давать уроки по домам! Билеты, карточки! А сколько у тебя билетов на похороны?.. И три аршина для праха отца надо купить золотом». В предсмертном бреде переплетались слова; «*Судбище, варфоломеевская ночь, Володя*». Очнувшись, он долго, долго всматривался вокруг себя, подозвал дочь, благословил ее дрожащими руками, завещал похоронить его возле Агнесы, церемоний похоронных никаких не делать, да и не из чего... «Простой гроб и один священник... довольно для напутствования его праха в ту землю, из которой он взят». Простился со всеми; простился с поручиком Лориным, другом его сына, пожелал спать, закрыл глаза и заснул сном вечным. Последнее биение его сердца отдалось на устах его дочери, лобызавшей его руку, и замолкло. Маятник жизни остановился.

Задернем занавес над наступившей потом печальной сценой. Кто видел смерть близких, дорогих ему людей, знает, как тяжелы подобные часы!

Часть третья

I

Пока предали земле останки того, кого называли на ней Раневым смерть пощадила черты доброго лица его. Казалось, он наслаждался приятным сном. И пора ему было отдохнуть от тяжелого пути, по которому он шел, от всех житейских потрясений, которыми жизнь его была столько раз надломлена. Предстояло Лизе справить похороны, хоть скромные, но приличные; одно место на кладбище стоило довольно дорого. Заработанных ею билетов за уроки было немного, они не могли пополнить и четвертой доли расходов. К горестному чувству о потере отца присоединились обычные в этом случае заботы о погребении его. Можно вообразить, в каком затруднительном положении она находилась.

Сердце Тони спешило выручить ее.

Сурмин как друг покойника осторожно намекнул было через Тони о денежных услугах.

– Благодарю вас, – сказала она, принимая его в своей комнате на мезонине, как и всех, кто имел в это время дело до ее подруги, – деньги *у нас* есть, но от дружеских ваших услуг не откажемся. Мы попросим вас заняться покупкой и устройством всего, что нужно для приличных похорон. Лизе не до

того, а я не сумею распорядиться. Не откажитесь, Андрей Иванович, вы такие добрые.

И посмотрела она на него нежным, умоляющим взглядом.

– С величайшею готовностью.

– Я принесу вам сейчас деньги, Лиза мне их поручила.

Тони юркнула в свою спальню и минуты через две передала ему довольно тяжеловесный сверток. В нем завернуто было золото.

– Сколько же тут? – спросил он, смотря на нее с каким-то подозрительным недоумением.

– Сорок девять.

– Довольно будет и половины, может быть, еще менее.

Покойник желал скромных похорон. Что будет положено на мертвого, то отнимется у живых.

Сурмин развернул сверток – все империалы времен Елизаветы и двух Екатерин.

– Должно быть, – заметил он с коварною улыбкою, отложив себе в кошелек двадцать штук и возвращая остальные Антонине Павловне, – что пятидесятый убежал в Елизаветин день на помощь бедной вдове.

– Право, Лизины, – отозвалась Тони, покраснев от стыда, что говорила неправду, – ей подарены были Зарницыной на черный день.

– Было много черных дней в жизни их, Антонина Павловна, – грустно сказал Сурмин, – а золотые не убывали. Впрочем, я забыл, что вы второе я Лизаветы Михайловны.

– Желала бы, чтобы вы всегда это помнили и не пытали меня более, а то я заплачу.

И в самом деле слезы готовы были навернуться на глазах Тони.

– Уж и так много слез пролито в эти дни, и я вовсе не желаю быть их причиной из-за пустяков. По крайней мере, вы позволите мне сказать, что сердце ваше – сокровище.

Сурмин раскланялся было, но, дойдя в двери, вдруг оборотился.

– Вы меня, кажется, звали? – спросил он.

В это время взоры их встретились: он смотрел на нее, если не влюбленными, то симпатичными глазами, она глядела вслед ему своими синими глазами с любовью.

– Нет, – отвечала она, вспыхнув.

– Ну, так придется верить магнетическому току ваших глаз. Если вы не говорили, так хотели мысленно позвать меня, и я повиновался. Но за то, что вы заставили меня вернуться, попрошу вашу ручку.

Тони с удовольствием подала ему руку. Продержав ее с минуту в своей, он вышел; она, вся пылая, погрузилась в глубокую думу, из которой только выведена была монотонным чтением псалмов дьячка, слышавшимся из нижнего этажа. Ей казалось, что в эти минуты ее думы, ее чувства – были святотатство.

Отнесли останки Ранеева на кладбище одного из женских монастырей и похоронили подле Агнесы, потеснив немного

стороннего покойника.

Похороны были приличные. Говорить ли, что в доле расходов тайно участвовал Сурмин? Тониных золотых не употреблял он даже тех, что взял у нее, и подал ей в этих днягах подробный расчет. Она умела только поблагодарить его несколькими сердечными словами.

На похоронах появилась и Левкоева, но и тут заметила одному из братьев Лориных, что генералу церемония подошла понаряднее; критиковала, почему не было более богатого гроба и парчового покрывала, катафалка, четверни лошадей; прибавила, что «если они *уж такие бедные*, то она, Левкоева, со своими связями, если б только *попросили*, могла бы собрать достаточную сумму на генеральские похороны». Никто не дал ей ответа, да и вообще не обратил на нее внимания.

Первым делом Лизы, когда она немного успокоилась и могла взять перо в руки, было написать Зарницыной о смерти отца. Дней через десять она получила следующий ответ:

«Милое, дорогое дитя мое, Лиза! Ужасные потери твои, одна за другою, глубоко поразили меня. Воображаю состояние твоей души, твое одинокое, сиротское положение при материальных лишениях! Что будешь делать в Москве? Не на уроки же опять ходить в слякоть и морозы! Ты знаешь, что у тебя есть вторая мать. У меня нет детей, и ты всегда заменяла мне их. Приезжай ко мне, все мое также и твое. Мой

муж любит тебя не менее меня и усердно зовет. Ты писала ко мне, что у тебя есть близнец твоего сердца, Антонина Лорина, которую очень любил и отец твой. Разлука с нею была бы для тебя тяжела. Не мне рассекать эту связь, сплетенную так крепко, не мне отрывать от тебя твое второе я, как ты изъяснялась мне в одном твоём письме. Это было бы жестоко с моей стороны. Сколько я знаю по этим же письмам, она свободна. Пригласи ее с собою, уговори всеми сердечными убеждениями, на которые ты такая мастерица. Уверь ее, что в сердце моем, хотя и старушечьем, найдется теплое местечко для вас обоих, вы же составляете одно существо. Ты знаешь меня хорошо. Прошу и приказываю немного размышлять и не колебаться. Путешествие, неведомый вам край, новые люди хоть немного рассеют вас. Приезжайте непременно. Ты верно заняла на похороны. Посылаю тебе на уплату долга и на путевые расходы, сколько, по моему расчету, нужно. Мое сердце и горячие объятия ждут вас

Твоя *Евгения Зарницына*.

P. S. И над здешним краем поднимаются грозовые тучи. Я действую и устраиваю отводы. Хочу доказать, что если польки способны на патриотические подвиги, так и русские женщины сумеют действовать за дело своего отечества. Посылаю отцу твоему на небо сердечное спасибо за присылку ко мне доверенного человека. Он дал мне руководящую нить. Не стану более писать об этом, приедешь, все узнаешь, мо-

жет быть, и сама поможешь мне».

Лиза уверена была заранее в этом приглашении. Не было другого лучшего исхода из ее тяжкого положения, как принять его; не было другого более надежного приюта для нее, как дом ее второй матери. Но *он* там, в этом Белорусском крае. Конечно, если встретит его, она ограждена от увлечений завещанием отца, своею клятвою, рассудком, она сумеет выйти из сердечной борьбы победительницей, но все-таки сильно задумалась над письмом. О каком доверенном человеке говорила Зарницына, кто такой, – осталось для Лизы тайной. Если ж?.. блеснула в голове ее молниеносная мысль, и она решилась ехать, как скоро минет шесть недель по смерти отца. Ей очень хотелось убедить Тони на эту поездку. Она не будет разлучена с подругой, с которою так сердечно сжилась; ее, доселе такую твердую, энергическую, побуждала и надежда, в минуту душевного изнеможения, опереться на Тони, этом слабом в сравнении с нею существе. Так Лиза начинала изверяться в собственные свои силы. Подавая ей письмо Зарницыной, она горячо обняла ее и принималась несколько раз с жаром целовать. Ожидались нерешительность, колебания, может быть, отказ. Но как изумилась Лиза, когда Тони, не думая долго, объявила ей, что едет с величайшим удовольствием.

– Мои братья и сестра, – говорила Тони, – привыкли жить в разлуке со мною; я буду знать, что им здесь хорошо, и

не стану тревожиться на их счет. С Евгенией Сергеевной и ее мужем ты давно меня познакомила; путешествие, новый край, новые люди, как она пишет, ты подле меня, – чего же мне желать лучше?

Поцелуям и уверениям в неизменной дружбе не было конца. Скажу вам по секрету, мой читатель, что если к этому быстрому решению подвинула ее дружба, так над этим чувством в то же время господствовало другое, может быть, более сильное. Тони уловила из разговора Сурмина с Раневым, что он должен непременно ехать в Белоруссию для получения наследства, доставшегося после дяди, она будет видеть его, будет близко от него... Головка ее воспламенилась от этой мысли.

Когда же Лиза объявила Сурмину о своей поездке, он просил у нее позволения сопутствовать им. Вместе с тем обе подруги обязали бы его, завернув по дороге в Приреченский приют хоть дня на два, на три.

– Вы еще мало путешествовали, – прибавлял Андрей Иванович, – к тому же с железной варшавской дороги должны будете своротить на почтовую до местопребывания Зарницыной. Времена смутные. Могут встретиться хлопоты, дорожные заботы. Человек, вам преданный, не лишний товарищ на таком дальнем пути. А если осчастливите наш дом, так это будет для матери, для сестреноч моих, заочно вас полюбивших, большим праздником.

Отказываться от такого приглашения не было причин, и

Лиза за себя и Тони согласилась. Нечего говорить, что последняя примкнула к этому согласию словом и сердцем.

Денежный долг Тони был уплачен, всякая движимость, остававшаяся в квартире Ранеевых, отчасти продана, отчасти перешла в комнату Даши и в комнату Тони, которую занял искалеченный брат их. Ему же, как бы по наследству, перешли все группы *viex Saxe*, назначенные Володе. Лиза взяла с собою только дорогие для нее семейные портреты, картину с изображением Жанны д'Арк и завещанную ей отцом фарфоровую сестру милосердия. Тони не рассталась со своим рыцарем.

Простились в урочный день не без слез с оставшимися жильцами домика на Пресне. Даша старалась быть твердою, утешала себя, сестру и Лизу словами надежды, что им будет хорошо в новом крае, и словами упования на милосердие Божье; обещались чаще переписываться. Провожаемые благословениями, обе подруги, в сопровождении Андрея Ивановича, отправились в дорогу. В Приреченской усадьбе Настасья Александровна и дочери ее, предупрежденные о приезде к ним дорогих гостей, встретили их с неподдельною радостью. Скоро между семейством Сурмина и приезжими установилось дружеское сближение. Настасья Александровна нашла, что похвалы сына обеим подругам были не преувеличены. Обе очаровали ее своею наружностью, умом и простотою обращения. Только, сравнивая оригиналы с портретами, писанными домашним живописцем, она заметила, что кисть

его погрешила. В Лизе, может быть по краткости знакомства, может быть по горестному положению, в котором она находилась, не видно было той пылкой энтузиастки, какую представил ее сын, вероятно, в минуты досады на нее. Напротив того, строгие черты лица, оттененного грустью, сдержанный тон разговора и манер были скорее отражением твердого, более холодного характера, чем тот, который придавали ей письма сына и потом воображение матери.

Преобладай в Ранеевой эксцентричность характера, все-таки и в ее положении складки этого характера выступили бы как-нибудь невольно на покрове, который на первых порах знакомства она бы на себя накинула.

Но если Настасья Александровна и чувствовала к ней сердечное влечение, то вместе с тем, хоть и старушка, не могла не подчиниться и невольному чувству уважения к ее личности, помимо того, на которое вызывали ее несчастья.

Так же, по мнению Сурминой, и в портрете Тони живописец погрешил. Андрей Иванович называл ее хорошенькой, миленькой, а мать нашла, что она более чем хорошенькая и привлекательна в высшей степени. Но и в этом случае нашлось для него извинение. Он писал к ней во время своего страстного поклонения другой очаровательной девушке, перед ослепительной красотой которой все, ее окружавшее, представлялось ему в тени, на заднем плане.

– Если б, – говорила Настасья Александровна, – зависел от меня выбор жены для сына, так я выбрала бы Антонину

Павловну.

Гувернантки, англичанка и русская, разделились в мнениях на две стороны. Одна, холодная мисс, отдавала пальму первенства Лизе, вторая, более восприимчивая по своей натуре, – Тони. Дочери сердцем присоединялись к партии последней. Тони в один день сделалась как бы их семьянинкой, словно жила с ними годы. Играя своим живым, открытым характером на юных сердцах, она будто перебегала по клавишам своего рояля. В первый же день сестры Сурмина и Лорина обращались уже друг с дружкой на *ты*, называли друг дружку: Тони, Оля, Таня.

Близнецы-сестры просили гостей своих оставить им на память несколько строк в общем их альбоме. Лиза написала в нем следующие строки из одного сочинения госпожи Неккер де Соссюр²³:

«Совершенство, к которому стремится человек, таково, что оно вызывает или наше одобрение, или восторг и удивление. Первое относится к исполнению своего долга, последнее к доблести или самоотвержению.

Елизавета Ранеева».

Тони написала:

«Любите чистым сердцем и во всем поручите себя Богу. В любви найдете источник долга, доблести и самоотверже-

²³ Альбертина Адриенна Неккер де Соссюр (1766–1841) – франко-швейцарская писательница и педагог. Важнейший труд Неккер де Соссюр – книга «Прогрессивное образование, или Очерки по преподаванию жизни» (фр. *L'Education progressive, ou étude sur le cours de la vie*; 1828–1838)

ния.

Тони Лорина».

На другой день кружок, собравшийся в доме Сурминых, сидел за вечерним чаем. Распахнулась дверь, и влетела молодая девушка, довольно интересной, шикарной наружности, в бархатном малиновом кепи, в перчатках с широкими рас-трубами, по образцу кучерских. За поясом блестел маленький кинжал с золотою ручкой. При входе в комнату, она раз-разилась хохотом, так что все тут бывшие вздрогнули.

– Ха, ха, ха! – зарокотало по зале, имевшей сильный ре-зонанс.

– Что случилось? – спросила пришедшую сконфуженная хозяйка.

– Вообразите, mesdames, – отвечала та, – мы ехали с ма-машей на тройке, я правила...

– По обыкновению.

– Одна из пристяжных от моего бича лягнула ногой через постромку и пошла чесать. Сани немного на бок, мамаша струсила, вздумала выпрыгнуть, как русалка Леста,²⁴ и пря-мо в снежный сугроб, почти под ноги лошади. С нами только тринадцатилетний мальчик. Я не потеряла головы, остано-

²⁴ *Русалка Леста* – героиня популярной оперы-феерии с продолжения-ми «Днепровская русалка» (1803–1806), музыка С.И.Давыдова, К.А.Кавоса, либретто Н.С.Краснопольского, А.А.Шаховского. Переделка «Дунайской ним-фы» К. Ф. Генслера. Действие пьесы перенесено в условный мир Киевской Руси с элементами сказочной фантастики и фарсовыми комедийными эпизодами. Куп-леты и арии из оперы широко распространились в любительском исполнении.

вила mes fiers coursiers,²⁵ ввела буянку в постробочную дисциплину, усадила мать и, как видите, предстою перед вами.

– Где же ваша мать?

– В вашей спальне. Дайте ей какого-нибудь эскулаповского снадобья. Ce sont des chimères.²⁶

Настасья Александровна пожала плечами и пошла подавать ушибленной возможную помощь.

Приезжие были близкие соседки ее, Бармапутины, довольно зажиточные.

Полина Бармапутина, дочка, бойко подала руку Андрею Ивановичу, поздоровалась с сестрами его, сказала несколько приветливых слов англичанке по-английски, русской гувернантке по-французски, потом, прищуриваясь и нахмурив немного брови, свысока обвела глазами Лизу и Тони.

Андрей Иванович представил ее своим гостям.

Она видела, что Лиза говорила с англичанкой, и обратилась к ней на английском языке.

– Извините, – сказала Лиза, – я плохо говорю по-английски, и потому разговор на этом языке был бы для нас затруднителен.

– И та, другая тоже? – спросила Бармапутина у одной из сестер Сурмина, кивая на Тони.

– Тоже, – отвечала та.

Mademoiselle Бармапутина сделала гримасу.

²⁵ mes fiers coursiers – моих гордых скакунов (*фр.*)

²⁶ Ce sont des chimères – это все химеры, несерьезно (*фр.*)

– Fi! quelle misère!²⁷ а говорили, образованные.

Правда, это замечание было сделано довольно тихо.

Как мамаша ее, так и она метили на богатого женишка Сурмина, он же чувствовал к ним какую-то антипатию.

Новоприезжая, вооружась богатым складным лорнетом и еще раз сделав смотр Лизы и Тони, заметила, что они обе хорошенькие и потому опасные для нее соперницы.

Она обратилась к сестрам-близнецам на английском языке, посыпались, как ей казалось, остроумные заметки насчет москочок.

– Мамаша не приказывает нам говорить по-английски, – сказала Оля, – когда есть в комнате кто-нибудь, кто не понимает этого языка: она находит это неприличным.

Возвратилась в зал Настасья Александровна и за нею, переваливаясь уткой, вошла кряхтя дама лет с лишком сорока, довольно полная, с тупою физиономией; Оля и Тоня бросились к ней и стали с участием расспрашивать о ее ушибе.

– Ничего, немного зашибла плечо, а все эта шалунья-дочка.

– Всегда дочери виноваты, – перебила ее с сердцем Полина. – Вольно же было струсить и выскочить без толку из са-ней.

После обычных рекомендаций старушки Бармапутиной и наших москочок все уселись опять за чайный стол. Дочка по временам в рассыпном разговоре с Андреем Ивановичи-

²⁷ Fi! quelle misère! – Фи! Какое убожество! (*фр.*)

чем, сестрами его и гувернантками старалась парадировать выдержками из Бокля, Дарвина и Либиха. Видно было, что она читала их поверхностно, надо ей было заявить только, что читала. Временами она перебивала мать, горячо спорила с нею, бесцеремонно по привычке покрикивала на нее, не стесняясь выказывала ее во всей ее ничтожности. Мать, покорно смиряясь перед репримандами дочери, смыкала уста и углублялась взорами на дно отпитой чашки, переворачивая ее с боку на бок. Здесь, но чайникам, приставшим к краям фарфора, прозревала судьбу свою и своего единородного деспота.

Дочка в эти минуты смотрела на нее с презрительной улыбкой. Между тем и без чайного оракула можно было предвещать обеим, что одна до конца своей жизни останется тряпкой, а другая, если и выйдет замуж, будет домашним демоном, сведет с ума злополучного супруга, а тот убежит от нее хоть к полюсам.

– Я забыла вам сказать, – обратилась Полина Бармапутина к сестрам-близнецам, – что привезла вам обещанные ноты; прикажите их взять от нашего мальчика.

Тетрадь с нотами была принесена и отдана на рассмотрение Настасьи Александровны. Перевернув листы, она объявила, что музыкальные сочинения в одной части тетради слишком игривы, не ладят с положением, в котором находятся ее гости, а в другой части духовные – не по силам дочерей.

Это были произведения знаменитых maestro: «Прославление Бога» (Die Himmel rühmen) Бетховена, «Молитва» Россини и «Ave Maria» Баха.

– Помилуйте, – заметила Полина, – я их легко играю и пою.

– Сделайте одолжение.

И mademoiselle Бармапутина, желая блеснуть своими талантами, села за рояль и стала играть и петь первую попавшуюся ей пьесу. Жребий пал на Бетховена.

Играла она посредственно, пела так же, слушатели остались равнодушны.

Андрей Иванович, желая, чтобы одна из московских его гостей восторжествовала над самонадеянною провинциалкой, попросил Антонину Павловну сыграть и спеть ту же пьесу. Тони не заставила себя упрашивать. Победа была полная, соперничество уничтожено. Сколько искусства, столько и души вложила она в свою игру и пение! Это была несомненная музыкальная сила. Спела еще без просьбы «Молитву» Россини. Жаркие похвалы, жаркие рукоплескания увенчали ее торжество, к ним невольно присоединила свои и Полина Бармапутина. Скоро, однако ж, мать и дочка, уязвленные в своем самолюбии, распростились с хозяевами.

Приезд этой странной парочки расстроил было семейный кружок, так хорошо сладившийся, и оставил в нем по себе неприятное впечатление.

– Уф! – сказал Сурмин, проводив их. – Вот вам, Лизавета

Михайловна, образчик наших провинциальных эмансипированных девиц.

Лиза ничего не отвечала.

– Жаль, – сказала Настасья Александровна, – девочка неглупая, а напустила на себя дурь.

Далее не было об них разговора; в семействе Сурминых остерегались осуждения. А было что поговорить о Полине. Она была действительно неглупая девочка, но считала себя, со своим английским языком и свитою громких ученых имен, такую умною и образованною, что все, ее окружающее, должно было пасть перед нею безмолвно на колени и восторгаться ею. Надо было видеть, как она свысока смотрела на того, кто осмеливался ей противоречить, с какою олимпийскою важностью смотрела с высоты, нахмутив брови, на своего противника. В провинции она считала себя звездой первой величины, от которой все спутники заимствовали свой свет. Если она щадила сестер Сурмина и его семью, так потому, что имела виды на него.

На третий день своего пребывания в Приреченской усадьбе Лиза и Тони, заполонив сердца жительниц ее, в сопровождении Андрея Ивановича отправились в Петербург. Им надо было явиться в урочный час на местном дебаркадере. Здесь встретилась им небольшая остановка. Московский поезд еще не приходил, прибыл только петербургский. В одном из вагонов сидело до тридцати повстанцев из Царства Польского, взятых в плен в разных сшибках. Это был едва

ли не первый транспорт их, все избранники из самых ярых революционеров. В числе их были два ксендза, схваченные с крестом в одной руке и с кинжалом в другой. Их сторожили двенадцать жандармов и при них капитан. Немудрено, что все бывшие в дебаркадере, в том числе и наши путешественницы со своим спутником, бросились на платформу, с которой можно было близко видеть пленных, не смевших выходить из своего вагона. Они большею частью, казалось, не очень горевали, насмешливо и злобно смотрели на зрителей, то и дело опустошали графины водки и бутылки шампанского, так что жандармский капитан, боясь опасных последствий, не велел служителям гостиницы давать им более вина. Видно, они имели при себе порядочные деньги. Один из них, сидевший у открытого окна с голой шеей, несмотря на сырое время, в гарибальдийской рубашке, видной из-под чемарки, остановил на себе внимание двух московских подруг. Он очень походил на Владислава Стабровского. Такой же красивый, с таким же типом итальянской национальности. Но это не был Владислав. Не брат ли его, Ричард?.. Пленный, вероятно, очарованный прекрасною наружностью Лизы и Тони и трогательным участием к его судьбе, выразившимся в их глазах, приковался к ним и своими. Лиза грустно покачала головой, она думала: «несчастный, у тебя есть, может быть, мать, была, может быть, и женщина, которая тебя страстно любила, и ты покинул их из мечтательной цели, к которой ведут тебя враги России».

Между тем Сурмина встретил на платформе какой-то господин, лет тридцати, с русою козлиной бородкой, и назвал его по имени.

– Вы не узнаете меня, – сказал он, – я Ла...кий, помните, петербургский студент, что хаживал к вам.

– А? Ла...кий! – отозвался Сурмин, – какими судьбами здесь? Уж не...

Он указал на вагон, где сидели повстанцы.

– Вы думаете, из той когорты, нет я из другого разряда. Тех не выпускают из вагона, а я гуляю себе, как видите. Зато тем выдают по 50 копеек в сутки, а мне 15. Хорошо правосудие!

– Свобода стоит чего-нибудь.

– Свобода? нет, не совсем. Видите, за мною, по пятам моим следит жандарм.

Сурмин действительно увидал в нескольких шагах жандарма, не потерявшего Ла...кого из вида.

– Я имею право выходить, где хочу, останавливаться в городах в любой гостинице, но мой сторож со мною везде, днем, ночью, как тень моя.

Ла...кий говорил чисто по-русски, как русский.

– За что ж, про что? – спросил Сурмин.

– Я был посредником в Минской губернии. На меня донесли, что я собираю у себя соседних помещиков и составляю заговор. Я ссылаюсь на жительство в глушь Т... губернии. Тирания!

– А вы хотели бы, чтобы мы потакали вам, ласкали вас, как братья, когда вы нас ругаете, оплевываете, ногтями дерете нашей матери грудь до крови.

– Пойте себе!

И понес Ла...кий сумасбродный вздор о границах польского королевства 1772 года, о польской национальности в Литве, Белоруссии и юго-западных губерниях, словом – все, что проповедовали тогда поляки и, может статься, проповедают теперь, не добывши себе ума-разума своими несчастьями,

– Вы женаты? – спросил Сурмин.

– Нет.

– У вас есть мать?

– Две. Одна дала мне жизнь, другая – моя отчизна. За эту готов я отдать жизнь.

Сурмин не вступал с ним в дальнейшее напрасное состязание. Наконец Ла...кий затормозил горячий ход своих речей и обратился к своему собеседнику с запросом, приправленным медоточивым, вкрадчивым голосом и лисьим, заискивающим взглядом, какие поляки умеют употреблять, когда им нужно что-нибудь выпросить.

– Не знаете ли кого из *тамошнего* начальства?

– Для чего ж вам?

– Я хотел бы по старой дружбе попросить вас замолвить кому-нибудь из тамошних влиятельных, хоть двумя строчками, за меня. Запрут в какой-нибудь Тмутаракани, в глуши

лесов.

– Думаю, что местность в Минской губернии не привлекательнее.

– Все-таки лучше бы в какой-нибудь Ли...е, Мо...е, где полуднее, общество пообразованнее, как бы сказать... вы меня понимаете.

– Если бы я знал кого-нибудь там из влиятельных, так извините, во мне достанет довольно патриотизма – хоть вы, западники, и не признаете его в нас, русских, – чтоб не подать дружески руку врагу России.

С этими словами Сурмин отвернулся от Ла...кого и присоединился к своим спутницам.

– Москва! – злобно процедил вслед ему сквозь зубы минутный его собеседник.

В это время подъехал московский поезд, наши путешественники удобно разместились в одном вагоне. Запыхтел и крикнул дракон-паровоз, ударил третий звонок, и тронулся поезд, один в Петербург, другой в Москву. Многим седокам одного из вагонов последнего лежал путь далеко, далеко на холодный восток.

Лиза во всю дорогу была, видимо, скучна, не развлекали ее ни оживленные разговоры ее подруги и спутника их, ни интересные и смешные сцены, которыми иногда обильны бывают поезда на железных дорогах. Зато Лорина и Сурмин были как нельзя более довольны своим положением. Казалось ему, Тони с каждой станцией хорошела, с каждой стан-

цией более и более притягивала его сердце к себе. Сколько раз мысленно срывал он поцелуи с ее розовых, несколько роскошных губок!

Приехали в Петербург. Лиза умоляла своего спутника не оставаться там более суток, хотя она никогда не видала северной столицы. Все мысли, все чувства ее стремились к последнему пункту их путешествия; надо было ей повиноваться.

Когда они ехали по железной варшавской дороге, то и дело на станциях слышались тревожные слухи, что революция разгорается в Литве и готова вспыхнуть в белорусских губерниях.

Сурмин любил комфорт и привык к нему; мудрено ли, что он не пренебрег ничем, чтобы доставить его своим спутникам. Когда им надо было свернуть с железной дороги на почтовую, их ожидала уже четырехместная карета, заранее туда высланная, в которую они и пересели для довершения своего путешествия.

Вот они в Белоруссии, в городе, который назовем городом при Двине. Совершенно новый край, новые люди! Так как я не пишу истории их в тогдашнее время, то ограничусь рассказом только об известных мне личностях, действовавших в моем романе, и о той местности, где разыгрывались их действия. И потому попрошу читателя не взыскивать с меня скрупулезно за некоторые незначительные анахронизмы и исторические недомолвки и помнить, что я все-таки пишу

роман, хотя и полуисторический.^[7]

II

Нечего говорить, с каким дружеским радушием Евгения Сергеевна Зарницына приняла приезжих. Муж ее отсутствовал. Произведенный в генералы и получив бригаду, он отправился с ней в Литву. Исправный служака, добрый и благородный в полном смысле человек, он был и величайший флегматик во всем, что не касалось его служебных обязанностей и, прибавить надо, любви к жене. Он предоставил ей делать что ей угодно по управлению домом и имением и не мешал ни в каких филантропических затеях, и потому говорили, что он под ее башмачком.

Лизе и Тони приготовлены были две комнаты, одна подле другой, со всеми удобствами, какие могло придумать горячее сердце Зарницыной, а иначе она и любить не умела. Это была женщина, перешедшая гораздо за полдень свой, но живая, бойкая, энергичная не по годам и по тучности своей. Она жаждала всю жизнь свою дела, полезного для ближних, для общества, и без этого дела считала ее прозябанием. Душевный огонь не потухал еще в черных глазах ее; красота, которою она некогда славилась, еще оставила следы на отцветшем лице. Вполне русская, она была и пламенная патриотка. Экзальтация ее, о которой говорил некогда Ранеев Сурмину, была из самого чистого источника. Дай Бог России поболее таких экзальтированных женщин! Проницательный

ум ее умел скоро узнавать людей, и если она иногда пользовалась двусмысленными личностями, так употребляла их, как необходимые, полезные орудия для своих целей.

Сурмин не оставался долго в городе при Двине. Дела призывали его в имение, доставшееся на границе Витебской и Могилевской губернии. Он распростился с обеими подругами и Зарницыной, обласкавшей его как друга семейства Раневых, и потому для нее не постороннего.

– Будете ли помнить меня? – спросил он с чувством Тони, уловив минуту, когда мог сказать ей несколько задушевных слов наедине.

– Еще бы нет, – сказала она с увлечением. Взгляд ее закончил, чего не договорили слова.

– Мне так хорошо было с вами всю дорогу, я был так счастлив, мое сердце так свыклось видеть вас каждый день, что мне тяжело расстаться со своими спутницами.

Тони крепко пожала руку, ей поданную.

Скучнее и грустнее города, куда приехали наши подруги, я не знаю. Когда я жил в нем, он мне казался местом заточения. Когда я в 1854 году, выпущенный из-за решетки его, въехал в Смоленск, я, казалось, готов был облобызать родную землю, на которую ступил, благовест русских колоколов радостно прозвучал в моем сердце, как будто оно хотело пропеть: «Христос воскрес!» Не скажу, чтобы местность города на Двине была неприятна. Напротив того, по своему положению на этой реке, он имел бы живописную

физиономию, если б не накрыла его своим мрачным наметом польская и еврейская характеристика. Русский любит строить жилища свои и особенно храмы Божий на берегах рек и на высотах, чтобы купола этих храмов и шпили их колоколен весело возносились к небу, весело глядели на всю окрестность. В Белоруссии, в Литве, сколько знаю, для церквей и костелов избирают плоские, низменные места, в котловинах, так что они издали не видны. Не говорю о синагогах с неопрятною их наружностью. При въезде в город с московского шоссе, вас встречают пустыри. Незаметно здесь садов, которые в некоторых великороссийских и особенно в малороссийских губерниях в весеннее время облиты цветами и к осени на солнышке играют роями своих золотистых и румяных плодов. А климат здешний, согреваемый теплым дуновением, навеваемым с Балтийского моря, так благоприятен для плодовых произрастаний. Здесь растут пирамидальные тополи и каштаны, неогражденные ничем от зимнего холода. Между тем у нас, в великорусских губерниях, стоящих на одном градусе долготы с белорусскими, они хиреют и часто умирают, хотя их на зиму окутывают в шубы. Еврей – враг земли и всякого тяжелого труда с нею, он не считает ее, как другие народы, своей кормилицей.^[8] Торговля, промышленность, легкие ремесла – вот его стихия. Меркурий – единственный бог, которому он поклоняется, его ухищрения, его уловки знакомы ему с детства. Дайте ему мелкую монету, и он пробежит по вашей комиссии десяток верст, но

за рубль не возьмет заступа в руки. Зато еврей властелин на торговой площади. Посмотрите его там. Тощ, изнурен, в замасленных лохмотьях, но одного слова его, одного взгляда довольно, чтобы белорусский крестьянин шел, делал, куда, что повелевает ему это лаконическое слово, этот магический взгляд. Птичка, от страха перед своим врагом кошкой, бьет крылышками и между тем обвороженная магнетическим током его глаз, притягивается к нему и попадает в его когти. Вы ничего не купите на торгу у белорусского мужичка, если конкурент ваш еврей. Верьте, что мужичок продаст ему за меньшую цену, нежели вам, так он привык верить, что сын Израиля единственный его благодетель в нуждах и сверх того держит ключ к источнику живительной и отуманивающей влаги. Немудрено, что из среды этого народа вышли знаменитые банкиры. А великие музыканты, писатели, врачи ученые?... – спросите вы. Правда, но все эти знаменитости вышли из немецких евреев. Надо, однако ж, заметить, что с недавнего времени проявляются литературные дарования и между нашими русскими евреями. Натура-то даровитая, да погрязла глубоко в своих вековых, религиозных и бытовых заблуждениях и придавлена роковым ходом истории. Они ждут своего Мессию, а *этот* Мессия подле них – *просвещение*. Стоит только отдаться ему всем сердцем.

К пустырям примыкает торговая, грязная площадка, окруженная корчмами. От знакомства с ними да избавит вас Бог. Затем начинается главная улица. Можете иметь поня-

тие о ней по главным улицам наших уездных городков, да и некоторые из этих городков перещеголяют здешний, губернский. Каменных домов очень мало, и те невзрачной архитектуры, русский собор довольно величественной наружности, две-три русские церкви, в том числе единоверческая, и костел, затем несколько деревянных, нечистых жилищ евреев – вот вам и первенствующая улица. К концу города опять грязная и безобразная торговая площадь и примыкающие к ней жалкие домишки евреев, в окнах которых вместо стекол красуются грязные тряпицы. А чтобы вымостить ее и обсадить деревьями, никто и не подумает. Все это довершают каменные здания больницы и острога. За рекой такие же еврейские жилища и опять болотная, торговая площадь. Прибавьте к этому по сию сторону реки руины древнего католического монастыря. Говорят о вокзале в городе, я его не видел. Правда, есть на берегу Двины аллея древних пирамидальных тополей перед высоким зданием начальника края, но эти пирамидальные тополя стоят уныло, как тюремные стражи, поднимающие к небу пики своих остроконечных вершин. На этом месте, которое могло бы быть приятным народным гуляньем, вы не увидите никого, кроме редких прохожих. Если бы продлить город еще на несколько верст и заселить его такими же обывателями, каких он ныне имеет, он все остался бы таким пустынным, грустным городом, как он есть или по крайней мере был в мое время. И все оттого, что в нем нет людей-братьев, нет никакой общественной связи. Поля-

ки держат себя особо, евреев не принимают в польские и русские общества, служащий русский люд как будто во всякое время на отлете восвояси.

Самая река смутно шлет к северу свои желтоватые воды; изредка пробежит по ним торговое судно или плот с лесом, или мелькнет рыбацья лодка.

За городом с западной стороны, верстах в двух, есть восхитительная местность на высоком берегу Двины. В другом краю она, наверно, оживлена была бы веселыми группами гуляющих, но здесь посещают ее только изредка *благородные* аматеры прекрасного в природе. В поездке моей туда поразили меня покачнувшиеся деревянные распятия на обнаженном поле с развевающимися клочками ткани вроде юбок, как будто ксендзы, старающиеся о постановке в наибольшем числе подобных крестов, не могли бы придумать для святыни более приличной обстановки. С восточной стороны города, начиная от острога, тянется на многие и многие версты березовая аллея. Как и все, насажденное рукою мудрой Екатерины, ее не могло сокрушить и столетие. Подобные аллеи и каменные пирамидальные версты вы увидите до сих пор в белорусских губерниях.

В одно утро из дней, следовавших за приездом московок (это было воскресенье), вошла в комнату Лизы Евгения Сергеевна и притворила за собою дверь.

– Я пришла, – сказала она, – поговорить с тобою, мой друг, о многом, что должно тебя сильно интересовать. Мы теперь

Одни.

– А Тони?

– Пошла к обедне в единоверческую церковь.

– В единоверческую? Что за фантазия!

– Любопытство слушать тамошнее служение и помолиться всем нам общему Отцу. Да, говорит, там будет, вероятно, поменьше народу. Поменьше? Все наши русские церкви обыкновенно пусты, между тем костел во время утреннего и вечернего служения и в простые дни битком набит. Обедня в единоверческой церкви тянется долго, и мы будем иметь время келейно побеседовать с тобою о *материях* важных и очень важных.

– Буду слушать сердцем.

– Во-первых, начну с дедушки твоего Яскулки, от него же идет источник ваших семейных несчастий.

– Жив он? Знает ли о смерти отца моего? Так же ли преследует, хоть речами, мертвых, как преследовал живых?

– Все расскажу по порядку, душа моя. Я писала тебе, что поставила себе долгом стоять в здешнем краю на страже русского дела. Не пренебрегаю никакими средствами, чтобы служить ему, сколько достанет у меня разума, энергии и, пожалуй, лукавства. Для этого дела не обошла я и деда твоего. Познакомилась с ним, езжу к нему, оказываю ему всевозможные знаки уважения, а это ему льстит, и поддельваюсь под его сумасбродный характер. С начала нашего знакомства я заставляла его всегда над документами, которые не

переставал он отрывать в архивах и которые, по мнению его адвоката, могли служить доказательством его дворянства. На этом пункте он помешался. И какого завидного звания добивается! Я знаю здесь кухарок-шляхтянок, кучеров-шляхтичей. Доставалось в разговорах об этом предмете отцу твоему. Разумеется, я оправдывала его, не раздражая, однако ж, безумного старика. Тут польская интеллигенция разыгралась в Царстве Польском, стала перебираться в Литву и здесь подняла свою драконовскую голову, набитую мечтами о восстановлении польского королевства в пределах 1772 г. Яскулка спрятал свои акты в сундук. Явились у него новые мечты. Он вынул из заветного шкапа боярский панцирь своего прадеда, счистил с него ржавчину и стал приготавливаться к встрече будущего пана круля, который при этом случае должен будет возратить ему утраченное шляхетство. В это время был убит брат твой, вскоре умер и отец. Я поспешила передать Яскулке эти роковые вести, прибавив, что покойник до последней минуты своей жизни помышлял о мире с ним, говорил, что всегда любил и уважал его, как отца своей дорогой Агнесы. Тут же описала твое сиротство, твою красоту, твои душевные достоинства. Старик был, видимо, поражен этим известием. Раскаяние ли, что он был виноват перед дочерью, против своего зятя, против тебя, или сожаление о твоей участи выжали несколько слез из глаз этого черствого, помешавшегося старика. На целую неделю он заперся в своей берлоге и никого не принимал. Я уведомила письмом

«многоуважаемого пана Яскулку», что ты должна скоро приехать сюда и остановиться у меня. «Я хочу *ее* видеть, – отвечал он, – все-таки течет в ней кровь Яскулки». Ты должна его видеть, он живет в десяти верстах отсюда.

– Да, я поеду к нему, помирю его хоть с мертвыми.

– На днях попросил он меня к себе. Я застала его очень грустным, сильно одряхлевшим. Старик, который еще не так давно таскал со своими работниками кули муки в амбар, едва держал дрожащими руками чашку чаю. Не было более помину о польском круле, казалось, он забыл о своем шляхетстве. Все помыслы, все чувства его сосредоточились на тебе. И знаешь ли, что задумал странный старик, какие он имеет на тебя виды?

– На меня виды? Уж не политические ли?

– Более – фамильные. Ты изумишься его планам. Старик богат, самых близких родных у него нет...

– Не думает ли, что я, при всей своей бедности, прельщусь его наследством, стану искать его благосклонности, его любви из корыстных видов. Они были всегда противны моему сердцу.

– План ему принадлежит, у тебя есть свой разум, своя воля. Твое дело согласиться с ним или нет. Слушай же меня. Ближайший ему родственник, хотя и в третьем колене... не скажу пока его имени, чтобы помучить тебя. Яскулка желает, чтоб ты отдала ему свою руку, и тогда отдаст вам все свое состояние с тем, чтобы вы приняли его фамилию.

– Я? Мою руку? Не зная нареченного? Не любя? Никогда.

– Ты его любила, может быть, и теперь еще любишь.

– Неужли это?..

– Владислав Стабровский.

– Он, опять он. Да, я его любила вопреки моему рассудку, моему долгу.

– А теперь?

– Перед смертью отца я дала ему клятву, что враг России никогда не будет моим мужем. Повторяю и теперь тебе, моей второй матери, эту клятву и исполню ее, хотя бы пришлось мне разбить мое сердце о судьбу свою.

– Если он, в самом деле, действует против России, я сама стану между ним, тобой и дедом твоим. И если б ты была слабая, рядовая женщина, каких много, готовая увлечься страстью до того, чтобы забыть свой долг, я сама предала бы тебя общественному позору. В глазах моих ты была бы ниже девушки, которая продает себя из нищеты. Но теперь я говорю с моей дочерью. Знаю твой твердый характер, знаю, что ты скорее погибнешь в душевных муках, чем увлечешься сердечною слабостью. Не совратить тебя хочу с твоего благородного пути, а сделать орудием патриотического подвига. Мы исполним его, не так ли? А если не успеем, да будет воля Божья. Ты описывала мне историю своего сердца в борьбе с рассудком и долгом, ты вышла из этой борьбы с торжеством, ты исполнила свои обязанности как дочь. исполни их теперь как русская патриотка. Еще вот что скажу тебе. Мать Влади-

слава, сколько мне известно, имела замыслы в здешнем крае против России, жертвовала для своих целей и своим состоянием, и двумя сыновьями. Ричард пропал без вести, вероятно, погиб в какой-нибудь схватке с русскими или на виселице. Владислав, если и приехал сюда по воле матери для каких-нибудь революционных замыслов...

– Именно для них, он мне об этом писал.

– Так он играл в них, вероятно, пассивную роль. Вызвана же она была твоим холодным письмом. Ты отвергла его любовь, и он от отчаяния повиновался воле матери. Слышно, что он часто ссорился с нею из политических видов, отказался от богатой невесты-красавицы, которую она ему предлагала. Думаю, он еще ни к чему решительному не приступил.

– Может быть, еще не время...

– Ничего этого не ведаю. Знаю только, что обстоятельства изменились. Мать, услышав, что за ней зорко следят, что замыслы Мерославского, ее патрона, с братией не удаются, потеряв с Ричардом горячего исполнителя своих патриотических затей, видя их холодную поддержку в Владиславе, умерла, говорят, от разрыва сердца.

– Умерла? – вырвалось из груди Лизы. – Умерла? – твердила она.

Она впала в глубокую задумчивость и через две минуты подняла голову.

– Боже! – сказала она, подняв к небу глаза, – укажи мне правый путь мой. Отец, внуши мне с того света, что я должна

делать. Не поздно ли? Любит ли *он* еще меня?

– Я за это ручаюсь. Я познакомилась с ним у твоего деда, он бывает у меня.

– И что ж?

– Из слов Владислава, хотя осторожных, узнала я, что он тебя любит по-прежнему, с силою страсти, к которой только способен энергический, пылкий его характер, что одного слова надежды в ответ на его письмо было бы достаточно, чтобы он остался в Москве. Я уверена, что он и теперь готов на жертвы, если только ты...

– Люблю ли я его? Да, я его люблю и теперь, если он не посягнул на дела, враждебные моему отечеству.

– Испытай его.

– Испытаю.

– Хочешь ли его видеть?

– Хочу непременно. Видно, настал мой час, судьба готовила меня к нему.

Глаза Лизы горели огнем вдохновения, щеки ее пылали. В эти минуты она походила на портрет Жанны д'Арк, когда та шла на битву с врагами Франции.

– Как ты теперь дивно хороша, Лиза, – сказала Зарницына, горячо поцеловав ее. – Какой божественный огонь горит в глазах твоих! Если б на моем месте был молодой мужчина, он пал бы к ногам твоим, и нет жертвы, который бы не принес тебе. Теперь, дитя мое, успокойся и возвратимся опять к деду твоему. Я сказала ему, что планы его могут состоять-

ся, если только Владислав не замешан сильно в каких-нибудь революционных замыслах. Между тем направила его мысли о дворянстве в другую сторону. «Сообразите, – говорила я ему, – ничтожность нынешней революции, без регулярного войска, без оружия, без денежных средств. Сравните силы ее с силами русского государства. Печальный исход ее можно предвидеть. Дайте другое направление вашей политике. Вы – сила в здешнем крае, – прибавила я, желая польстить его самолюбию, – употребите ее на пользу русского дела. Тогда, поверьте мне, дворянство придет к вам само собой, без хлопот». Старик, казалось, был убежден, он обещал мне подумать немного и дать мне решительный ответ. Ты докончишь, что я начала. Еще несколько слов о моих патриотических затеях, ты должна их знать. Я писала тебе, что отец твой прислал мне доверенного человека.

– Что это за личность? Отец не говорил мне никогда о нем.

– Знаю только, что он русский купец Жучок из Динабурга. Он открыл мне, что доставлял через евреев для Эдвиги Стабровской холодное и огнестрельное оружие. Этот воинственный запас хранился в недостроенном костеле, в имении ее, на границах Витебской и Могилевской губерний. Но, вероятно, опасаясь, чтобы его не открыли в этом месте, перевезли в другое, какое – еще не знаю. Жучок обещал мне сыскать след к нему.

– Вот видишь, Владислав уже участник в революционных замыслах против России.

– Если бы этого ничего не было, не было бы теперь и жертвы с его стороны, с твоей стороны – подвига. Чем больше жертва, тем выше подвиг. Мы, однако ж, не упустим этого обстоятельства из виду. Если ты не убедишь его изменить делу, которое затеяли мать его и ее сподручники, так мы накроём эти революционные затеи.

– И тогда?

– И тогда Владислава ожидает позорная казнь: его расстреляют или повесят.

– Боже! Не допусти его до такой позорной смерти.

– Думаю, в твоих руках его судьба и, может быть, судьба здешнего края.

– О! Если бы это так было!

– С другой стороны, Жучок действует на бывших крестьян Платеров. Это раскольники – стража русского духа в здешнем крае, она охраняет его от полонизма. Живут к северу Витебской губернии, разбросаны и по другим местам ее. Народ трезвый, фанатически преданный своей вере.^[9] Они зорко следят за всеми действиями панов. Жучок, хитрый, лукавый, не упускает случая, чтобы выведать о польских затеях. Есть еще у меня один человек, поляк Застрембецкий, враг поляков.

– Поляк и враг поляков?

– К этой вражде привели его обстоятельства его жизни. Он служит мне, как самый преданный из людей. Из ненависти к своим соотечественникам он готов для русского дела

положить свою голову. Я сообщу тебе его историю. Застрембецкий родился в Царстве Польском. Приготовясь дельным, основательным учением, он поступил на службу в артиллерию. Отец его был богатый человек, но отъявленный игрок, под конец своей жизни проигрался начисто, застрелился и оставил сыну только прекрасное воспитание. Мой Застрембецкий, как слышно, отличный математик, – я в этом не судья, – говорит на языках русском, французском, немецком и итальянском, как на своем родном. Приятный музыкант, стрелок, каких мало... Ты знаешь, я хорошо стреляю из пистолета, но состязаться с ним не могу. Из пяти раз в пятнадцати шагах я попадаю однажды в очко туза, – он вырезает сердце его пулей всякий раз. Одним ударом кончает партию на бильярде. В мазурке нет ему соперника. Ловкий, умный, с красивой наружностью, он приобрел себе в обществе офицеров имя приятнейшего товарища, в обществе нашего пола – сокрушителя женских сердец. Вот его блестящая сторона. К сожалению, должна сказать и о темной. Это смесь рыцарского благородства, доброты души до самоотвержения. Он готов отдать бедному часы свои, последнюю рубашку, заложить себя за товарища в нужде, но не затруднится передернуть карту, если играет с зеваками. «На то и щука в море, – говорит он, – чтобы карась не дремал». Надо сказать, что с товарищами по службе он играет честно, они в этом уверены. Привыкнув при отце жить в довольстве, даже сорить деньгами, в которых тот ему не отказывал, он после смерти его

сел как рак на мель и, чтобы выпутаться из нужды, пустился в разные обороты, часто неблагоприятные. Нет у него, бывало, ни копейки, – займет, перед торгом за заставой скупит разные съестные припасы, делается монополистом и через доверенного еврея продает скупленный товар по какой цене хочет. Завтра задает товарищам пир. Евреи боятся его и любят. В двух-трех, попеременно, масонских ложах он занимал видные степени. Поляк, он сделался врагом поляков по следующему случаю: Застрембецкий страстно любил одну благородную девушку, родители отказали ему в руке ее, он ее увез. Она платила ему такую же безграничную любовью. Связь их была незаконная. У них было дитя. Но между ними стал фанатик-ксендз, представил оболыщенной муки ада, ожидающие ее за ее проступок, и увлек ее в монастырь. Дитя пропало без вести. Застрембецкий поклялся мстить человеку, лишившему его любимой женщины и ребенка его. При выходе ксендза из костела он затеял с ним ссору и ударил его всенародно по лицу. Братья по отчизне и масонству, свидетели этой сцены, готовы были растерзать его. Преступление не могло остаться без законного наказания. Застрембецкий, разжалованный в солдаты, хотя и с выслугою и не лишенный дворянства, поступил под начальство моего мужа. Нечего говорить, что муж мой и общество русских офицеров, зная его несчастную историю, стараются всячески облегчить его участь. Недавно произведен он в унтер-офицеры и потом в фельдфебели; есть надежда, что ему скоро воз-

вратят офицерский чин. Со времени, как я взяла его в руки, он бросил свои нечистые спекуляции и сделался благоразумнее. В нужде он знает, что мой кошелек для него всегда развязан. За то и любит меня как сын и платит мне неопценными услугами, для меня готов в огонь и в воду. Поляки ненавидят его, почитая предателем польского дела и изменником отчизны. Они готовы всеми средствами погубить его языком, кинжалом, огнем. Да, огнем. Когда он квартировал в одной белорусской деревне, в полночь подожгли избу, в которой он спал. Но солдаты его взвода, преданные ему, любящие его русскою, простою, горячею любовью, вытащили его невредимого из пламени. В другой раз его было отравили. Как нарочно, в деревню, где он квартировал, на это время приехал полковой лекарь и успел спасти его от смерти. С того времени ненависть его к своим врагам и врагам России сильнее возгорелась. Он следил за действиями их, как коршун за своей добычей, он чует, кажется, струю воздуха, напитанную революционными миазмами. Перед походом мужниной бригады он заболел и остался в здешнем лазарете или, лучше сказать, при мне. Ныне он уведомил меня, что в костеле, во время обедни, будут говорить революционную проповедь, петь революционные гимны. Таково настроение здешнего польского общества.

– Что ж делает здешняя администрация?

– Пока молчит. Полагает, что кроткими мерами образумит потерявших голову, но готова принять строгие меры,

если эти манифестации усилятся. Вот, слышишь, жалобно запищали колокола здешнего костела. Посмотри из окна, сколько валит в него народа.

Лиза подошла к окну и увидела толпы мужчин и женщин, вторгающихся в католический храм, как широкий поток, который образуется из мелких струй, стекающих в него из всех концов города.

В голове Лизы от разговора ее с Зарницыной бродили неопределенные, мечтательные мысли, только одна сквозь хаос их блестела ярким лучом – мысль обратить Владислава на путь истинный и тем отвратить от него позорную казнь и от здешнего края многие бедствия. Замыслы матери его и революционеров представлялись ее воображению в гигантских размерах. Собеседницы продолжали говорить о современных происшествиях, как в комнату, где они сидели, отворилась дверь, и явилась перед ними Тони, бледная, дрожащая; грудь ее сильно колебалась.

– Что с тобою? Что с вами, Антонина Павловна? – спросили в одно время Лиза и Евгения Сергеевна.

– Дайте мне немного успокоиться, собраться с духом, – отвечала Тони, садясь на первое попавшееся ей кресло.

Придя в себя, она рассказала, что с ней случилось.

– Возвращаясь домой из единоверческой церкви, я зашла в костел послушать католическое служение. Я села на первую скамью, недалеко от входных дверей. Народу в церкви было до удушья. Мужчины были в старинных польских одеяниях,

женщины – все в глубоком трауре, на головах их блестели мелкие серебряные бляхи с изображением польского орла. Так как я была в трауре, то сначала никто не обратил на меня внимания, но потом взгляделись в меня. Заметив, вероятно, что у меня на голове не было революционного знака и что я молилась не по-ихнему, стали кругом меня перешептываться, кидать на меня зловещие взгляды, нахально кивать головой. Между тем ксендз говорил какую-то громовую проповедь, в которой, сколько могла понять, уловила несколько враждебных России слов. Вслед затем все бывшие в костеле запели гимны. Когда народ хлынул из костела, окружавшие меня женщины стали меня теснить, толкать локтями в бока и до того меня прижали, что я едва могла дышать. Кругом меня раздавались голоса: «русская шпионка»! Я готова была упасть в обморок. Не знаю, чем бы это кончилось, если б сквозь толпу не продрался красивый молодой человек, который стал горячо убеждать оскорблявших меня, потом, обратясь ко мне, сказал:

– Дайте мне вашу руку, Антонина Павловна: я вас защищу от этих безумных патриотов. – Это был Владислав. – Я подала ему руку, – продолжала Тони, – он проводил меня до здешнего дома, шагов с двадцать не более будет.

– Вот, – сказала я ему, – дорогой, ваша польская цивилизация, которой вы так хвастаетесь!

– Что ж делать, – отвечал он, – дух времени.

– Приличный только грубому народу, дикарям. Вы счита-

ете нас, русских, варварами, но в каком темном уголке России посягнут на оскорбление католички-польки, если б она вошла в православную церковь?

– Фанатический патриотизм доводит их до безумия, – отвечал Владислав. – Кончится дурно, кто образумит их теперь? Прорвалась плотина, и ничем не удержишь бешеных вод, пока не устроится новая. – Тут обратил он речь на смерть брата твоего, Лиза, на смерть отца.

– Сколько должна была выстрадать Лизавета Михайловна, – прибавил он.

– Что до меня, то я со времени, как оставил Москву, не знал ни одного радостного дня.

Когда мы подошли к подъезду, я предложила ему зайти к нам.

– Не смею теперь, – сказал он, – но если Лизавета Михайловна позволит, в другой раз.

Как я заметила, он ужасно похудел, глубокая грусть видна на его лице.

Тони, своим рассказом, стряхнув прах со своих сандалий или, проще сказать, желчь, накипевшую в голубиной груди ее, бросилась к Евгении Сергеевне и просила у нее извинения, что встревожила ее своими похождениями.

– Стоило бы вас немножко пожурить, Антонина Павловна, – сказала Зарницына, поцеловав ее, – да я и сама виновата, что не предупредила вас быть осторожнее в теперешние времена.

Какое впечатление сделал рассказ Тони на слушательниц, осталось тайною их.

III

Когда Владислав, прошедшею осенью, простившись с Лизой, выехал из Москвы, разнородные чувства разрывали его сердце на части. В минуты досады на нее, на отца ее, в минуты какого-то бешеного исступления он решился на безумное дело. Еще бы увлек его горячий патриотизм, а его и не было. Он видел всю тщету задуманных его компатриотами замыслов, он понимал, что все планы их – неосуществимые мечтания, бред разгоряченных умов, возбужденный врагами России, желавшими только смут в ней, чтобы ослабить ее возрастающее могущество. «Говорение, одно говорение, – думал он, – а дойдет до дела, все эти планы рассыплются в прах». Обожаемую им Лизу потерял он навсегда. Слепленный, разве не мог он убедиться, что она его любит, что одни обстоятельства, воля отца заставляли ее скрывать настоящие чувства? Почему ж он не послушался ее, когда она, прощаясь с ним, так задушевно убеждала его остаться, не уезжать? Если бы Лиза не любила его, она довольна была бы, что он оставляет Москву. Разве это не был залог прекрасных надежд? Соперника у него не было, в этом он убедился. Разве он не мог, не раздражая безумными выходками благородного старика Ранеева, который оказал ему столько добра, дожидаться более благоприятных обстоятельств? Но дело уже сделано, он дал клятву жонду служить ему, прошедшего не

воротись.

Невольник своей присяги, Владислав ехал по Смоленской дороге. Со станции, против Бородинского поля, он видел памятник, поставленный во славу России, боровшейся с громадными силами двадцати народов и величайшего генерала-полководца. Под Красным такой же памятник. Не с бродячими шайками повстанцев имели тогда дело русские, не с какими-нибудь Мерославскими, Жвирждовскими и Машевскими! Не отворили они победоносному неприятелю дверей своей столицы, сожгли ее, испепелили свое сердце и из пепла возродились еще сильнее. Такой ли народ испугается угроз из-за угла палатских стен и трибун клерикальных ораторов?.. Много крови будет вновь пролито, много падет жертв. Бедная отчизна Польша! Разве мало обогрелась ты ею? разве мало уже падало жертв?

По дороге все было тихо мертвенной тишиной. Будущую весну должна кругом разразиться революционная гроза и облечь здешнюю страну кровавым саваном.

О! кабы скорее окутала и его самого.

Эдвига Стабровская ожидала сына с нетерпением и при первом свидании с ним осыпала его самыми нежными, горячими ласками. Недолго, однако ж, дала она волю чувствам матери, патриотическое увлечение скоро заняло их.

– Исполняя вашу волю, я приехал сюда, – сказал Владислав, – приказывайте, мне остается только повиноваться. Готовы ли войско, оружие, деньги?

– Все припасено будет ко времени, мой милый пулковник, когда получим пароль действовать, – отвечала Эдвиг.

– Худой я полководец. Всю жизнь свою держал перо в руке, меч для меня оружие непривычное.

– Есть оружие острее всех мечей, убийственнее ружей и пушек, – это любовь к отчизне, а мы с тобою и Ричардом не имеем в ней недостатка. Падете вы оба, я сама явлюсь на поле битвы. Будет рука моя слаба, чтобы поражать врагов, поведу, по крайней мере, своих воинов против притеснителей моей отчизны и одушевлею их собственным примером. Не в первый раз Польша видела своих дочерей во главе полков!

И стала Эдвига развивать свои патриотические планы и надежды. Владислав повторял только, что он покорный исполнитель ее воли и готов умереть за дело отчизны.

Начались съезды польских панов, посвященных в тайны заговора и участников в нем, начались обеды, пиры. За столом приборы были из польского (фальшивого) серебра: настоящее, русское, пробное серебро, которого у богатых помещиков были пуды, хранилось в глубоких тайниках земли или стен. Так продолжалось во все время польской революции и даже после нее, потому что распущены были слухи, что русское правительство станет отбирать серебро и выдавать за него кредитные билеты. Под этим благовидным предлогом, Эдвига, близкая к совершенному разорению, заложила свою серебряную посуду евреям. Явились на съездах знакомые уже нам лица: вечный запевала в спорах Суздилович со

своими тараканьими усиками и арбузным брюшком, свирепый Волк, пан в колтуне, несколько других помещиков, офицеров, дробной шляхты, мелких чиновников из Витебской губернии, студентов и даже гимназистов. Много говорили, еще более ели и пили. Часто вспыхивали раздоры, иногда от безделицы, из покроя платья, шитья на нем, знаков отличия по должностям в жонде. Раздоры эти доходили бы до ножей, если бы не умирляли пыла горячих патриотов присутствие и убеждения хозяйки. Посвящалось, однако ж, офицерами время, под предлогом охоты за зверями, на упражнение разного навербованного сброда в стрельбе, понимании команды и военных эволюциях. Охоты эти приучали повстанцев к травле за русскими. Отважные и ловкие стрелки, умные доезжачие получали денежные награды. Не забыты были и холопы. С ними паны стали обращаться гуманнее, сократили их работы и не посылали на панский двор по воскресеньям постучать топором, обещали им даровые земли, если они будут преданы своим господам. Но добродушные белорусцы, смекая в этих приманках что-то недоброе, не очень поддавались им, были себе на уме. Сделан был, как мы уже видели, через Жучка подряд на косы, вилы, топоры, охотничьи ружья, порох. Надежды были великие, росли, казалось, с каждым днем. Жвирждовский не дремал в Могилевской губернии, ксендз Б. в Антушевском приходе воспламенял полек своими проповедями до того неосторожно, что русское правительство вынуждено было выслать его в одну из внутрен-

них губерний России. Собрат Жвирждовского по генеральному штабу, Машевский, организовал заговор в Минской губернии. Под начальством Владислава образовалась сильная банда, которая должна была выступить из витебских лесов и ударить на неприятеля, если б могилевские шайки оплошали. Ожидали с нетерпением весенних дней, когда железо сошников будет раздирать грудь земли и деревья станут наигрывать почки.

Между тем Эдвига замечала, что в сыне ее Владиславе не было тех горячих патриотических увлечений, которых от него ожидала, действия его были вялы, на пирах он был угрюм и молчалив. Волк подшучивал над своим приятелем, говоря, что «Москва надломила его и уроки Пржшедиловского, видно, не пропадали даром».

– А знаете ли, пани Эдвига, – прибавлял Волк, – ваш сын передал мне кинжал, который вы ему некогда подарили.

– Он перешел в достойные руки, – отвечала она.

– С тем, – заметил Волк, – чтобы он упился кровью изменника, если бы изменник между нами оказался.

– Не пощадите в таком случае и моего сына.

Владислав угрюмо молчал. Стабровская подозревала, что он еще грустит по своим московским привязанностям, и старалась развлекать его обществом хорошеньких, ловких, увлекательных соседок. Даже одну из них, блестящее созвездие среди светил Белорусского края, которую она особенно любила и за которую многие безнадежно сватались, предло-

жила ему в супруги, уверяя его, что красавица к нему неравнодушна.

– Время ли теперь думать о женитьбе, – говорил Владислав, – когда мы готовимся к битвам? Не для того ли, чтобы, прожив несколько недель с женою, оставить после себя молодую вдову? Вы сами говорили, что мы – крестоносцы, давшие обет освободить родную землю от ига неверных, и ни о чем другом не должны думать. Прошу вас о невестах мне более не говорить.

И не было более помина о невестах. Но случилось, что он оспаривал слишком фанатические надежды ее, говорил, что многие планы заговорщиков построены на песке, что они могут разрушиться, когда Россия встанет со своими могучими силами на борьбу с ненадежными силами польской интеллигенции. В спорах у матери с сыном дело доходило до серьезной размолвки. В это время конфиденты уведомили ее, что русская полиция начинает зорко следить за нею, что в самом доме у нее есть изменники. Эдвига стала подозревать верных ей доселе слуг и экономов, сделалась раздражительна, выходила нередко из себя, начались гонения. Один из ее конфидентов, Жучок, желая из своих целей выиграть ее доверенность и замаскировать свое предательство, дал ей знать под глубокой тайной, что депо оружия, стоившее ей так дорого, небезопасно хранится под склепом недостроенного костела. Надо было перевезти это депо в другое надежное место. На это требовались большая осторожность и глу-

бокая тайна. Кому ж поручить это дело, как не сыну и Волку? Волк и сын не могли изменить ей. Ночь окутала транспорт своим черным покровом, дремучий бор принял его в свои недра. Молчание людей, перевозивших ящики и тюки с оружием, большею частью евреев, куплено золотом и страхом мучительной смерти. По проселочным дорогам, по которым ехал транспорт, жители деревушек, отдаленных друг от друга озерами, болотами и лесами, спали глубоким сном. Да если бы кто из этих жителей, разбуженный шумом проезжавших мимо его хаты саней, вздумал взглянуть в щель своего окошка, так и тот сказал бы только, махнув рукой: «Не наше дело, знать, евреи везут контрабанду».

Сердце Эдвиги было, однако ж, не на месте. Вслед за тем до нее секретно дошла роковая весть, что Ричард погиб... как, никто, наверно, кроме нее, не знал. Она уведомила своих друзей, что он убит в Царстве Польском в сшибке с русскими. Наружно разыгрывая роль героини, Эдвига старалась казаться спокойной, говорила, что гордится, счастлива, пожертвовав сына отчизне. Но душа ее была сильно потрясена; вскоре разочлась она со всеми земными замыслами и навсегда опочила от них.

В таком положении были дела Владислава, когда приехала Лиза в город на Двине. Любовь к ней не угасала в разлуке, она разгорелась еще сильнее со смертью ее отца, со смертью его матери, неурядицами и несогласиями, возникавшими между заговорщиками. Патриотизм его был невольный,

машинальный. Стоило только сильному толчку сбить его. Слово любимой женщины могло быть этим толчком. Планы Яскулки развернули перед ним новый свиток прекрасных надежд. Он старался познакомиться с Евгенией Сергеевной, о связях которой с семейством слышал от него. Добиться, во что бы то ни стало, свидания с Лизой было неперенным его решением. Он метался мыслями и чувствами то в мир блаженства, то в мрачную будущность, ожидавшую двойного клятвопреступника. Изменив однажды России, он уже сердцем изменил клятве, которую дал жонду.

Лиза пожелала скорее видеть своего деда и на другой же день секретного разговора с Зарницыной поехала к нему. Старик был предупрежден о ее приезде. Как забилося сердце ее, когда она завидела скромный дом его среди плодовых садов, с одной стороны, длинных амбаров и служб, с другой и многочисленной семьи пирамидальных скирд, ровных, гладких, будто отесанных топором. За домом видна была Двина, сбросившая уже с себя ледяные оковы. Порог *Пурга* запевал свою шумную песню. На дворе стоял высокий столб, на вершине его красовались бархатная малиновая шапка и свитка с шелковым кушаком. Когда экипаж Лизы въехал на двор, несколько десятков крестьян и крестьянок, большие и малые, в праздничных платьях, встали с бревен, на которых сидели. Мужчины сняли свои белые валеные шапки в виде гречников, все низко поклонились. Сам Яскулка ожидал свою внучку у дверей в сени и встретил ее, по русскому

обычаю, с хлебом и солью. Лиза пала перед ним на колени и поцеловала, его руку; он с горячностью принял ее в свои объятия и повел в покои.

По портрету панцирного боярина, хранившемуся столько лет у Ранеевых, Лиза привыкла воображать своего деда таким, каким он изображен был на холсте, с черными, огненными глазами, проницающими насквозь, с пышным лесом черных волос, падающих на плечи, с прямым, гордым станом. И что ж теперь наяву осталось от этой воинственной фигуры? Сгорбленный старик, с мутными, покрасневшими глазами, с обнаженным, как ладонь, черепом. Огромные усы побелели и пожелтели, на них дрожали слезы. И вот, этот гордый панцирный боярин, вместо того, чтобы на рьяном коне встречать польского пана круля, встречает с нежностью, с любовью хорошенькую внучку, приехавшую из ненавистной ему доселе Москвы. Он почитает себя счастливее любого пана круля; так изменились обстоятельства.

– Внучка, милая внучка, мое дорогое дитя, моя яскулка (моя ласточка), дай мне насмотреться на тебя, – мог он только сказать, утирая длинные усы, на которые капали слезы.

Казалось, все нежные чувства, которых лишен был Яскулка в продолжение своей жизни, притекли разом к его сердцу. Он ставил Лизу к солнечному свету, чтобы лучше разглядеть ее. Не ожидала она такого приема и в восторге от него расточала деду самые горячие ласки. Наконец, он усадил ее на почетное место дивана и сел против нее в креслах.

– Безумный, – говорил он, – я так долго не знал этого сокровища, не мог оценить его. Слушай, Елизавета, счета наши с твоим отцом тянулись слишком долго. Кончаю их, хоть и поздно. Виноват я был перед ним, перед твоею матерью; сильно каюсь в этом. Прости мне, добрая моя Агнеса, прости, Михаил Аполлонович. Не взыщите с меня на страшном суде и, когда явлюсь перед вами, примите меня с миром.

И плакал старик горячими слезами.

– Как радуются отец и мать вашему примирению с ними! – сказала Лиза, схватив руку деда и целуя ее.

– Розалия! – крикнул он, и на этот зов явилась благовидная, с добрым лицом, старушка, в широком чепце безукоризненной белизны, отороченном кружевцами. – Это моя экономка, шляхтянка, живет у меня с лишком двадцать лет, – сказал Яскулка, указывая на вошедшую. – Сколько раз советовала она мне помириться с твоим отцом, но я не слушался ее, сколько терпела за это от меня!

Потом, обратясь к экономке, промолвил, указывая на Лизу:

– Это моя внучка, Елизавета Ранеева, дочь генерала. Посмотри на нее, полюбуйся. Видела ли ты в здешнем краю что-нибудь краше?

Экономка, скрестив руки, благоговейно смотрела на внучку Яскулки, дочь генерала, как будто пораженная ее красотой и величием.

– Словно ангел слетел в нашу обитель, – промолвила, на-

конец, Розалия и бросилась было целовать руку у Лизы, но та не допустила до этого и сама горячо обняла.

Яскулка властительно дал знать рукой экономке, чтоб она удалилась, и когда та вышла из комнаты, сказал Лизе:

– Евгения Сергеевна, конечно, говорила уже тебе, какие замыслы имею я на тебя.

– Говорила.

– Владислав Стабровский любит тебя, он тебе пара, я стар, гляжу в гроб... Мое желание, мое лучшее утешение в последние дни моей жизни было бы видеть вас мужем и женою... Все имение мое завещаю вам с тем, чтобы вы приняли мою фамилию.

– Дедушка, – отвечала Лиза твердым голосом, – к исполнению этих желаний есть неодолимое препятствие, – обет, данный отцу, не выходить замуж за врага России. Обету этому не изменю ни за какие сокровища в мире. Вы, конечно, знаете, что Владислав замешан в революционных замыслах против моего отечества.

– Знаю.

– Пока он не отречется от них, пока не докажет на деле, что будет верен России, нашему русскому государю, сердце и рука моя не могут ему принадлежать. Я была бы недостойна видеть свет Божий, если б из корыстных видов изменила клятве, данной умирающему отцу.

– Он тебя любит, в этом я уверен, мы обратим его на путь истинный, если же нет, так пусть покарают его Бог и рус-

ские законы. Во всяком случае ты останешься моею дорогой внучкой, наследницей моего богатства и имени... Какой молодой человек, да еще влюбленный, поколеблется идти для тебя хоть на черта.

Яскулка посмотрел на стенные часы.

– Владислав должен через час быть здесь.

– Так скоро? – сказала Лиза, вздрогнув при этом имени.

Она не ожидала такого скорого свидания.

– «Куй железо, пока горячо», говорит ваша русская поговорка. Время не терпит. Розалия! – крикнул он, – мою шапку и палку, а паненке ее теплую одежду и обувь.

Когда та и другая были принесены, помолодевший Яскулка, будто вспрыснутый мертвою и живою водой, бодро накинул на себя шапку и, опираясь на суковатую палку, вышел из комнаты, сказав Лизе, надевавшей на себя теплую одежду, чтобы она за ним следовала.

Они вышли на крыльцо двора. Старик махнул рукою народу, чтобы подошел к ним, и, когда крестьяне и крестьянки составили из себя кольцо около господского крыльца, сказал им громко:

– Вот моя внучка, Елизавета, ваша будущая госпожа.

– Много лет здравствовать, – закричал в толпе отставной солдат, за ним повторили тоже другие, женщины смотрели на свою будущую госпожу с умилением и любовью.

– Теперь выпейте горелки за здоровье ее, – промолвил Яскулка, – и веселитесь, сколько душе угодно.

На дворе расставлены были столы с разными крестьянскими яствами и бочонки с горелкой. Первая чарка сопровождалась новым пожеланием здоровья паненке Елизавете и деду ее, Яскулке. Пошло пирование, пили водку старики, взрослые, пили кобиты, дивчаты, мальчики, как будто они привыкли вкушать ее с того времени, как отняли их от груди матери. Белорусцы переродились, куда девалась их неподвижность! Появились волынки, скрипки, дивчаты пустились в пляс, началось акробатическое состязание по мачте, намазанной салом. Много было смеха, когда некоторые молодцы, желая достигнуть победного венка – бархатной шапки и свитки с шелковым кушаком, скользили с разной высоты и падали на землю. Награда досталась, однако ж, одному из самых отважных и ловких рыцарей. Экономка принесла большую корзинку, загроможденную разноцветными лентами, платками, черевичками и другими женскими нарядами. Раздача их представлена была царице дня, внучке Яскулки. С какою радостью исполнила она эту обязанность, как умела искусно уравнивать подарки и приправить их ласковым словом, для которого обращалась к живому белорусскому словарю своего деда! Некоторых пригожих и детей она перещеловала. Все были веселы, все были счастливы. В это время въехал во двор экипаж, в нем сидел Владислав. Лиза сейчас узнала рокового посетителя, она побледнела, задрожала и машинально оперлась на руку деда, забыв, что эта рука не может поддержать ее.

– Пойдем в комнаты, – сказал Яскулка, заметив ее тревожное состояние, и, загородив ее собою, показал ей дорогу вперед.

Прежде чем Владислав вошел за ними в дом, она успела несколько оправиться; когда же он вступил в комнату, где она и Яскулка его приняли, Владислав и Лиза окинули друг друга пытливым взглядом. Как говорила Тони, он очень похудел, красота Лизы выступала еще резче из-под глубокого траура. Он хотел подать Лизе руку, но та опустила свою и церемониально присела перед ним.

– Вы родные, люди близкие, – сказал Яскулка, – а встречаетесь точно чужие. Не хочу мешать вам своим присутствием, авось без меня наедине скорее поладите.

– Я приехал сюда, – начал первый Владислав, когда старик удалился, – чтобы иметь счастье тебя увидеть, хоть подышать с тобою одним воздухом, услышать от тебя, если не слово любви, то по крайней мере дружеского привета.

– Прежде всяких объяснений я спрошу тебя, Владислав, с кем я говорю: с врагом России, с изменником, или...

– Твое слово, – отвечал он, – должно порешить: броситься ли мне окончательно в безумный сброд польских революционеров и погибнуть с ними. Любила ли ты меня, любишь ли еще?

– Любила, да. И как еще любила! Ты один этого не понимал. Ты не видел моей любви в глазах моих, не слышал ее в звуке моего голоса. Мало ли я боролась со своим рассудком,

с волею отца, со своим долгом! Легко ли мне было! Разве не заметил ты этой любви, когда я расставалась с тобою в Пресненском саду? Для тебя я отказала в руке своей прекрасному человеку, который предался мне всем сердцем, которого назначал мне отец. Для тебя отказалась от мирной, семейной жизни в довольстве. И для кого же приехала сюда? Каких же еще доказательств нужно тебе? Откажись от революционных затей своей матери, оторвись от безумных братьев твоих – и тогда...

Наступила минута решительная.

Владислав покачал головой и закрыл рукою глаза, из которых готовы были брызнуть слезы.

– Вновь предатель, вновь изменник... переметчик... позорные имена! Я дал присягу.

– Безумная присяга, вырванная у тебя в минуту отчаяния! Ты прежде дал другую присягу русскому царю! Ее слышал, ее принял общий нам Всемогущий Бог, общий нам Судья. Разве шутил ты святою клятвою?

– И тогда, что ж?

– О! тогда я *твоя*. Бери меня, мою душу, мою жизнь. Видишь, на мне траурная одежда. Для тебя сниму ее, потревожу прах отца, пойду с тобою в храм Божий и там, у алтаря его, скажу всенародно, что я тебя люблю, что никого не любила кроме тебя и буду любить, пока останется во мне хоть искра жизни. Не постыжусь принять имя Стабровского, опозоренное изменою твоего брата.

– Но если русское правительство узнает, что я был участником революционных замыслов поляков, и тогда... преступник, ссыльный в Сибирь... что с тобою будет?

– Ведь ты еще не совершил их, этих замыслов? Говори.

– Решительно, нет еще.

– Мы с Зарницыной оправдаем тебя, представим доказательства. Я брошусь тогда к ногам государя моего, расскажу ему и твои вины, и твоё раскаяние. Он милостив, наш царь, он простит тебе минутное заблуждение. А если нет, я жена ссыльного, поплетусь за тобою в тундры и снега Сибири, понесу твои цепи, буду твоей работницей.

– Я был бы чудовище, если б после твоих слов сказал: нет! Лиза, моя бесценная Лиза, мое божество: вот здесь, у образа Спасителя и Пречистой Его Матери, клянусь перед лицом их отныне, с этой минуты принадлежать России всем сердцем, всеми помыслами, всеми делами моими.

– Верно, милый друг, и вот тебе доказательство, что я тебе верю – мой брачный поцелуй.

Она бросилась ему на грудь, обняла его и поцеловала страстным поцелуем, от которого они оба обезумели.

Владислав рассказал ей планы белорусских заговорщиков и средства их разрушить.

– Теперь позови сюда дедушку, – сказала она.

Владислав позвал Яскулку и объявил ему, что все между ними решено и он может поздравить их женихом и невестой. Яскулка благословил их, но взял с них слово принять его фа-

милию.

За обильным обедом старик пил за здоровье жениха и невесты, густым, как масло, токаем, отрытым в заветном углу погреба; пригласили и экономку выпить рюмку за это здоровье с пожеланием им счастья.

– Парочка, – говорила она, осушив рюмку, – изо всего света подобрать. Тряхну же я старыми костями на вашей свадьбе.

Условлено было строго до времени хранить тайну между лицами, посвященными в нее, и Зарницыной, которой Лиза должна была ее передать.

IV

Какие мысли и чувства волновали душу Лизы, когда она возвращалась домой! Вся жизнь ее перевернулась вверх дном. И как быстро это совершилось! Видно, на то была воля Божья. Тони сказала бы, что этот день записан в книге судьбы ее подруги еще при рождении ее. Нарушила ли Лиза клятву, данную отцу? Нет, думала она. Опасный враг России сделался преданным ей сыном, целый край избежит от многих бедствий, кровь и жизнь многих тысяч будут пощажены, отцы будут сохранены детям, мужья женам. «Нет, – повторила Лиза, желая себя успокоить, – отец мой видит с того света мои помыслы, чистоту моих намерений и благословляет меня на этот подвиг. Благодарю Тебя, Господи, что избрал меня орудием для совершения его. Я была к нему предназначена».

Евгения Сергеевна ждала Лизу с нетерпением и приказала слуге, как скоро приедет она, просить ее в кабинет. Здесь Лиза передала Зарницыной все, что с нею случилось в этот день. Решимость ее на брак с Владиславом не вызвала противоречия со стороны ее второй матери, воспламененной патриотической мыслью, что брак этот послужит вернейшим орудием в пользу русского дела.

– Время не терпит, – сказала Евгения Сергеевна, – я получила известие, что на границе Витебской губернии паны

и дробная шляхта готовятся к восстанию. Владислав сделает для жены своей то, чего не сделал бы для женщины, хотя им любимой, но которую он не может еще назвать *своею*.

Решено было между Зарницыной и Лизой, чтобы брак был скорее совершен в нескольких десятках верст от города, ближе к псковской границе: в костеле и русской церкви, при немногих свидетелях, на скромность которых можно было положиться. Между тем вызваны были Жучок и Застрембецкий на совещание. Пока делались приготовления к роковому браку, пришло письмо на имя Евгении Сергеевны от слуги Сурмина, что барин его отчаянно болен горячкою, которою заразился, ухаживая за больными в деревне, где валит эта болезнь старого и малого. Слуга просил карету и доктора. Лошади расставлены от деревни до города на станциях, говорилось в письме.

Это известие очень опечалило Зарницыну и Лизу; Тони, которой передали его, не в силах была скрыть своих слез. О! как бы она хотела назваться *его* сестрою, поехать за больным, ухаживать за ним дорогой. Что ей приличия, общественное мнение! Слова напрасные! Там нет приличия, где любимый человек требует помощи, в которую должно положить душу свою, которую может только оказать мать, сестра, кто бы она ни была, но лишь бы была любящая женщина. Что ей суд здешнего общества? Она его не знает, не знает и ее это общество. Заразы от больного она не боится.

Этот сердечный порыв сменился, однако ж, убеждениями

рассудка. Помощь доктора и, как говорила Евгения Сергеевна, посылка с ним фельдшера будут полезнее для больного во время пути. Она только затруднит путешествие, да и кто помешает ей за ним ходить, когда его привезут в город.

Послали тотчас за доктором Левенмаулем, из курляндских евреев, учившимся в дерптском университете и славившимся искусною и счастливою практикой. Доктор согласился ехать, запасся нужными, по его соображениям, медикаментами, взял с собою фельдшера и отправился в путь.

Слуга Сурмина, Сергей, встретил его со слезами на глазах.

– Жив? – спросил Левенмауль.

– Жив, но плох, – отвечал слуга.

Больной найден был доктором в опасном положении, в сильном жару и бреду. Нечего было мешкать. Подав ему возможное пособие, какое у него было под руками, и оставив смышленому русскому конторщику разные аптечные снадобья и наставления для больных крестьян, уложили, сколько возможно было, покойнее пациента в карете. С одной стороны, сел доктор, с другой – фельдшер, Сергей на козлы, и тронулись в путь. Наступила ночь. Горели два фонаря у кареты, зажгли один внутри ее, впереди ехали двое конных с фонарями. Огни от них, при быстрой езде, мелькали, как пролетающие метеоры, и мимолетно отражались в лужах, образовавшихся от стоявших снегов. Верстах в десяти от деревни Сурмина надо было ехать густым сосновым лесом. Корни столетних деревьев, выступив из земли, переползали дорогу

и делали езду несносною. Доктор, боясь сильных толчков для больного, приказал ехать тише. По узкой дороге пристяжные задевали за деревья. Поехали ощупью. Вдруг, среди ночной тишины, слышались веселые голоса, пели революционные и попеременно двусмысленные песни. Эхо повторяло их. Раздавался хохот, хохотал и лес. Казалось, леший тешился в ночи. Дорогу, по которой ехали наши путешественники, перекрещивала другая, такая же проселочная. На ней замелькали тоже огни. Песни вдруг смолкли, скоро толпа всадников обступила экипаж и остановила выносных лошадей.

– Кто едет? – закричал по-польски громовый голос.

– Русский помещик Сурмин, – отвечал с козел слуга Сергей.

– Русский! богач! знаем! чтоб его бисы побрали!

– Поселился в нашем польском краю, совет себе здесь гнездо на нашу беду.

– Начнем кампанию с него, с нами револьверы.

– Убьем его, одним врагом меньше.

– Убьем, убьем, – повторяли голоса, и вслед затем удар каким-то твердым орудием разбил вдребезги стекло в окне кареты, так что осколки его посыпались на доктора; фельдшер закрыл собою больного.

– Господа, – сказал Левенмауль по-польски, высунув голову из окна, – пощадите больного, умирающего. Ваши действия приличны только разбойникам, а не честным патриотам. Если ж вы затеете что-нибудь худшее, так в ответ вам

есть и у нас револьверы.

– А ты кто такой? – закричал один из всадников. – Не наши ли компатриот-изменник, в услужении у русского?

– Я доктор Левенмауль.

– Доктор Левенмауль? – повторила ватага.

– Виват доктор Левенмауль!

– Он спас меня от смерти.

– Он воскресил мою жену.

– Простите нас, доктор, мы были на пиру, подпили порядком.

– Дайте нам вашу руку и ступайте с Богом.

Левенмауль выставил свою руку из окна, несколько рук, одна за другою, спешили пожать ее.

Карета тронулась, место разбитого стекла умудрились заложить подушкой. Этой бедой кончилось разбойническое нападение патриотов, которое могло бы иметь ужасные последствия, если бы не был тут Левенмауль, любимый и уважаемый всеми в губернии. Отчаянная ватага действительно возвращалась с пирушки у соседнего пана. На ней, в чаду винных паров, положено было не щадить ни одного русского, где бы он ни попался. Остальной путь сделал доктор без особенных приключений. Больному приготовлены были комнаты в нижнем этаже квартиры Зарницыной, остававшиеся пустыми по случаю отсутствия генерала. Тони, Евгения Сергеевна и Лиза тотчас посетили его. На расспросы доктора о состоянии его, Левенмауль не мог сказать ничего решитель-

ного, впрочем, возлагал упование на Бога.

Тони отрекомендовала себя ему как сестра больного и просила позволения ухаживать за ним.

– И вы не боитесь, чтобы болезнь пристала к вам? – сказал Левенмауль. – Я должен предупредить вас, что она заражительна.

– Тут не до страха, – отвечала Тони, – когда человек близкий в опасности.

– Мы примем, однако ж, меры, чтоб она вас не коснулась, прошу соблюдать их.

– Все, что вы прикажете.

И стала Тони с этого времени ухаживать за больным, как самая усердная сиделка, как ухаживала бы мать за сыном, сестра за братом, горячо любящая жена за мужем. И просиживала она не только несколько часов дня, но и по ночам, у постели его. Ускорение и замедление его пульса повергали ее в ужасную тревогу, малейший проблеск выздоровления делал ее счастливою. Казалось, она жила его жизнью и должна была умереть вместе с ним. Обо всех переменах больного она давала подробный отчет доктору. Раз Сурмин в бреду произнес ее имя. Осмотревшись и увидав, что в комнате не было ни фельдшера, ни слуги, она схватила его руку и с жаром поцеловала ее. Через несколько минут он открыл глаза, посмотрел на Тони, улыбнулся и снова закрыл их. Приехал доктор, пощупал пульс больного и объявил названной сестре, что кризис миновал и есть надежда на благополучный исход

болезни. Тони с благодарностью взглянула на образ Спасителя, слезы обильно потекли по исхудалым щекам ее. Крепко пожалла она руку доктора и, если бы не стыдилась его, бросилась бы перед ним на колени. С каждым днем Сурмину делалось лучше; Левенмауль, прежде задумчивый, грустный, повеселел и стал пошучивать, Тони сияла от удовольствия.

– Мне кажется, – спросил доктора больной, увидавший мелькнувшее в дверях женское платье, – что здесь была женщина, кто это была?

– Ваша сестра, – отвечал доктор.

– Моя сестра, – спросил Сурмин, приложив руку ко лбу, – разве она приехала? Которая же? Поэтому и мать моя здесь?

– Нет, одна сестра ваша, да вы, конечно, забыли в своей болезни, что приехали вместе с нею.

– Я приехал с Ранеевой и Антониной Павловной Лориной. Неужели она?

– Она во все время болезни ухаживала за вами, ночь про-
сиживала у вашей кровати. Я боялся, чтобы она сама не заболела, да, видно, натура сильная.

– Я ничего тут не понимаю, неужели? – твердил Сурмин.

– И я сам тоже ничего не понимаю, знаю только, что вам нужно спокойствие.

– Я спокоен, я счастлив. Дайте мне только увидеть ее.

– Дня через два, три, посмотрим, когда соберетесь с силами.

– Так долго, так долго, жестокий человек, – говорил

Сурмин, и между тем какое-то смутное, радостное чувство оживляло его.

На другой день больной чувствовал себя еще лучше и просил доктора узнать от горничной Зарницыной, как зовут ту, которая так усердно ухаживала за ним. Доктор не хотел противоречить своему пациенту, чтобы не раздражать его, и, узнав имя и отчество прекрасной сиделки, стал подозревать какую-то мистификацию.

«Моего пациента зовут Андрей Иванович, а ее Антонина Павловна, какая же тут сестра», – думал он и сошедши к Сурмину, нашел уже его сидевшим в креслах.

– Bravo, bravo! – провозгласил доктор, – день два, и вы будете на ногах. Только прошу вас не волноваться, не тревожиться. Если вы будете пай, мое дитя, так я позволю вам завтра увидеть вашу хорошенькую сестрицу.

– Опять завтра, – пожаловался Сурмин с неудовольствием.

– Вот вы и волнуетесь, в таком случае я вынужден буду прибегнуть опять к латинской кухне.

– Нет, нет, мой любезнейший, добрейший доктор... Я буду кроток, послушен, как самое покорное дитя. Скажите мне только ее имя.

Левенмауль усмехаясь погрозил на него пальцем.

– Шашни, шашни, любезный друг. Позвольте вас спросить, как вас зовут?

– Андрей, Иванов сын, Сурмин.

– А ту интересную девушку, что за вами ухаживала. Антониной Павловной Лориной. Ха,

– Добрая моя Тони, ангел мой, – говорил Сурмин, – ты могла заразиться от меня, такая молодая, умереть. Какие жертвы! Я назвал ее *моя*, доктор; да, Антонина Павловна, моя невеста, пока не назову ее более дорогим именем.

– Я это подозревал, – отвечал доктор.

Между тем он ничего не подозревал, занятый одною болезнью своего пациента.

– Крепните, мужайтесь, и скорее марш молодцом к венцу.

– Отчего в доме так тихо? – спросил Сурмин. – Подъезд почти у моих окон, а не слышать стука экипажа.

– Немудрено, хозяйка велела настлать перед вашими окнами соломы, – навалили целую гору, – да как скоро узнала, что вам лучше, уехала с другою гостьюей своей за город и до сих пор не возвращалась.

На другой день доктор, уверенный в полном выздоровлении Сурмина, исполнил свое обещание. Предупредив его, он ввел к нему Антонину Павловну и оставил их одних. Радость и любовь сияли в глазах ее: казалось, она расцвела в эти минуты. Сурмин сидел в креслах, она села подле него в другие. Он взял ее руку, с жаром поцеловал ее и, задержав в своей, сказал:

– Милая... не буду говорить: Антонина Павловна, скажу просто, милая, прекрасная, добрая моя Тони. Я обещал доктору говорить с тобою спокойно, без увлечений, которым го-

тово было бы мое сердце предаться в эти минуты, – так и сделаю. Не имею нужды спрашивать тебя, любишь ли меня, ты это мне доказала. Мне рассказали, каким опасностям ты подвергалась, ухаживая за умирающим. Тебе известно, что я некогда страстно, бешено полюбил твою подругу. Такие страстные вспышки не надежны. Слава Богу, они разом погасли от нескольких слов Лизаветы Михайловны. Она любила другого и прямо, честно сказала мне, что сердце ее не свободно. Благородная, твердая девушка! Дай Бог ей счастья! Но не для нее Провидение в один из августовских дней прошлого года вызвало меня на Кузнецкий мост, не для нее приготовило оно мне встречу с Михаилом Аполлоновичем, привело меня в дом ваш. Не Лиза, а Тони была предназначена мне свыше. Ты магнетическим током своим очаровательных глаз, ангельским характером, не могу объяснить еще чем, притягивала меня к себе более и более каждый день. Сердце твое чисто и свободно, я это знаю.

– Оно принадлежало тебе, мой друг, с первой минуты, как я тебя увидела.

Сурмин притянул ее к себе и поцеловал. Тони зарделась любовью и счастьем.

– А знаешь ли, – сказал он, – сколько раз мысленно целовал я тебя, когда мы сидели друг против друга в вагоне на железной дороге?

– О! если бы открывать все задушевные тайны свои, много таких поцелуев от меня пересчитал бы ты.

– Как будет довольна, счастлива моя добрая, бесценная старушка мать и сестренки, когда узнают, что ты моя невеста! Как они тебя любят! В каждом письме ко мне спрашивают о тебе с живым участием. Я уверен, что лучшее их желание видеть тебя подругою моей жизни.

Так говорили они, рука в руке, когда пришел доктор и подал Тони письмо.

– Слуга здешний просил меня передать вам, – сказал он. – Все еще воркуют голубки мои; не прописать ли вам успокоительного, мой друг?

– Эта особа прописала мне такое сердечное лекарство, какого не найдешь ни в одной аптеке.

– От которого однако же умирают, если оно дается в слишком сильной дозе.

Тони прочла письмо; оно было от Евгении Сергеевны. Вот что она писала:

«Не беспокойтесь, милый друг, об нас. Мы гостим у дедушки Лизы, Яскулки, здоровы, веселы и *счастливы*. (Последнее слово было подчеркнуто и заставило Тони призадуматься.) Я послезавтра возвращаюсь домой, Лиза остается еще здесь на несколько дней. До свиданья, мой ангел. Напишите нам с нарочным, поправляется ли наш больной. Мы очень тревожимся на его счет, хотя при отъезде нашем доктор ручался за жизнь его. Нас успокаивает мысль, что Андрей Иванович на надежных руках искусного врача и прекрасного человека и на руках женщины, которой сердце –

дорогой алмаз, какого не имеют цари в своих коронах».

Тони передала письмо Сурмину; тот, читая его, также призадумался над подчеркнутым словом: «*счастливы*». Он прочел доктору строки, касающиеся его. Левенмауль был, видимо, доволен, только заметил, что Евгения Сергеевна прекрасная, добрая, умная дама, одним словом – была бы совершенство, если бы только...

Он не договорил, а покружил рукою над головою своей, как будто хотел сказать, что вихри летают в голове Зарницыной.

Доктор был человек положительный.

Что делалось в это время с Лизой? Какое *счастье* внезапно упало на нее с неба? Она сама не могла отдать себе отчета в том, что, как с нею случилось. Голова ее кружилась, горела... Она чувствовала, что несется на огненных крыльях в край неведомый, таинственный и не в силах спуститься на землю, образумиться...

Брак ее был совершен в костеле и в православной церкви в одном из уездов, ближайших к псковской границе, она носила уж имя Стабровского, Свидетелями были унтер-офицер из дворян Застрембецкий и отставной из инвалидной команды капитан, старичок, преданный душою Зарницыной за многие пособия, которые она оказывала его семейству. Матерью посаженою у Лизы была она, отцом посаженным у Владислава – Яскулка. Тайна брака строго сохранялась до времени под страховыми печатями любви и преданности. Для

новобрачных дедушка Яскулка отвел свои парадные комнаты в бельэтаже, сам же переселился в мезонин. Свадьба была отпразднована скромно всеми лицами, участвовавшими при венчании. Все были веселы, *счастливы*, как писала Тони Евгения Сергеевна. Последняя пробыла у *молодых* дня три и возвратилась с Застрембецким и капитаном в город, взяв наперед с Владислава слово через несколько дней приступить к действиям, которые должны были подрезать козны витебских революционеров. По приезде домой она вдвойне обрадована была выздоровлением Сурмина и переданною Тони вестью, что она невеста его. Тайна Лизина брака была пока утаена от ее подруги. На вопрос Лориной, что значит подчеркнутое в письме слово: «*счастливы*», Евгения Сергеевна объяснила его тем, что Лиза счастлива примирением с дедом, его ласками и любовью.

Между тем Владислав в упоении своего счастья, так внезапно его посетившего, забыл весь мир, каждый день собирался в город для совещания с Зарницыной и каждый день откладывал отъезд, до следующего. Мысль вырваться из объятий прекрасной, обожаемой им подруги приводила его в отчаяние. Прошла неделя, а он не трогался с места. Дом Яскулки мог сделаться его Капуей, и потому Евгения Сергеевна, боясь, чтобы влюбленные счастливыцы не забыли патриотического дела, которому она себя посвятила, решила протрезвить их письмом на имя Владислава. Она писала к нему:

«Помните, под каким условием я отдала вам дочь свою, под каким условием она решилась на эту *жертву*. Исполните слово честного человека, а потом наслаждайтесь с нею счастьем, которого вы только тогда будете достойны. Не узнаю и Лизы. Она жаждала подвига, а когда он приготовлен, потонула в брачных восторгах, забыла о своем долге, забыла завет отца своего. „Пускай, дескать, льется кровь моих братьев, страдают честь и благосостояние моего отечества, мне хорошо в объятиях друга, я вполне наслаждаюсь безмятежными благами“. Но содрогнется она, может быть и поздно, когда явятся у ложа ее из роз тень брата с кровавою раною в груди, требующего мести, тень отца с горьким упреком измены. Неужели, как она некогда писала мне, должно сбыться мнение Сурмина о русских женщинах, что они не способны на жертвы, на самоотвержение, что в них в самом деле течет рыба кровь? Стыдно нам перед поляками. Пусть докажет она противное. Я жду вас, Владислав. Весна дышет теплотворными испарениями приближающейся революционной грозы. Честь и счастье ваше в ваших же руках. Я не колеблюсь пожертвовать вами и Лизой, если вы не образумитесь.

Ваша *Евгения З.*»

Письмо это, нашпигованное стрелами иронии, залитое желчью патриотического негодования, сделало свое дело: влюбленные счастливицы отрезвились. Лиза спешила выпроводить мужа из дома Яскулки, в котором они провели столь-

ко прекрасных, упоительных дней. Они расстались. Лиза Стабровская воспрянула, это уже была прежняя Лиза Ранеева, которая так восторженно поклонялась Жанне д'Арк. Воображение стало опять рисовать ей подвиг, хоть не подобный подвигу Орлеанской Девы, все-таки, не бесследный для блага ее отечества. Провожая мужа, она глотала свои слезы.

– Если нужно будет, по первому призыву твоему, – говорила она, благословляя его, – я проберусь к тебе хоть бы сквозь ряды вражеских кинжалов, разделю с тобою опасности и, если не смогу спасти тебя, умру на твоей груди.

Условились не писать друг к другу, чтобы польские шпионы не перехватили их писем; в крайнем же случае Владислав обещал прислать ей известие с верным слугою своим, Кириллом, или сам приехать к ней при первой возможности.

– Будь осторожен, береги себя, – сказала она, осыпая его своими жаркими поцелуями, – и помни, что твоя и моя жизнь отныне нераздельны.

Явясь к Зарницыной, Владислав просил у нее, ради обстоятельств, прощения, что так долго замедлился.

– Время терпит, – говорил он, – я имею сведения, что только в конце апреля должны начаться действия заговорщиков в Могилевской губернии, а без пароля вождя их, Жвирждовского, никто в здешнем крае не тронется с места. Пароль этот должен я получить. Теперь же мы только в начале апреля.

Евгения Сергеевна, тронутая искренностью его раская-

ния, убежденная основательностью его доводов, извинилась в жестокости выражений своего письма. Могла ли она остаться равнодушной к положению молодого человека, который обрек себя на дело опасное, роковое и должен был из объятий пламенно любимой им женщины броситься в омут приключений с тем, чтобы, может статься, потерять в нем свою голову. Решились, однако ж, заранее принять нужные меры против революционных замыслов. Как осторожный и искусный шахматный игрок заранее, в отсутствие своего противника, изучает предполагаемые ходы его и свои, так соображала Евгения Сергеевна, как вернее дать шах и мать врагам своего отечества.

Признан был Застрембецкий на секретное совещание. Ходы определены. Открытие важной тайны должно было служить залогом преданности Владислава русскому делу. Он описал местность, где хранилось депо оружия, на которое мать его положила столько забот и денег.

Застрембецкий просил у Владислава позволения занести это описание в свою памятную книжку. Позволение охотно дано, важная тайна принадлежала уже двум новым лицам.

Планы и действия Зарницыной и ее сообщников следовало пока скрыть от местной полиции, которая могла бы преждевременно ударить в набат, и, может быть, так как она имела в своей среде польских чиновников, шепнуть заговорщикам, чтобы они приняли свои меры. Да, Евгения Сергеевна не хотела, чтобы эта полиция, ничего не знавшая, что у нее де-

лается под носом, чужими руками загребала жар. Положено было тревожить заговорщиков, особенно наиболее колеблющихся и робких анонимными письмами от лица, преданного им, что имена их отмечены в списке лиц, заподозренных русским правительством. В этих письмах не должно было щадить имя Владислава Стабровского и спуститься на советы не вдаваться до времени в отчаянные предприятия. Особенно Суздилович, хотя и обещавший проливать в некотором роде кровь свою за дело отчизны, однако ж, более храбрый в словесных битвах, чем в кровопролитных, должен был служить мишенью, в которую сподвижники Зарницыной предполагали бить наверняка. Сделать в нем брешь значило поднять тревогу в польском лагере. Паника от него могла широко распространиться. Положено было также действовать на хлопов слухами об измене панов «Белому Царю», оказавшему им недавно столько милостей освобождением от крепостного ига. Имение Сурмина было близко от местности, из которой витебские заговорщики должны были выступить на помощь могилевцам, а Сурмин во время пребывания своего среди белорусского населения, доставшегося ему по наследству, успел разными льготами по оброкам, наделу земли и разными гуманными мерами склонить это население в пользу всех, кто носил имя русское. Стоило только местной администрации заявить, что она расположена энергически действовать против мятежной шляхты, как поднялись бы тысячи рук, готовых на народную войну.

Впоследствии белорусские крестьяне это доказали.

Во время совещаний нашего триумvirата слуга доложил Евгении Сергеевне, что пришел Жучок и желает видеть ее с глазу на глаз. При этом имени Владислав с изумлением вопрошительно посмотрел на нее. Жучок, поверенный Жвирждовского в покупке оружия для витебских повстанцев, преданный их интересам, этот самый Жучок имеет теперь секретные сношения с тою, которая посвятила себя на уничтожение их замыслов? Она поняла вопрошительный взгляд Владислава и отвечала на него по-французски:

– Не бойтесь, он из *наших*, – и, обратившись к слуге, приказала просить Жучка и сказать ему, что здесь все *свои*.

– Берегитесь, однако ж, его, – заметил Застрембецкий, – я людям с кошачьими глазами никогда не доверяю. Мой благодетель-ксендз имел точно такие. Вчера Жучок предан Стабровскому, завтра предаст Зарницыну.

– Ранеев прислал мне его, как доверенного человека. Не знаю отношений их друг к другу, но я, полагаясь на слово умирающего, истинного патриота, доверилась Жучку и куда не имею причины раскаиваться. Скажу вам русскую поговорку, хоть и немного грубую, сырую: «Мне хоть бы пес, да яйца нес». Послушаем, что скажет. Он доставил оружие матери Владислава, я имею на это доказательства, и если осмелится изменить нам, так сам на себя накинёт петлю.

Жучок, войдя в комнату, благоговейно перекрестился перед образом Спасителя, висевшим в углу комнаты, осмотрел

бывших в ней так, что никто из них не мог определить, на кого именно он смотрел.

– Люди *свои*? два поляка! – думал он, – один сын революционерки Стабровской, другой разжалованный. Что ж он сам? Вор, грабитель, бежавший из тюрьмы. Не глубокое раскаяние привело его к смертному одру Ранеева, а чувство самосохранения, желание избежать опасности попасть опять за железную решетку и кончить жизнь в рудниках. И в это самое время, когда благородный старик, собираясь перейти в вечность, так великодушно прощал его, он сыграл с ним злую шутку, представив ему за сына своего чужого мальчика, взятого напрокат из подворья. Правда, он дал слово Ранееву служить в Витебской губернии русскому делу и выполняет это служение усердно, умно, хоть и не бескорыстно. Но он животолюбив, жаль ему расстаться с довольством жизни, и решил быть осторожным при двух свидетелях, ему мало знакомых.

– Что скажешь хорошенького? – спросила его Зарницына.

Жучок не скоро отвечал, ему надо было сообразиться что говорить среди обстановки лиц, между которыми неожиданно очутился, и для этого употребил следующий маневр: приложил руку к груди, откашлялся и только тогда, когда тяжело перевел дух, отвечал:

– Извините, сударыня, одышка меня взяла, лесенка ваша высока, человек старый, немощный. Что угодно спросить?

– Нашел ли след к месту, где хранится оружие, которое ты

же доставлял Стабровской?

Один глаз Жучка посмотрел на Застрембецкого, другой на Владислава, рукою он указал на последнего.

– Его милость, кажись, сынок ее, Владислав, по батюшке не знаю, да у поляков это не в обычае, скажу просто: пан лучше меня знает об этом.

Владислав нарочно стал описывать неверно местность, где хранилось оружие.

– Шутить изволишь, пан, – перебил его Жучок, – или делаешь отвод.

– А как по-твоему? – спросила Зарница.

– По-моему? Сказал бы, да...

– Не бойся пана Владислава: повторяю тебе, он наш. А чтобы более тебя уверить в этом, открою тебе под великим секретом: он муж дочери Михаила Аполлоновича Ранеева.

– Дочки Ранеева? Елизаветы Михайловны? Не поверил бы, кабы не вы говорили. Каких чудес ныне не творится! Пожалуй, скоро услышим, что Мерославский командует отрядом против поляков. Дивны дела твои, Господи!

И силился он возвесть горе непослушные глаза свои и перекрестился, как будто нечистая сила налегла на него.

– Коли так, – продолжал он, – вот что вам открою. Его милость пан Владислав и другой пан, по прозванию Волк, закадышный друг покойной панны Стабровской, сам под своим надзором в первых числах марта, в полночь, перевозили оружие. Возчики были евреи. По именам их назвать могу, да

вам скучненько будет подбирать Мошек да Осек. Верстах в десяти, с одной стороны, от фольварка пана Стабровского и в семи от вотчины Сурмина, с другой стороны, есть дремучий лес, нога человеческая и конская прокладывают в нем след разве тогда, когда охотники-паны делают облавы на медведей. Да в последнее время под видом охоты учили в тамошних местах воинскому делу шляхту и разный набранный с борка и с сосенки сброд. Пан Владислав должен это знать. Среди леса, более к солнечному восходу, от бури покачнули свои кудрявые головушки три богатыря-дуба, а все-таки не покорились ей. Только стопочки повывернули из песчаного грунта. От этого земля с корнями вздулась, а под ними устроился будто нарочно свод. Свод этот протянули под корнями других деревьев. Надо сказать к чести шляхтичей, они забыли свой гонор и работали усердно до поту лица. Так устроили подвал и уложили в него ящики и тюки с оружием. Сухо и безопасно, лес не расскажет. Под корнями одного дуба сделали лазейку и заклали ее искусно сучьями, а по деревьям к этому месту поделали топором метки, чуть-чуть видные. Так ли, пан Владислав? – покончил Жучок свое объяснение твердым, самонадеянным голосом, торжествуя успех своих искусных поисков. Он собирался окончательно обеспечить себе выход из опасного положения, если бы польская сторона вздумала потревожить его.

– Верно, – отвечал Владислав.

Действительно, описание местности, где хранилось ору-

жие, было сделано Жучком верно с описанием, которое сделал Владислав Зарницыной и Застрембецкому.

– Еще вот что скажу, пан, – продолжал Жучок, – когда откидывали снег от корней дерева, где делали лазейку, один из рабочих неосторожно кинул в тебя мерзлый ком снега и зашиб тебе глаз. Помнишь ли, с каким синяком ходил ты несколько дней.

– И это верно, – сказал Владислав.

– Теперь ты *наш*, – порешил Жучок. – Поляк хитер, да...

– Да неразумен, хочешь ты сказать, как говорят здешние хлопы, – подхватил Застрембецкий.

– Смею ли это выговорить, да еще при панах. А вот что по-моему, как я сужу об них. Сгоряча звезды хватает, а под ногами не видит капкана. Русский сер, да волка съел. С виду простоват и в землю глядит, и в затылке почесывает, будто думку в нем отыскивает, а она давно у него на ладони. Как сильно схватит за ретивое, так отчеканит такой фортель, какого и лукавому щеголю, поляку не выкинуть. Теперь, барыня, – обратился он к Евгении Сергеевне, – развязывай кошель. Мы люди торговые, услужить услужим добрым людям, а все-таки своих счетов не забываем. Евреям, да еще кой-кому заплатил я 20 дукатов, по-нашему арабчиков, а коли таких у тебя не окажется, так мы и русским золотом не побрезгаем.

Евгения Сергеевна вышла в другие комнаты и, возвратясь, отсчитала Жучку 40 полуимпериалов и в придачу к ним ска-

зала ему «сердечное спасибо».

– Что я тебе говорил, написал бы на бумагу, да мы люди не чернильные, к этому делу не привычны. Оно и надежнее. Советую и вам, паны, и тебе, барыня, не доверять секретов бумаги. Помни, каждая буква – доносчик и предатель.

Выходя, Жучок опять благоговейно перекрестился перед образом и, раскланявшись с собеседниками, примолвил: «Понадоблюсь, позовите».

– Ручаюсь, плут порядочный, – заметил Застрембецкий, когда Жучок вышел. – Я подозреваю в нем человека более образованного, чем он кажется. У него вырываются иногда слова, которые простой купец не привык употреблять. Впрочем нам доискиваться до его тайн не для чего. Человек для нас бесценный. Такими сыщиками дорожила бы и французская полиция.

– Все это *bel et bon*,²⁸ – сказала Зарницына после минутного молчания, – но теперь нам надо рассудить, что мы из этого сделаем.

Собеседники погрузились в глубокую думу.

– А вот что пришло мне в голову, – отозвался Застрембецкий первым, ударив себя ладонью по лбу. – Прошу внимания у моей аудитории и молчания, пока я сам не задам вам вопросов.

– Буду нема, как статуя, – сказала Евгения Сергеевна.

– А я, как рыба, – присовокупил Владислав.

²⁸ *bel et bon* – хорошо (*фр.*)

– Через пять дней я окончательно выпишываюсь из лазарета. Могут в Литве начаться военные действия, стыдно мне в это время не быть при полку. Пожалуй, еще трусом назовут, а я скорее готов всадить себе пулю в лоб, чем заслужить такое позорное название. Со мною выпишываются десять солдат. С этим отрядом делаю крюку верст пятьдесят, может быть, и более от маршрута нашего. Хоть бы пришлось опять под суд, как Бог свят, я это исполню. Мы завертываем уж, конечно, не к пану Стабровскому, а... отгадаете ли куда?

Евгения Сергеевна и Владислав отвечали: «нет».

– Завертываем в имение русского помещика Сурмина, вашего постояльца. Вы слышали от Жучка, что это имение верстах в семи от заколдованного леса. Не знаете ли, кто у него управляющий, поляк или русский?

– Слышала, что русский конторщик, выписанный им из Приреченского имения.

– Прекрасно! Можете ли вы, Евгения Сергеевна, выхлопотать от вашего постояльца приказ управляющему его, чтобы он дал нам для нашей экспедиции достаточное число подвод и рабочих, и вина в волю. Последнее условие неизменно.

– Уверена, что Сурмин не откажет.

– Кругом глухой местности, о которой мы столько говорили, всемирный потоп оставил отстой свой – бесчисленные озера и болота. Между ними жилья по две, по три хаты, в нескольких верстах друг от друга. Заколдованный лес не пойдет на меня и моих сослуживцев... как бишь... (он

постучал пальцем по лбу) те, те, те... нашел! эврика!.. как Барнамский лес на Макбета. Между ночью и утреннюю зорькой вытаскиваем ящики и тюки из кладовой и прямо в ближайшее озеро бултых. Таким образом повстанцы останутся без оружия кроме того, которое могут набрать у панов. Дело сделано, Стабровский в стороне. Какой власти посмеют заговорщики заикнуться об этой пропаже?

Владислав пожал Застрембецкому руку.

– Но не подвергаете ли вы солдат какой-нибудь опасности? – спросила Евгения Сергеевна.

– В такой глуши разве квакающие персоны нападут на нас.

– Так как эта экспедиция может состояться, как вы рассчитываете, дней через пять, через шесть, – отозвался Владислав, – а я отправлюсь нынче же к себе в деревню, чтобы показаться заговорщикам, то я послезавтра же устрою осмотр местности, где хранится оружие. Со мною будет Волк, мой *affidé*.²⁹ Разумеется, мы найдем все в порядке, и спокойны... Дождитесь только моего пароля. Он будет заключаться в одном слове: *пора*. Я пришлю вам его с Лизой.

– Дай Бог вам успеха, – сказала Зарницына. – Мое дело выхлопотать от Сурмина приказ его управляющему и написать письмо к мужу, чтобы он строго не взыскивал с Застрембецкого за просрочку по маршруту.

Застрембецкий в знак благодарности поцеловал ручку у Евгении Сергеевны.

²⁹ *affidé* – доверенное лицо (*фр.*)

– Помните, – сказал Владислав, прощаясь с ним, – через неделю, не прежде. Ручаюсь вам, не опоздаете.

V

Владислав у себя в деревне. Ему казалось, он упал с седьмого неба в пропасть, где кишат змеи и разные гады, готовые вонзить в него свое жало или облить его своим ядом. Десять дней прошли для него в земном раю. Не дивный ли сон мелькнул перед ним? Нет, это было наяву, он наслаждался счастьем, каким только избраннику свыше дано наслаждаться на земле. Он обладал вполне Лизой, этой прекрасной, божественной женщиной, которой один взгляд бывало обдавал его восторгом, и за эти дни готов идти на пытку. А пытка душевная его ожидает. Он должен надеть личину преданного заговорщика, расставлять сети своим товарищам и между тем сам избегать ловушки. Он знает, что за ним следят соглядатаи и зорче других один – неумытый, свирепый Волк. Владислав вооружился всею твердостью своего характера и приготовился отклонить каждый удар, против него направленный. К этим политическим тревогам присоединились и домашние, хозяйственные, которые только отчасти мог он удовлетворить. Рабочие и прислуга не получали жалованья за несколько месяцев, крестьяне ели хлеб из мякины пополам с корою деревьев и мхом. Правда, некоторые из них, отчаянные парни, из-за хлеба и вина и напуганные панами, что всех холостых русских заберут в казаки, очертя голову, поступали в жонд. Волк, которому поручено было распоря-

жаться суммами его, исправно платил этим новобранцам положенное жалованье. Но большая часть холопов, старики, женщины, дети, – это бродячие по земле тени... Глядя на них, сердце замирало у Владислава. В закромах господских амбаров проглядывало дно, службы и хозяйственные заведения валялись, винокурный завод не действовал, серебро было продано или заложено евреям, долги росли. До такого расстроенного состояния Эдвиг Стабровская патриотическими затеями довела свое богатое состояние. Если б не одолжил Владислава пан в колтуне небольшою суммою, да не дедушка Яскулка, подаривший новобрачным три тысячи рублей, так молодой полковник пришел бы в отчаянное положение. Из этих денег он спешил удовлетворить дворовых жалованьем и уделить, по возможности, на хлеб крестьянам. Надо, однако ж, было ему приняться за дело, которому он душою отдался. Он пригласил к себе вожаков и участников заговора. В этом заседании, по обыкновению, спорили, горячились, передавали друг другу то отрадные, то неблагоприятные вести. Приехал Волк и сел в кружок их, угрюм и мрачен. Он ерошил свои щетинистые волосы и долго глазами впивался в Владислава, наконец крикнул:

– Между нами есть изменник.

– Кто такой? – спросили несколько встревоженных голосов, – откройте негодяя.

– Вот он, – разразился Волк, указывая на Владислава.

Кто смотрел на обвиненного с бешенством, кто с изумле-

нием, иной пожимал плечами.

Первая мысль Владислава была, что тайна его измены открыта. Он побледнел – от страха или негодования, всякий из присутствующих заключал по-своему. Но скоро оправился он и спросил твердым голосом:

– Какие доказательства?

– Ты женат на русской.

Надо оговориться, что Жучок, желая угодить и *нашим* и *вашим*, дал знать Волку через доверенного человека о женитьбе Стабровского. «От этого для русской стороны беды никакой не будет, – думал он, – по крайней мере, на случай, задобрю *сильного* поляка в свою пользу».

– Только-то! – воскликнул Владислав с особенным одушевлением и не без закваски горькой иронии. – Важное преступление! криминальное дело! И за него то, многоуважаемые паны и братья, я обвиняюсь в измене! Да, я женат дней с десять на русской. Но разве Пустовойтова, подруга и адъютант нашего знаменитого генерала Лангевича, не русская? А его за это никто не называл изменником. Да, я женат на русской Ранеевой. Но в ней течет польская кровь, мать ее была поляка, дед ее, панцирный боярин Яскулка – поляк, род ее соединен кровными узами с родом Стабровских. Я полюбил ее еще в Москве страстно, как может только полюбить пылкий молодой человек. Если б вы ее увидели, признались бы, что я не мог не сделаться данником ее красоты. Отец ее не соглашался на наш брак, но он умер, и Елизабета, оставшись

сиротой, укрыла свою голову от житейских гроз под кровом деда и сердце свое на моей груди. То, что я чувствую, что я мыслю, чувствует, мыслит и она. Старик-Яскулка видит во внучке лучшее свое утешение, любит меня и устроил нашу свадьбу. Он завещает нам все свое богатство с тем, чтобы мы приняли его фамилию. Вы знаете, что мать моя, принеся на алтарь отчизны двух сыновей, принесла на него и все свое состояние. Я разорен. Если б не добрый друг мой (Владислав указал рукой на пана в колтуне) и не дед Яскулка, я не имел бы теперь насущного хлеба и чести принимать вас у себя. Дружба, любовь и самолюбивые прихоти старика спасают меня от разорения. Неужели мне надо было испрашивать благословения на брак мой у пана Волка? Не прислал ли ему наш святой отец папа секретной буллы на разрешение и запрещение браков? Не вручил ли ему жонд диктаторской власти располагать нашим семейным благосостоянием? Давно точит он бесполезно кинжал, который я же ему, как другу, подарил. Крови, крови ему нужно, хотя бы своего брата. Суду вашему, паны, повергаю себя. Грудь моя открыта, разите ее. До сих пор не было у нас палача, посвятите его в новый, высокий сан.

Рукоплескания покрыли эту горячую, сильную речь.

– Нет, нет, не виновен пан Владислав Стабровский, не изменник он! – закричали все единодушно, кроме Волка.

Он дрожал от стыда и ярости.

– На месте пана Волка, – сказал один из членов жонда, – я

просил бы прощения у того, кого он так несправедливо обвинил в измене.

Волк молчал и не двинулся с места.

– А чтобы доказать вам, – сказал Владислав, – как моя жена стоит вашей любви, я готов представить вам ее через два дня, здесь в кругу вашем.

– Желаем, просим, – закричали все, опять кроме Волка.

– Поляки были всегда рыцари чести и поклонники красоты, – продолжал торжествующий Владислав, – и я уверен, что она принята будет вами с должным уважением.

– Кто осмелится оскорбить панну хоть малейшим неприятным намеком, тот будет иметь дело со мною, – сказал один из офицеров.

– И со мною, – подхватили голоса.

– Через два дня ваше желание будет исполнено, многоуважаемые паны.

Едва Владислав проговорил это, как вошел слуга и подал Суздиловичу письмо за тремя печатями.

– От кого? – спросил тот.

– Привез нарочный из вашей экономии, – отвечал слуга, – а туда доставил еврей, отдал письмо и ускакал, не сказав от кого.

Тараканьи усики зашевелились. Суздилович дрожащими руками сломал печати и стал читать про себя таинственное послание.

Во время чтения грудь и брюшко его сильно колебались,

на лице его отпечаталось смущение и страх. Прочитав письмо, он передал его Стабровскому, а этот, пробежав послание, просил у Суздиловича позволение передать его вслух ко всеобщему сведению.

Письмо начиналось уверениями в горячей преданности польской справе и в дружбе к лицу, к которому было адресовано. Вслед затем аноним предупреждал, что русскому правительству известны имена многих членов витебского жонда, и оно собирается потребовать их к допросу. Прилагался список заговорщиков, в том числе большей части собравшихся теперь у Владислава. Во главе стоял пулковник их. Неизвестно, почему в списке не фигурировал Волк.

– Какой-нибудь пуф, чтобы нас обморочить и напугать, – сказал Владислав.

– Утка, которой надо свернуть голову, – проворчал Волк.

– Однако ж должен быть из наших, – заметил кто-то, – посторонний не мог бы узнать так верно имена членов нашего жонда.

– Кто бы это был, как вы думаете? – спросили Суздиловича.

Холодный пот капал с лица на его закрученные усики. Пыхтя, он отвечал, что не может придумать кто бы был сочинителем таинственного послания.

– Все-таки не безопасно, – прибавил он.

– Надо бы принять меры, явиться в город, показаться начальству, прикрыть измену хитрыми уверениями в предан-

ности русскому правительству, – подали свой голос более робкие.

Волк злобно усмехнулся.

– Ступайте, ступайте, паны, оставьте из себя заложников московским властям или попрячьтесь в своих норах. Но не забывайте, какое наказание ожидает изменника. Оно отыщет его и под письменным столом превосходительного. Что до меня, то я остаюсь на своем посту, пока эта рука (он поднял кулак своей мускулистой руки) в состоянии будет разить врагов моей отчизны и предателей ее. А чтобы проверить наши действительные силы, я, с позволения пана пулковника Стабровского (слово пулковника было произнесено с особенной иронией), приглашаю *верных* нашему делу прибыть к месту, где мы обыкновенно производим наши маневры.

– Согласен, – сказал Владислав.

– Согласны, – отвечало все собрание, многие из страха угрозы Волка.

– Мое дело и ваше, паны, собрать туда под предлогом охоты на медведя, – продолжал он, – всех, завербованных в наш жонд. Мы сосчитаем повстанцев, распределим их на разряды, косиньеров и других рукопашных бойцов, стрелков и кавалеристов. Кстати, сделаем учение. Не все говорить, пора и делать. А то дождемся, что *бабы русские* перевяжут нас по рукам и ногам.

Решено было завтра же исполнить предложение Волка.

– Кстати, – сказал потихоньку Владислав Волку, – осмот-

рим и местность, где хранится оружие. Мы давно туда не заглядывали.

– Я там был на днях, – сказал также тихо Волк, – все благополучно, впрочем, предосторожность ваша не лишняя, я к вашим услугам, пан пулковник.

Волк отвесил глубокий поклон.

Владислав, увлекаясь порывом доказать своим собратам, что красавица-жена его не только не опасна для польского дела, но еще сочувствует ему, дал слово заговорщикам представить им ее. Разве ему мало было, что он сам ходит по раскаленному железу, что каждая минута его жизни отравлена страхом быть открытым в предательстве, что он должен притворяться, обманывать, лукавить, играть тяжелую, двусмысленную роль, он еще привлекает в эту опасную игру женщину, им боготворимую. Но слово дано, его надо исполнить. Он знает, что Лиза из любви к нему и патриотизма готова на все жертвы (та, которую он от нее теперь требует, должна быть последняя), и решил послать за женою своей Кирилла, преданного ему слугу, и бывшую свою няньку, старушку, любившую его как сына.

«Бесценная, дорогая моя Лиза! – писал он жене. – Я здоров и покоен, все здесь благополучно.

Но у меня есть до тебя жарчайшая просьба. Я должен исполнить желание моих братьев, познакомить тебя с ними. Уверен, что ты приедешь и сумеешь быть приветливой, об-

ворожительной хозяйкой. Не учиться тебе стать. За почтительное внимание к тебе моих гостей я ручаюсь. Посылаю за тобой преданных мне людей. Целую заочно тысячу раз твои ручки и ножки, пока не перецелую их в яве.

Горячо любящий тебя *В. С.*»

За Лизаветой Михайловной Стабровской отправлена легкая и покойная бричка, какие умеют только делать в Варшаве, на четверке бойких лошадок, с мужскою и женскою стражей, которая должна охранять в дороге свою госпожу. Что бы сказал Михайло Аполлоныч Ранеев, увидав дочь свою, пани Стабровскую, едущую в этом экипаже на свидание с польскими заговорщиками!

На другой день повстанцы по данной повестке собрались на назначенном месте. Их обещано было пани Эдвигой Стабровской несколько тысяч, оказалось налицо человек пятьсот. Все дробная шляхта, мелкие чиновники, экономы, псаря, из хлопков гуляки и беглые, отчаянные бобыли, которым дома нечего было есть, а в жонде отпускались обильные порции хлеба, иногда мяса и вина, и обещана богатая добыча от неприятеля. Были тут и студенты, и мальчишки-гимназисты, настроенные матерями и сестрами к патриотическим подвигам. Вождями их большей частью назначены служившие в русской службе офицеры, изменившие своему законному знамени. Все-таки эта была сила, которая, если не могла бороться с русскими войсками, имела возможность в

соединении с могилевскими и минскими бандами раздуть революционный пожар и озаботить русское правительство. Недаром же потребовало оно несколько полков из внутренних губерний.

Местность, где собралась банда, была глухая. Сосновый вековой лес, устланный засохшим папоротником, тянулся продольным островом на десяток верст. С одной стороны, огромное озеро, которому в нескольких местах не было дна. С другой стороны, непроходимое болото. Только с востока проходила каймой, на версту в длину и на десятки сажен в ширину, ровная возвышенность из твердого грунта, поросшая травой и образовавшая род плотины между озером и лесом. Здесь можно было ехать и возам. Но какой шальной не только на телеге, но и пеший пустился бы в путь, из которого не было исхода на торную дорогу! Деревушки из трех, четырех дворов мелькали за озером. По ту сторону его они имели свои надежные сообщения. На луговине этой расположилась банда. Офицеры разместили повстанцев, как сказано было на совещании, по разрядам. Им даны образцовые оружия из экономии панов до получения *казенных* из депо. Ряды стрелков должны были открыть атаку. Многие из них метко попадали в деревья, служившие мишенью. Учили их пользоваться каждым деревом, каждым пнем, холмом, камнем, чтобы из-за них поражать неприятеля, а самим быть под защитой, предлагаемой им местностью. И в этих маневрах показали многие свою сметливость и проворство. За стрелками долж-

ны были следовать ряды косиньеров, как напирющие гряды морских валов, одна за другой. Им наказано косить москалей не слишком низко, как траву, чтобы не подвергнуть головы ударам врагов, и не слишком высоко, чтобы не открыть им грудь, а вполчеловека, в разрезе живота. Затем хлынули ряды с вилами. Натиск трезубцев в руках избранных мощных повстанцев, похожих на мясников, должен был, казалось, произвести сильное опустошение в рядах неприятелей. Но это была только театральная сцена, на которой актеры не видели настоящего, вооруженного огнестрельным оружием, солдата, привыкшего бестрепетно встречать огонь и острие штыка, не слышали стога своих братьев, пожираемых ядрами и картечью русской артиллерии. Для испытания кавалеристов были устроены плетни и вырыты канавы. Стреляли в цель на всем скаку. И тут, особенно псари, показали свое искусство. Офицеры аплодировали ловким наездникам. По окончании маневров приготовлено раздольное угощение повстанцам, водка лилась, как будто из неисчерпаемых бочек Данаид. Во время маневров Волк и Владислав Стабровский ходили осматривать местность, где хранилось депо оружия. Ни одного человеческого следа не оказалось к ней, все найдено было на своем месте. Ни люди, ни лесные духи не выдали тайны. Довольные удачным учением повстанцев и успокоенные насчет сохранности оружейного депо, избранные члены жонда принялись также за закуску и осушение бутылок и в этом деле перещеголяли даже своих субалтернов. Сердца

патриотов упивались торжеством будущих побед, но головы их преклонились перед торжеством Вакха. Развезли их по домам, как возят истомленных телят на рынки. Только Станиславский и Волк были довольно трезвы и не потеряли рассудка.

VI

Лиза оставалась одна со своим дедом. Тони не выдержала долго разлуки с ней и посетила ее. С обеих сторон отдан отчет в том, что с ними случилось с тех пор, как они не виделись. Не удивилась одна, узнав, что Сурмин сделал предложение ее подруге, она это предугадывала прежде; но изумилась и как бы испугалась другая, когда Лиза открыла ей тайну своего брака.

– Ты, Ранеева, теперь пани Стабровская? – едва не вскрикнула Тони. – Нет, это неправда, ты меня морочишь, повтори еще, расскажи, как это чудо совершилось.

И рассказала Лиза во второй раз и про любовь свою к Владиславу, с которой она до сих пор боролась, и патриотические побуждения, заставившие ее решиться на роковой шаг.

Тони, выслушав этот рассказ, горячо обняла ее, припала к ней на плечо и заплакала.

– Уж не хоронишь ли меня, живую? – сказала Лиза, смущенная ее слезами, – напротив, радоваться должна ты моему счастью.

– Прости мне, мой друг, эти слезы, они невольные. Оттого ли они льются, что известие о твоём браке поразило меня своей нечаянностью, оттого ли, что вижу тебя такую радостною, счастливою после стольких страданий, – сама не знаю.

Тони, говоря это, слукавила. Какое-то грустное, щемящее

сердце чувство охватило ее, она не в силах была его преодолеть.

– Да, я счастлива, – говорила Лиза, – как может быть только счастлива женщина на земле. Если б могло надо мною совершиться чудо, чтобы мне вновь начать жизнь, я не желала бы ей другого исхода. Чтобы со мной ни случилось, какие бы несчастья меня впредь ни ожидали, я всегда буду благодарить Бога за то, что Он в это время послал мне. Десять дней блаженства, какое и не снилось мне в грезах, да за них разве не отдашь всю жизнь свою!

Расставаясь, подруги обещались чаще видеться и передавать друг другу, что с ними впредь могло случиться.

Прибыли за Лизой лошади и дворовая ее свита. Кирилл подал ей письмо своего пана. Оно не тревожило ее. Напротив того ее одушевляла мысль пожить несколько часов между заговорщиками, как бы в стане их, и испытать мучительное чувство, какое испытывает человек, около сердца которого шевелится холодное острие кинжала. Дрожь пробегает по всему телу, захватывает дух, смерть на одну линию, но кинжал исторгнут из руки врага и нанесен на него самого.

«Без борьбы нет победы», – говорила она некогда, и готовится теперь вступить в эту борьбу и помериться силами с врагами ее отечества. И потом сладкое, высокое чувство торжества над ними, спасение любимого человека от позорной казни, возвращение блудного сына матери-России. О! С чем может сравниться наслаждение этим торжеством!

Дав лошадям отдохнуть и насытиться, она скоро собралась в дорогу и стала прощаться со своим дедом.

– Будет ли конец этим тревогам! – говорил с грустью Яскулка, провожая ее.

Он помышлял в это время уже не о дворянстве, а о внучках, Яскулках, которые должны были усладить последние дни его жизни. Когда кончилось прощание, он сунул ей в руку пакет, примолвив:

– Молодая пани должна угостить своих хлопов. В пакет было вложено сто рублей – так расщедрился для своей дорогой внучки доселе скупой старик.

Лиза написала коротенькое письмо Евгении Сергеевне, другое, еще короче, Тони и пролетела через город на Двине, окутанный мраком ночи, не повидавшись ни с одной из них.

Верстах в десяти от имения Стабровского поднималась конусом высокая песчаная гора. У подножия ее была панская мыза.

– Это фольварк Волка, – сказал Лизе слуга Кирилл, – злостливый человек, пану моему противник.

Въехали на гору. Было время восхождения солнца. Первые робкие лучи его пали на желтоватое темя ее, потом раскрыли перед нашими путешественниками ощетинившийся по ее склону сосновый лес, по которому взмах ветра гнал темнозеленые волны. Все кругом на низине казалось обширным озером, но это было не озеро, а мираж его, напущенный туманом. Мало-помалу лучи солнца разорвали сизую пеле-

ну, покрывавшую низменную окрестность, полетели в стороны и взвились дымчатые клочки. Скоро обозначились озера, словно серебряные блюда (по выражению поэта Некрасова), расставленные на зеленой скатерти лугов. Заискрился мохнатый ковер болота, затканый золотым утком солнечных лучей. Стаи диких уток, побрякивая и стуча крыльями, поднимались со своего ночлега и переносились с места на место. Начали слегка обрисовываться на горизонте деревушки, кое-где выступили и панские дома. Лиза не смыкала глаз и любовалась разостланной перед ней картиной. Вывел ее из этого приятного созерцания голос Кирилла.

– Здесь, барынька, – сказал он, обращаясь к ней с козел смесью языков русского, польского и белорусского, но все-таки, в угоду своей госпоже, с преобладанием первого, – на этой горе встречу делали панцирные бояре панам крулям, коли они приезжали на витебскую землю. Поэтому и гора прозывается сторожевою. Вот граница отсюда видна, – прибавил он, указывая кнутом, взятым у кучера, на просеку, прорезанную в дальнем лесу, – то Могилевская за нею губерния. Там, чай, теперь идет смута и кровь течет, а у нас, храни нас Господь и Матка Божья, кажись, все смирно, лишь бы паны не сдуrowали.

Это замечание сильно кольнуло в сердце Лизы.

«Неужели, – думала она, – в Могилевской губернии начался открытый мятеж, а мой муж ничего не знает? Не готовятся ли здешние заговорщики к решительному удару? не

ловушку ли ему ставят?»

– От кого ж ты эти вести слышал? – тревожно спросила она Кирилла.

– Народ говорит; а вы знаете, барынька, по русской пословице: «глас народа – глас Божий».

Дорога шла уж по песчаной отлогости горы, к тому ж лошади, чуя близость домашней конюшни, бежали и без поуждения. Но Лиза, в нетерпении увидеть скорее мужа и разрешить мучившую ее загадку, приказывала ехать шибче.

– Уж недалече наша мыза, вот видишь, барынька, – сказал Кирилл, указывая кнутом на выдвигающийся из-за березовой рощи господский дом. – А вот влево, в другую сторону, чуть видно вдали, экономия пана Сурмина. Богаче всех в здешнем краю. Две мельницы, винокуренный завод, да и хлопы его против других панских живут, як у Иезуса на плечике. Едят чистый русский хлеб без мякины, и хаты у них не курные.

– А у нас какво?

– При пани Эдвиге было даже погано, а как сделался хозяином пан Владислав, стало легче.

Дорога пошла ровная и твердая, кучер, гикнув, пустил лошадей вскачь, будто в лад с сердцем пани, хотевшей бы перенестись к мужу на крыльях.

Когда они въехали на господский двор, вид запущенных служб и хозяйственных заведений сделал неприятное впечатление на Лизу, но оно тотчас изгладилось при виде Вла-

дислава, сбегавшего к ней с наружного крыльца. Он принял ее в свои объятия. Лицо его было радостно.

– Ничего приятного? – был ее первый вопрос.

– Ничего, – отвечал он, – разве ты привезла худые вести? Она рассказала ему, что слышала от Кирилла.

– Вздор! Я должен бы первый об этом знать, – сказал он, ведя ее в комнаты и расточая ей самые нежные ласки.

В комнатах сохранялись еще следы, хотя полинялые и потускневшие, прежнего богатства Стабровских, но Лиза ничего не видела, ни о чем не думала, как о желании доказать мужу свою любовь, угодить ему разумным приемом ожидаемых гостей и заставить их сознаться, что она достойна его выбора.

Она скидала свой глубокий траур по отцу только на время венчания и двух-трех следующих дней и решила явиться в нем и перед гостями своими. В этом был лукавый умысел показаться перед ними в одежде, которую носили тогда польки в знак скорби по угнетенной отчизне. Владислав одобрил ее намерение.

Было сделано угощение хлопам из денег, назначенных на этот предмет Яскулкой. Еще с раннего утра разосланы повестки панам с приглашением на обед.

Съехались гости, между ними не было Волка. Отсутствие его было замечено и истолковано не в пользу его. Все видели, что на завтраке после маневров повстанцев он и Владислав не проявляли друг к другу знаков неприязни.

– Злой человек! – слышалось между ними, – оскорбил безвинно человека и на него ж изволит гневаться. Хорошо, что не он избран нашим доводцем, а то бы наложил на всех свою волчью лапу.

Появление хозяйки было для нее блистательным торжеством. Восторженный шепот пробежал между панями. Всех очаровала она своей красотой, приветливостью, изяществом манер и умом.

– Счастличик этот Владислав, – говорили они, – кто бы не желал быть на его месте! Сколько бы завистливых сердец заняло при виде ее в кругу наших панн!

И гости платили ей возможными любезностями, приправленными искренним уважением, а любезными поляки, при своем образовании, умеют быть, когда не затемняют их рассудка сумасбродные мечтания. Траурная одежда ее бросилась им в глаза и польстила их легковерному патриотическому чувству. Лиза присоединялась в этом случае к их национальной скорби. Особенно Суздилович, закручивая свои усики, вертелся перед ней, как бес перед заутреней, и рассыпался в комплиментах, какие мог только исчерпать со дна своего умственного кладезя. Тут уж он не спорил с товарищами, а соглашался со всеми в похвалах пани Стабровской. Лиза извинялась перед ними, что не может говорить по-польски и принуждена изъясняться по-французски.

– Но, – прибавила она, – любя мужа, я постараюсь скоро выучиться родному его языку, языки же славянские так

братски сродны, только латинское начертание букв мешают их согласию.

Первый тост провозгласила она за благоденствие Польши (в мыслях и сердце своем она прибавляла: «и только в слиянии с Россией под русскою державой»). Восторженный виват сопровождал этот тост.

– Полюбите, полюбите нашу отчизну, – говорили ей гости, – право она лучше, нежели описывают ее у вас.

– Я и так ее люблю, желаю ей всевозможного добра, – отвечала Лиза.

Тост за ее здоровье покрыли изъявления бешеного восторга виватами, стуком ножей и вилок, рукоплесканиями, огласившими даже дальние комнаты. Был тост и за успех *патриотического дела*. И за него осушила хозяйка бокальчик, не противореча своему чувству.

Оживился разговор, посыпались лукавые вопросы, какую страну предпочитает она в своем сердце: Россию или Польшу, на чью сторону она станет, если бы в здешнем краю возгорелась война между русскими и поляками.

– Предпочту страну, которой больше предан мой муж, стану на ту сторону, на которой он будет стоять, – были ее двусмысленные ответы.

Разъехались гости, радостно убежденные, что приобрели прекрасную соседку и горячую патриотку.

«Тяжело, ох, как тяжело, – думала Лиза – притворяться, обманывать, говорить не то, что в мыслях, что чувствуешь!»

Но не сказала мужу, как трудна была игра, которую она в эти часы разыгрывала, и казалась веселою. Она знала, что ему труднее нести это бремя целые дни и недели. На третий день сам Владислав поторопил жену в город.

– Как ни жаль мне расстаться с тобою, милый друг, радость моя, божество мое, – говорил он, – но ты должна поспешить к Зарницыной и сказать ей только одно слово: *пора!* От этого слова зависит наша судьба.

В сладостном упоении от свидания с мужем, довольная, что успешно замаскировала перед заговорщиками двуличное поведение любимого человека, не изменив своему патриотическому лозунгу, Лиза не мешкая снарядилась в обратный путь.

– Что бы со мной не случилось, – говорил ей Владислав, – воспоминание блаженства, которое ты мне подарила, будет для меня отрадой и в последний час моей жизни.

– Не говори о последнем часе теперь, когда мы с тобой так счастливы, не гневи Бога, – произнесла Лиза, обвив крепко его шею своими белоснежными руками и на пламенные его поцелуи отвечая ему без счета такими же.

Стоя на крыльце, он долго провожал ее глазами, пока она не перестала махать ему платком и экипаж не скрылся у него из виду. Возвратившись домой, он бросился на диван и зарыдал, как слабонервная женщина.

По приезде в город, Лиза на этот раз заехала к Евгении Сергеевне, передала ей роковой пароль, завернула к Тони,

расцеловала ее и поспешила к себе, в дом Яскулки, чтобы заключить себя в четырех стенах и там только думать и молиться о дорогом для нее существе.

Приказ от Сурмина к управляющему его витебским имением был уже в руках Евгении Сергеевны. Он дал его с величайшим удовольствием, прибавив в нем, чтобы солдат угостили как можно лучше и исполняли все требования фельдфебеля, дворянина Застрембецкого, как бы господские.

– Готовы ли в экспедицию, которую сами же задумали? – спросила она Застрембецкого, явившегося к ней по ее приглашению.

– Мы выписались из лазарета, нужные бумаги, от кого следует, готовы, стоит только за ними сбегать в канцелярию.

– Так с Богом и вот вам на случай нужды вашей и вашей команды триста рублей и письмо к моему мужу. Не берите теперь казенных подвод, лучше наймите.

– Предосторожность не лишняя.

Получив свои бумаги и наняв подводы, Застрембецкий отправился ночью в путь со своей командой и был уже на рассвете в имении Сурмина под видом квартирьеров полка, который должен был прибыть туда же через два, три дня. Отдавая приказчику письмо Андрея Иваныча, он шепнул ему о цели своей поездки. Этот был человек сметливый, энергичный, преданный своему доверителю, и не успело еще солнышко моргнуть своими подслеповатыми лучами, как двадцать парных подвод, с таким же числом возчиков и таким

же числом рабочих при десяти бравых солдатах, с запасом заступов и веревок очутились, как лист перед травой, на местности, где хранилось оружие повстанцев. Означенная подробно в записной книжке Застрембецкого, она была найдена без затруднений. Русский любит удалые подвиги, недаром же пословица: «в одно ухо влез, в другое вылез». Работали живо, горячо, как будто на приступе крепости. Крестьяне соперничали с солдатами. Фельдфебель распоряжался работами осмотрительно, осторожно, чтобы команда его не подверглась ушибу. С другой стороны, за тем же наблюдал приказчик над своими рабочими. Подсекли еще корни дерев, расширили главную лазейку, устроили новые. Песчаный грунт облегчал работу. Сердце Застрембецкого было, однако ж, не на месте. Что если кто из банды услышит стук в лесу, даст знать своим, начнется бой, и тогда фельдфебель – снова солдат навсегда. Но в этой глуши зловещих признаков ни откуда не видно и не слышно, только птицы, испуганные стуком топоров, спешили отлететь в глубь леса. Через час с небольшим ящики, тюки, цибики уложены на подводы, свезены к озеру, скачены с берега и свалены в воду. Совершив этот подвиг, солдаты и за ними хлопы перекрестились, как будто утопили нечистую силу. Застрембецкий взглянул на небо и благоговейно приложил руку к сердцу. Если кто и видел их с дальнего противоположного берега из деревушки, на нем засевавшей, так они показались шевелившеюся муравьиной кучей. С песнями возвратились солдаты домой. Сле-

лано им и возчикам угощение, какого они не запомнили из всей жизни своей. Строго были наказано хранить тайну экспедиции. «Были солдаты, квартирьеры, назначили квартиры для полка и уехали» – таков был наказ в деревне. Обедал Застрембецкий у приказчика. За столом вкусный рассольник из почек, молочный поросенок под хреном и сметаной, белый, нежный, тающий во рту, хоть бы в Троицком трактире, индейка, облитая жиром, как янтарем, поджаренная так, что кожа ее слегка хрустела на зубах, херес и шампанское из господского погреба. Выспавшись часика три, дав отдохнуть своей команде и поблагодарив за все про все усердного приказчика. Застрембецкий отправился к ночи в обратный путь. Между ним и Владиславом условлено было, чтобы на первую ночь после уничтожения оружейного депо приказчик дал весть об успехе зажженным в виде маяка снопом соломы. Высмотреть издали этот сигнал должен был нарочно посланный Кирилл. Но в ту ночь приказчик, боясь возбудить подозрение в усадьбах окружных панов, рассудил за лучшее сделать это на другой день во время всеобщей по случаю какого-то наступающего годового праздника; кстати, надо было иллюминировать колокольню.

Застрембецкий к утру прибыл в город на Двине, остановился в предместье, в корчме, и на несколько минут завернул к Зарницыной, чтобы отрапортовать ей о благополучном совершении своей экспедиции. Только на третий день мог он выехать из города, его задержали *казенные* подводы, за

которыми надо было посылать в уезд. Приехав в одно из местечек Виленской губернии, где был расположен штаб его полка, он явился к генералу Зарницину, донес его превосходительству о благополучном прибытии своем с десятью выписанными из лазарета рядовыми, вручил ему свои бумаги и потом письмо от Евгении Сергеевны. Читая его, генерал усмеялся и качал головой, вслед затем богатырскою рукою ласково потрепал фельдфебеля по плечу. Но вдруг в лице его сделалась перемена, брови его насупились: он успел в это время взглянуть в маршрут команды и в свидетельство гарнизонного начальника о времени отправки ее.

– Как ни жаль мне вас, – сказал он несколько строгим голосом, – я предлагаю вам отправиться на три дня на гауптвахту, вы просрочили три дня по маршруту.

– Евгения Сергеевна... – заикнулся было Застрембецкий.

– Бабам не след вмешиваться в дела службы, я не вмешиваюсь в ее дела. Дисциплина прежде всего.

– Слушаю, ваше превосходительство, – сказал только фельдфебель, знавший, что генерал в подобных случаях неумолим, и, выставив вперед правую ногу, повернулся налево кругом к двери.

По выходе его из комнаты генерал стал в раздумье ходить по ней. «Евгения огорчится за своего *protégé*, – говорил он сам с собой. – Но мы поправим это. За отличие в первом деле я представлю его в офицеры».

Это задушевное обещание было вскоре исполнено. За от-

личную храбрость в двух, трех делах против мятежников Застрембецкому возвращен прежний его чин поручика.

Владислав в первую ночь после уничтожения оружейного депо посылал Кирилла посмотреть издали, зажжен ли востовой маяк. Кирилл возвратился с известием, что ни одного огонька не видно на крышах в имении Сурмина. Сердце у Владислава замерло. «Неужели, – думал он, – не было Застрембецкому удачи? Не помешало ли ему какое важное затруднение? В случае же фиаско ожидают его бедственные последствия, жонд восторжествует». Весь следующий день провел он в мучительной тревоге. Наступила ночь. Кирилл был послан вновь на рекогносцировку. На этот раз ответ был благоприятен, посланный донес, что колокольня сильно освещена как люстра и на огромном шесте пылает огненный сноп. Владислав успокоился. Через два дня прискакал к нему тощий еврей на тощей лошаденке. Он барабанил голыми пятками по ребрам своей клячи и вдобавок выбивал из нее прыть обломком кнута. Пейсики его, прилипшие от пота ко лбу и к вискам, не развевались по обыкновению из-под ермолки. Он проворно соскочил с неоседланной лошади и подал письмо первому попавшемуся ему на глаза слуге, примолвил только: «по еврейской почте, пану Стабровскому, из Горыгорецка». За доставление письма была выслана из панского дома щедрая награда. Письмо было от могилевского воеводы Жвирждовского, Топора. Он извещал только в нескольких иероглифических строках, к которым ключ

имел Стабровский, что начинает свои действия с Горыгорецкого института и умоляет витебских доброжелателей *«быть немедленно готовыми»*.

Наступал роковой час для Владислава. Можно судить, что происходило в его душе. Игра шла на шах и мат. Он оповестил заговорщиков, чтобы они съехались к нему для выслушания важной вести. Во время его тревожного состояния носился перед ним образ Лизы в виде ангела-хранителя и утешителя его.

Съехались заговорщики. Решено было созвать тотчас повстанцев и распределить по ним оружие из депо.

Прибыли к назначенному месту.

Ужас овладел членами жонда, когда они увидали, что место это изрыто, кладовая, где хранились ящики и тюки, пусты.

Была минута оцепенелого молчания. Бледные, трясясь от страха и бешенства, все озирали друг друга, как бы искали, не обнаружит ли чье лицо предателя.

– Измена! измена! – закричали заговорщики.

Но где было искать изменника, на кого было указать, кого обличить? Все лица были одинаково мертвенно бледны, все они выражали одно чувство ужаса.

Таково состояние воинов перед сражением, когда у них не оказалось зарядов, таково оно у моряков, когда на полном бегу парохода от сильнейшего неприятеля кочегар закричал: *«нет больше топлива»*.

– Вы осматривали депо во время наших маневров? – с дерзким видом обратились офицеры к Владиславу и Волку.

– Осматривали, – отвечали они твердым голосом, – и нашли все в порядке, ни одного человеческого следа не было заметно.

– Судить Волка и Стабровского! Расстрелять их! – слышались голоса.

Волк был спокоен и только злобно усмехался; Владислав, мысленно призывая на помощь Лизу, старался не изменить себе. Но если бы приложить руку к его сердцу, которое то учащенно билось, то совсем замолкало, как у человека в предсмертной агонии, можно было бы судить, в каком он состоянии находился. Однако ж, большинство собрания утишило поднимавшуюся на них грозу, находя обвинение двух лучших членов своих вопиющею несправедливостью. Имя Стабровского чтили за великие пожертвования, сделанные жонду его матерью; его лично любили за прекрасные душевные качества; Волка не любили, но знали, что он иступленный патриот и не способен на измену. Положили осмотреть кругом местность, через которую можно было провезти ящики и тюки. Освидетельствовали твердый перешеек, отделявший лес от озера. Свежие следы множества колес и копыт лошадиных обозначались на нем, на берегу озера видны были прорези от спуска в него тяжестей. Послали лазутчиков по корчмам и деревушкам. Посланные с западной стороны леса не добыли никаких сведений. Посланные с восточной сто-

роны донесли, по сказанию евреев-корчмарей, что на днях приезжали в имение Сурмина несколько солдат, назначили квартиры пехотному полку, который должен был вскоре прибыть туда, и оповестили, что вслед за ним прибудет целая кавалерийская дивизия со своею артиллерией из Тверской губернии,^[10] что квартирьеры ездили с крестьянами Сурмина на многих подводах, но куда, за чем – неизвестно. Остановились на том, что был изменник, но что на изменника нельзя было указать. Кто открыл тайну места, где было сложено оружие, кто провел к нему команду, в этом была загадка сфинкса. Кому было разгадать ее? Падало подозрение на евреев, возивших оружие в лес из недостроенного костела, на Жучка... Но Жучок сам доставлял оружие, станет ли он поднимать на себя руки?.. Жаловаться нельзя и некому, продолжать исследования опасно. Если изменник найдется, мщение, ужасное, примерное мщение должно пасть на его голову. Предлагали было спалить деревни Сурмина. «Жаль, что мы не убили его, когда он, больной, ехал с доктором Левенмаулем», – говорили некоторые паны, сделавшие на его экипаж ночное нападение. Спалить деревни Сурмина было нелегко. Узнали, что приказчик его взял все меры предосторожности на случай неприятных действий со стороны жонда: усилены и вооружены караулы по деревням, две исправные пожарные трубы во всей готовности, бочки с водою припасены. К тому же весть о скором прибытии полка и затем кавалерийской дивизии озадачила членов жонда. Самые

робкие из них, по ироническому совету Волка, или попрятались в своих норах, или отправились в губернский город показаться тамошнему начальству под личиной преданности русскому правительству. Первый из беглецов был Суздилович, обещавший проливать кровь свою за отечество. Оставшимися членами жонда решено было скрывать свое несчастье в глубине души, Волка и Стабровского не предавать суду, а наскоро собрать у панов огнестрельное и холодное оружие, какое могло у них только оказаться, отобрать волей и неволей у хлопов косы и вилы и вооружать ими повстанцев, оставшихся верными отчизне, и дожидаться дальнейших событий.

Прискакал опять еврей-почтарь с письмом к Стабровскому. Жвирждовский-Топор просил немедленной помощи. Вскоре узнали, что осада Горыгорецкого института не удалась, шайки могилевские рассеяны, воевода Топор и его сподвижники бежали, он сам пойман и повешен на обгорелой перекладине ворот в Опатове, который он зажег собственной рукой. Так вымещал он на бедных своих соотечественниках горькие неудачи против русских. Товарищи его – кто повешен, кто расстрелян. Не только небольшие отряды войска, но исправники с крестьянами успешно действовали против мятежников. Героям жонда, мечтавшим водрузить польское знамя на колокольне Ивана Великого и даже на западном берегу Волги, неучтиво вязали руки назад и представляли законному начальству.

В Минской губернии организатор тамошней банды, капитан генерального штаба Машевский, также несчастно кончил свои подвиги.^[11]

Услышав о неудачах своего собрата, могилевского воеводы, Машевский утекал со всею бандой, довольно многочисленной, на запад. День был жаркий, повстанцы утомились усиленным походом. В нескольких верстах от местечка *Тимковичи* (Слуцкого уезда), по предложению одного из доводцев, хорошо знакомого с тамошнею местностью, назначен отдых в густом лесу. Среди его поляна, обнесенная древними дубами и березами, перерезанная ручьем, представляла приятный и надежный приют. Здесь расположилась банда. Сочная трава предлагала вкусный корм лошадям и под сенью тенистых деревьев, которых только верхушки затрогивали солнечные лучи, растилала свои цветные ковры усталым воинам. К водам ручья, чистым как хрусталь, холодным как лед, припали жаждущие. В банде было до 70 панов, большая часть их – люди богатые. Они совершали поход со всем комфортом роскошной жизни, какую привыкли вести у себя дома, и потому имели с собой экипажи, множество лошадей, поваров, многочисленную прислугу. Повстанцев – нижних чинов было, как говорили, близ тысячи. Все это расположилось на поляне. Задымился костер, началось стряпанье. Паны сели в свой кружок, военная челядь отделилась в свои. Во всех было сытно и весело. В дворянском кружке подавали изысканные кушанья, пили дорогие французские вина; в ар-

телях довольствовались сытной похлебкой из круп, сухарями и водкой. Никто не ожидал невзгоды. Был у них слух, что, когда они снимались с ночлега, позади их, верст за 50, ночевать пришел русский небольшой отряд. Нужны были крылья, чтобы настичь их. Но у русских солдат, когда требует долг, есть духовные крылья, переносящие их через сказочные пространства. Отряд этот, восстановивший свои силы пищей и отдыхом, состоял из сотни казаков и двух батальонов пехоты. Он сделал 25 верст в одну ночь, отдохнул на заре и после нового 25-верстного перехода очутился близ упомянутого леса через час после прихода туда шайки Машевского. Тихо подошли батальоны к лесу, казаки тихо обогнули его. Лошади их, будто понимая мысли своих всадников, казались, затаивали шаги свои. Шайка продолжала еще пировать или отдыхать. Среди леса завивался дымок и образовывал облачко на чистой лазури неба. На этот предательский дымок пошли русские. Только, когда беда была уже на носу мятежников, они встревожились и бросились к оружию. Но пули и штыки пехоты и пики казаков делали уже свое дело. Надо отдать справедливость находчивости и мужеству повстанцев и вождей их. Придя в себя, они сражались искусно и отчаянно. Во время самого разгара битвы прибегает к Машевскому мальчик-гимназист, лет 14–15, срезавший из охотничьего ружья русского солдата.

– Пулковник, я убил человека, – говорит он плаксивым голосом.

– Молодец! Не жалей псов-москалей, бей их больше, завтра будешь офицером, – был ответ Машевского.

Но скоро он сам тяжело ранен. Истекая кровью, он дает знак рукой русскому солдату, который в него выстрелил, подойти к нему. Солдат, видя, что бессильный, распростертый на земле враг для него больше не опасен, подходит к начальнику банды.

– Дарю храброму воину это дорогое оружие, – сказал Машевский, указывая на богатое охотничье ружье, лежавшее у ног его. – Прими его от умирающего на память.

Простодушный солдат принимает подарок, но тот, собрав последние силы, схватывает револьвер, лежавший с другой стороны, и стреляет в него в упор.

– Вот вам, собакам-москалям, на память от умирающего поляка.

Надо ли говорить, что товарищи убитого солдата, свидетели этой предательской сцены, dokonчили несколькими штыками умирающего начальника банды и не давали панам пайдона. Ценные вещи на них, деньги и заводские лошади достались большею частью казакам, экипажи разрешетены пулями. Съестное, оставшееся после роскошной трапезы доудцев, съедено, вина выпиты на память усопших.

Что делалось в это время в среде витебских заговорщиков? Довудцы, – как мы сказали, – притаились в своих гнездах или уехали в город, иные пробирались лесами на запад. Повстанцев частью распустили, частью разбежались они са-

ми. Только Волк удержал при себе самых отчаянных, человек до пятидесяти. Горя чувством мщения за неудачи витебского жонда, он переносился с отдельным отрядом из потаенного места на другое, жил в лесах, скрывался у друзей соседей, у ксендзов, палил русские деревни, наводил страх на витебскую окраину. Это был уж не революционный вождь, а атаман разбойничьей шайки. Часть ее исправники с помощью крестьян переловили. Сам Волк с оставшимися при нем 20 человеками, решившимися идти напропалую, высматривал еще жертву позначительней. Изменник, выдавший тайну местности, где хранилось оружие, не выходил у него из головы ни днем ни ночью. То на одного, то на другого из своих товарищей, обращал он свои подозрения и нередко, по какому-то инстинкту, останавливал их на Владиславе, хотя не имел на то основательных доказательств. Мысль эта лишила его сна и пищи. Следя за своей жертвой, он не мог найти себе покоя до тех пор, пока не найдет предателя.

Владислав оставался еще у себя дома, наблюдая, не вспыхнет ли еще где в ближайшем крае искра из-под угасающего пепла революции. Он успокоился, когда переловили большую часть шайки Волка, и собирался ехать к жене, но его задерживали еще в имении некоторые домашние, не терпящие отлагательства, распоряжения. Он посылал по временам письма к Лизе и получал от нее ответы. Никто и ничто не тревожило гонца с этими письмами. До сих пор он ничего не писал ей о политических делах края. Между тем молва

оповестила Лизу, что в Витебской губернии все успокоилось, она просила мужа прислать ей хоть *resume* положения края. С новым письмом был послан Кирилл.

«Наконец, только теперь могу сказать тебе, мой друг, – писал он, – что все в крае спокойно. Воля твоя исполнена. Обезоруженный *нами* жонд не был в состоянии ничего предпринять. Кровь братьев не будет больше литься. Счастье наше обеспечено. Я остался здесь только на два дня по экстренным хозяйственным делам. Через 48 мучительных часов разлуки я, счастливейший из смертных, обнимаю тебя. Но, желая тебя успокоить на свой счет, посылаю с этим письмом нарочного. Да будет над тобою благословение Божье.

Твой до последней минуты моей жизни *В. С.*»

Письмо было написано в неосторожных выражениях в минуты безмятежного спокойствия, в чаду от блаженства, его ожидавшего. О Волке, которого он почитал своим врагом, ходили слухи, что он убежал в Царство Польское, знали, что окна в доме его заколочены наглухо, на дворе ни живой души; с других сторон не ожидалось опасности.

Кирилл делал прежние поездки свои к барыньке без всяких приключений. Он ехал верхом и ныне спокойный, довольный, что скоро переедет со своим паном к Яскулке, где не будут их пугать революционные затеи и заживут они, как у «Иезуса на плечике». По временам в религиозном настро-

ении затягивал он духовные гимны. При спуске с сторожевой горы на окраине леса и в нескольких саженях от дороги показалась фигура Волка и с ним несколько всадников. При виде их Кирилл побледнел и вздрогнул.

– Стой! – закричал ему ужасным голосом Волк, высыпав со своей шайкой из леса и преграждая ему дорогу. – Куда и с чем едешь?

В это время он кивнул своим клеветам, те поняли его – и несколько сильных рук остановили лошадь Кирилла за узды.

– Еду от пана в город, – отвечал твердым голосом Кирилл.

– Есть письмо к пани Стабровской?

– Послан со словесным приказанием, – был ответ слуги.

– Разденьте его, – закричал Волк, следя ястребиными глазами за всеми движениями.

Скинули с Кирилла шинель, сюртук, жилет, порылись в них, потрясли их, посыпались мелкие серебряные монеты. В это время он нагнулся, как бы для того, чтобы подобрать деньги. Письмо, сложенное вчетверо, было у него в маленьком кошельке за голенищем сапога. Достать его из кошелька, разжевать и проглотить было в это мгновение мыслью верного слуги. Но это могло бы удаться разве какому-нибудь Боско и то не в такие тревожные минуты. Он достал, однако ж, кошелек, сжал его в руки и силился стереть то, что в нем заключалось, в порошок. Волк, заметив это движение, приказал своим схватить его за руку и разнять пальцы. Кошелек

был исторгнут с большими усилиями, так что на руке остались синяки и ссадины, и вручен начальнику шайки.

Волк вынул из кошелька скомканное письмо, печать рассыпалась. Он старался разгладить его и стал про себя читать с видимым затруднением, так как мелкие сгибы на нем мешали глазам свободно перебегать по строкам. Безобразное лицо его конвульсивно передернулось и приняло демоническое выражение, наконец он разразился диким хохотом.

– Так вот где изменник, – вскричал он и велел связать Кириллу руки назад, посадить его на лошадь и вести к себе на фольварок под сильным караулом.

Что делал Волк со своею шайкой в лесу? Не поджидал ли кого? До этого дня он, действительно, скрывался у своих друзей, панов и ксендзов, но, получив тайное известие, что один из членов жонда, подозреваемый в измене, должен проезжать из города по дороге через лес сторожевой горы, стал со своею шайкой тут поджидать его. Подозрение падало на невинного – судьба послала настоящего изменника. Смысл письма с некоторыми толкованиями был ясен, особенно выражения: *«воля твоя исполнена, обезоруженный нами жонд»*, не требовали перевода. Загадка сфинкса была разрешена.

VII

Через два дня Владислав отправился в своей варшавской бричке на четверике, при нем были кучер и слуга. К шести часам вечера он въезжал на песчаную сторожевую гору. Погода была пасмурная и ненастная. Порывистый ветер завывал в мрачном лесу, будто пел похоронную песню, деревья скрипели. Носились ли в мыслях Владислава ожидания скорого, сладкого свидания с обожаемою им женщиной, или природа настраивала его к тяжелому предчувствию, знал один Бог. Лошади шли медленно по глубокому песку в гору. Вдруг с криком, с двух сторон, из леса налетели на экипаж десяток молодцов и между ними Волк. Лошади остановлены, построжки, гужи и хомутины перерезаны. Увидав Волка и привязанного к дереву Кирилла, Владислав понял все, что его ожидало. Первым его движением было схватиться за револьвер, лежавший в сумке брички, и выстрелить в своего врага. Но удар, худо направленный неловким стрелком, владевшим, как он признавался матери, лучше пером, чем огнестрельным оружием, миновал цель. Минута, и человек шесть окружили экипаж, вскарабкались в него, один выхватил револьвер, другие силились вытащить Владислава из брички. Кучер и слуга слезли со своих мест и бросились помогать своему господину. Борьба была отчаянная. У слуги было охотничье ружье. Он выстрелил и свалил одного из

шайки. Против него выступил с револьвером сам Волк, слуга заносит на него наотмашь приклад разряженного ружья, как попало. Удар приходится по колену и раздробляет чашку. Сгоряча Волк не чувствует боли. Наконец, сила превозмогла: Владислав, изнеможенный борьбою, исторгнут из брички, связанный по рукам и ногам, в плену у разбойников, прислуга убита.

– Помнишь ли, – сказал Волк, у которого глаза горели, как раскаленные уголья, – помнишь ли клятву, данную тобою в Москве, когда поступал в жонд? Ты изменил ей. Помнишь ли, что завещала мне мать твоя, когда я говорил о кинжале, который ты мне подарил? Ты истоптал завет матери. Друг, брат!.. А насмешки надо мною, над всеми нами? Хоть бы представление друзьям, братьям красавицы-патриотки Елизаветы! Недаром нарек ты меня палачом. Да, я избран совершить над тобою приговор нашего верховного трибунала. Видишь, вот роковой кинжал!

Он блеснул кинжалом, который вынул из ножен. На стали не было ни одного пятна, он не употребил его в кровавое дело с простыми смертными, приберегая для высшего назначения.

– Тащите его в лес, – крикнул Волк своей шайке. – Пусть слуга его видит казнь его и передаст о ней прекрасной актрисе, достойной его подруге.

Владислава повлекли в лес и привязали к дереву против того, к которому был привязан Кирилл. Слуга, выбиваясь из

своих уз, грыз их от чувства бессилия помочь своему господину.

– Скажи: «да здравствует Польша и погибнут враги ее», и я облегчу тебе переход в вечность.

Владислав молчал.

– Так разденьте его.

Раздели.

– В этом виде лучше почуют мертвечину дикие звери и разнесут ее на части. Теперь готовься, отступник, читай себе отходную.

Владислав взглянул на пасмурное небо, едва видимое между верхушками дерев, и благоговейно, со слезами на глазах, произнес молитву, потом, обратись к верному слуге своему, завещал передать Лизе, что в последние минуты его жизни дорогое имя ее было последним словом, которое уста и сердце его сказали на земле.

Волк поднял кинжал и утопил его в груди несчастной жертвы. Розовая кровь брызнула на руку убийцы и забила ключом на белой, высокой груди мученика. Трава под ним далеко окрасилась. Скоро прекрасное, цветущее лицо Владислава подернулось белым покровом смерти.

К дереву, к которому привязано было тело его, прибили дощечку, заранее припасенную, с надписью: «*Так карают изменников отчизны*». В этом положении оно оставлено на съедение волкам. Убитые слуга и кучер брошены далеко от дороги в чаще леса. Бричка разрублена на мелкие части, их

также разбросили по лесу. Лошади уведены в фольварк Волка, вещи поценнее и деньги разобраны шайкой, по дороге не осталось следов от разбоя.

Бедный Кирилл, привязанный к дереву и осужденный смотреть целые часы на труп любимого господина, пробыл в этом положении весь день. В ночь озарился лес заревом. То горел дом Волка, службы и хозяйственные заведения, подожженные собственной его рукой.

Тело Владислава не было, однако ж, тронуте волками оттого ли, что они удовольствовались снедью кучера и слуги, или испуганные заревом пожара, может быть и стрельбою, бывшею накануне. Смертные останки его также пощажены были смертью, так как вся кровь его уж истекла, а кто не знает, что такие трупы сохраняются долее трупов людей, умерших естественною смертью.

Утром следующего дня ехавший на возу по дороге через лес еврей услышал крики. Испуганный, он долго был в раздумье, идти ли на них, наконец решился. Ужасное зрелище представилось ему. Он хотел было бежать к своему возу и уехать, но, склонясь на жалобные просьбы узника, развязал на нем веревки и, прельщенный обещанием щедрой награды, отвез его в стан. Здесь рассказано было Кириллом все, что с ним и его паном случилось. Началось следствие, похоронили Владислава на кладбище ближайшего костела, сделаны поиски за убийцей и его шайкой. Шайка была распущена Волком, но вскоре большую часть ее переловила мест-

ная полиция с крестьянами. Сам он с двумя преданными ему сообщниками, не хотевшими с ним расстаться стал пробираться на обетованный запад. Раздробленное колено его сильно разболелось, мучения стали нестерпимы. Идти пешком сделалось невозможным, на лошади сидел он с величайшим трудом. Так скитались они несколько суток как бродяги, где день, где ночь, большей частью в лесах. Взятыми из дому в изобилии съестными припасами утоляли они голод. Револьвер украли у Волка приставшие к ним новые бродяги, беглецы из разных банд. Оставшиеся при нем товарищи, узнав, что за ними послана погоня, и наскучив его стонами и скрежетом зубов, бросили его на волю судьбы. Наконец, самого Волка выследили полиция и крестьяне на границе Витебской и Минской губерний у какого-то болота. Ему осталось отдаться в руки преследовавших его или попытаться переехать через болото и, если не удастся, погибнуть в нем. Потеряв голову, он бросился в болото. Некоторое расстояние проехал он благополучно по кочкам и через кусты, жестоко хлеставшие его по лицу, только в одном месте, казавшемся ему надежным, лошадь его завязла. Трясина начала всасывать ее в себя. Чем более лошадь билась, тем более погружалась вглубь. Волк благословил бы судьбу свою, если б мог с нею утопиться. Но его не теряли из вида крестьяне, хорошо знавшие местность. Им велено было достать его живьем. Они обошли болото с другой стороны и, перескакивая с кочки на кочку, цепляясь за сучья кустов, подкладывая под се-

бя жерди, приближались к своей добыче. Раздаются крики: «Лови, лови его!» В них слышит он свой приговор. Несмотря на мучительную боль в ноге, он слезает с лошади. То в безумном отчаянии, будто вполне владея здоровыми силами, шагает по болоту, то падает, изнемогая от страданий, едва ползет, как жаба, которую мальчишки пришибли камнем, и у которой внутренности выходят уже наружу. Он выбирает самые опасные места трясины. Тень руки блуждает около него, она кажется ему рукою баснословного исполина. Какие-то тиски схватывают его, он чувствует на шее своей мокрую, холодную веревку. Как бы затянуть ее? – думает он, но у него недостает уже сил, он теряет, наконец, сознание окружающих его предметов. С разных сторон схватывают его, кладут на веревочные носилки. Его приводят в чувство, его берегут, как драгоценный субъект, как знатного заложника. Он отвезен в ближайший городок, посажен за железную решетку. Над ним наряжен военный суд. Собственное признание, приправленное ругательствами насчет русских и сожалением, что он не мог сделать им более вреда, довершает улики свидетелей.

В один день, на позорной колеснице, в позорной одежде преступника, он приближается к месту казни. Толпа глядит на него бесчувственно, иные даже насмеваются над его дикообразной физиономией. Он честит народ именем рабов, себя превозносит героем-мучеником за свободу отчизны.

– Убийца своего брата, – брошен ему из толпы громовый

упрек.

Только пани и паненки со слезами на глазах простирают к нему руки и благословляют его. Столб поставлен на торговой площади, обряды исполнены, Волк повешен.

Остается мне исполнить тяжкий долг – отдать отчет в тех проявлениях ужасного состояния Лизы, когда она получила через Кирилла и Евгению Сергеевну роковую весть о смерти Владислава. Постараюсь сократить описание грустных, раздирающих душу сцен. Кирилл, исхудалый, постаревший в несколько дней, явился сначала к Зарницыной и рассказал ей о своем плене и разбойническом убийстве своего господина. Зарницына, как можно судить, была поражена этим известием. Со всеми предосторожностями, со всею горячностью материнской любви передано оно Лизе. Были часы, в которые боялись за ее рассудок. Несчастливая совершенно упала духом, проклинала себя за то, что погубила страстно любимого ею человека, сурово выговаривала своей второй матери, что вовлекла ее в *преступление*. Потеря ее преобладала в ее сердце и мыслях над убеждением, что она совершила подвиг за дело отечества, что избавила край от многих бедствий. Молитва образумила ее. Она поспешила на могилу мужа и на ней выплакала свою молодую жизнь, все свои земные радости. С этого времени горечь ее не проявлялась более наружу, но тем сильнее сосредоточилась в груди ее. Яскулку тоже поразила весть об ужасной смерти Владислава, им искренно любимого. Он стал со дня на день сильно хиреть. Евгения Сер-

геевна, представив администрации все доказательства преданности Владислава России, спасла имя его от нареканий и осуждений. Имя это осталось без пятна. Впоследствии над могилой его был поставлен памятник с простою надписью: *«такой-то, таких-то лет, погиб мученическою смертью от руки убийцы за дело русское»*. Подвиг двух женщин остался тайною для всех, кроме самых близких им. Нужно ли говорить о том, сколько нежных, горячих забот и утешений посвятили Тони и Сурмин несчастной вдове.

Лиза Стабровская осталась жить при своем деде и отказалась от света. Через несколько месяцев он умер на руках ее, завещав ей все свое состояние. Но для чего было ей теперь богатство? Она продала имение, дав себе слово, вырученные за него деньги употребить на бедных и на обновление православных церквей в Белоруссии. Только неважную сумму предназначила себе. Была у нее еще затаенная мысль, которую подкреплял по временам вид фарфоровой статуэтки – *сестры милосердия*, подаренной ей отцом ее. «Это было его назначение, его завещание, – говорила она про себя, – это была воля Провидения, и я *хоть* этот завет свято исполню».

Совестно мне вслед за рассказом о печальной участи моей героини перенестись тотчас к лицу, погрязшему в омуте бесчестных дел, с клеймом преступника, и между тем довольному своею судьбою, счастливому. Но не так ли на сцене, где вращается жизнь человечества, стоят рядом добродетельный человек и злодей, люди с разными оттенками – бе-

ленький, черненький и серенький. А роман есть отражение, копия этой жизни. С такою оговоркою приступаю к последнему сказанию о Киноварове-Жучке.

Вечером летнего дня шел он по главной улице города на Двине. Он в этот день обходил своих должников, так как в следующее утро собирался отправиться восвояси, в Динабург. Только что кончил он свои расчеты с Зарницыной и погоревал с ней о смерти Владислава. Довольный, счастливый, что обделал делишки, так что остриг овечек и снял шкурку с волков, Жучок мечтал дорогой, как заживет в своем домике, будет продолжать свою торговлю и идти с нею в гору. Мало ли какие мечты роились в голове его. И садик-то нужно бы спустить по отлогости горы к Двине, китайскую беседку в нем устроить, где бы в ней соснуть после сытного обеда, не худо бы и купаленку на реке поставить. А то, когда он сходит в привольные для всех воды, не убережешься от нахальных взглядов прачек, моющих поблизости грязное белье. Пуще всего надоедает ему бинокль, наводимый на него соседкой, вдовушкой гарнизонного офицера, когда он пробирается по берегу к вожделенным струям. Чего ей?

По пути его была гостиница, которую содержал поляк Бршепршедецкий. Кстати, нужно было завернуть к нему, чтобы очистить счета за забраный кяхтинский чай, спрашиваемый прихотливыми русскими офицерами полка Зарницына, незадолго стоявшего в городе, и отчасти поляками. Был счетец и по векселю. Боковой карман его кафтана вмещал

уже в своей утробе три тысячи рублей, почему ж бы не прибавить в нее нового слоя кредиток. Содержателя гостиницы не было ни в конторе, ни в его семейном отделении. Он находился в одном из номеров у своего постояльца, белорусско-го помещика, промышлявшего более карточной игрой, чем сельским хозяйством. Здесь собралось человек с десять раз-нородных личностей. На зеленом поле ломберного стола ле-жали стопы колод и другие принадлежности карточной иг-ры, красовались пачки кредиток разного цвета и среди их кучка золота в ожидании, что в турнире, предложенном бан-кометом, рьяные рыцари присовокупят к ним новые вкла-ды. Понтеры сидели за столом или стояли подле него. На доклад номерного содержателю гостиницы, что пришел та-кой-то и желает его видеть, Бршепршедецкий попросил хо-зяина номера позволить Жучку войти, предупредив, что он человек неопасный, да и некоторые из игроков ручались за его скромность. Позволение охотно дано. Трактирщик, лю-бивший сам играть в карты, в этом случае рассчитывал, что на несколько часов задержит в номере кредитора и оттянет свой долг до другого дня. А кто знает? Судьба-индейка не нанесет ли ему в этот вечер золотых яиц? Тогда и квит с дол-гом.

Вошел Жучок, не перекрестясь, как это обыкновенно де-лал, когда входил к русским, но только низко поклонился и пожелал честной кампании здравия. Трактирщик отреко-мендовал вошедшего банкometу, хозяину номера; тот, заня-

тый игроу, довольно небрежно кивнул Жучку.

– Извините, пан добродзей, – сказал своему посетителю трактирщик, загибая угол на выигранной им карте, – видите, в ходу, наверно, принесли мне счастье. Успеем еще поговорить о деле, а вы покуда присядьте да поучитесь в отгадку.

– Подожду, – отвечал смиренно Жучок. Содержатель гостиницы мимолетно указал глазами молодому человеку, лет двадцати, стоявшему недалеко от него (это был его сын), на нового посетителя и на бутылки, стоявшие на подоконнике. Молодой человек понял взгляд отца, раскупорил бутылку шампанского и, налив из нее огромный стакан, предложил его Жучку.

Этому отказываться было совестно, бутылка ведь для него начата. В давнопрошедшее время он пивал водку стаканами, чтобы заморить в груди угрызения совести, и не бывал, как говорят, ни в одном глазе, и теперь от нескольких глотков искрометного затуманило у него в голове.

Никто из игроков не обращал на него внимания; знали, что купец Жучок не умеет и карт держать в руках и потому в обществе их человек посторонний.

Между тем глаза его разгорались более и более, перебегая от карт банкмета и понтеров на пачки кредиток и особенно на кучку золота, игравшего своими искрометными лучами. Давно отрекся он от карт, погубивших его, и твердо держался обета – не прикасаться к ним, словно к огню. Однако ж, какая-то невидимая сила притягивала его к столу, он к нему

подошел.

На этот раз демон-искуситель стоял за ним и нашептывал ему то насмешливые, то обольстительные речи:

«Посмотри, – говорил лукавый голос, – как тебя оскорбляют здесь. Тебя, мизерного купчишку, выталкивают, как пария, из среды благородного общества, хоть бы из учтивости предложили принять участие в игре. И не с такою шляхтою играл ты, генералы не гнушались перекинуться с тобою. А куш-то порядочный, едва ли не десять тысяч; банкOMET богат, не постоит и за большую сумму. Проигрывал ты прежде. Что ж? Может быть, судьба ждала тебя в этот час, отыграешься, да еще разбогатеешь. Поверь мне, сорвешь банк. А удовольствие поразит неожиданным торжеством победы людей, которые тебя ни во что считают, с чем можно сравнить? Рискни.»

Пыхтел, боролся Жучок со своим искусителем до поту лица и – рискнул.

– Позвольте ли мне, сиволапу, поставить карточку? – сказал он, обратясь к банкOMETу.

– Не имею права отказывать здесь никому, – отвечал этот, несколько поморщившись, воображая, что ставка такой мизерной личности будет ничтожна и только задержит игру.

– Помните, – сказал насмешливо банкOMET, – что правая сторона моя, а левая ваша, и расплата должна быть немедленная.

– Смекаю. И я играю ведь не на щепки, – отозвался Жу-

чок.

– Я ручаюсь за него в тысяче, – сказал хозяин гостиницы, мигнув банкometу, – авось, дескать, молодец попадет на удочку.

Карта Жучка пошла и взяла сто рублей. Он поставил ее на транспорт, загнув по правилам игры. Взяла.

– Угодно получить деньги? – спросил его банкomet уже голосом серьезным и вежливым.

– Атанде – идет на пе.

Карта взяла восемьсот рублей серебром.

Изумленные игроки переглянулись. Тот, кто не умел брать карты в руки, преобразился в искусного и отважного карточного бойца. Сам банкomet, хотя и испытанный в боях подобного рода, внутренне признал его за опасного противника, но не обнаружив и тени смущения, спросил его, «какими деньгами желает он получить выигрыш, кредитками или золотом».

– И тем и другим, винегретец, – отвечал Жучок, смотря свысока на игроков и вздернув рукою свою тощую с проседью бородку. – Вот вам и сиволап, – говорили его глаза.

Деньги были отсчитаны золотом и кредитками разной масти.

В Жучке ожил прежний Киноваров.

– Прикажите подать бутылочки две *отборной* шипучки, – сказал банкomet хозяину гостиницы, зачесывая пятерней свою прическу.

– Позвольте и мне на выигрыш поставить полдюжины, – предложил Жучок.

– Почему ж не так, – отозвался хозяин номера. Трактирщик вышел из комнаты, чтобы распорядиться насчет вина.

Жучок-Киноваров написал мелом на столе 1000 рублей и закрыл цифры картойю.

Карты в талии ложились направо и налево.

– Атанде, – закричал герой-понтер, – 600 рублей приписываю. – Взяла, – промолвил он немного погодя и вскрыл карту.

Банкомета подернуло, он отсчитал 1600 рублей. Было заметно, что он нетерпеливо посматривал на дверь. Наконец, вошел хозяин гостиницы, за ним несли корзину с бутылками. Он сам откупорил их.

– Пожалуйста, без пальбы, – заметил банкомет.

– Как удастся, будут с пальбою и без нее, – сказал хозяин гостиницы.

Налили стаканы. Зоркий, наблюдательный глаз высмотрел бы, что Жучку наливали из одной бутылки, прочим игрокам из других. Жучок, упоенный и без вина своим выигрышем, не заметил этой мошеннической проделки и выпил поднесенный ему стакан. Он, однако ж, поставил новую карту на малый куш и выиграл, но вскоре голова его стала кружиться, в глазах запрыгали темные пятна.

– Что, уже оробели? – сказал иронически банкомет, – пошли упражняться к меледу.

– Оробел?! – крикнул обиженный Жучок и поставил карту на три тысячи.

Карта была убита. Он не заметил, как тот передернул карту в талии. Горячась больше и больше, наш понтер удвоил куши, держался прежних рутерок. Противник его клал их все на правую сторону.

Выиграл было Жучок пятьсот рублей на одну карту, банкомет забастовал. Стали рассчитывать. Все выигранные Жучком деньги были возвращены прежнему их обладателю; три тысячи, хранившиеся в боковом кармане купеческого кафтана, перешли к нему же вместе с векселем трактирщика в 1000 рублей, да сверх того взята с несчастной жертвы сохранная расписка задним числом в 5000 рублей золотой монетою. Перо в руке, и расписка написана и подписана. Он попросил стакан воды, выпил и, казалось, несколько отрезвился. Наняли извозчика, дали Жучку выпить другой стакан воды, поднесли спирту к носу и отправили домой, наказав возничему сесть с ним рядом на дрожки и поберегать его дорогой. Игроки разошлись. Хозяину гостиницы за бутылку *отборного* шампанского возвращен его вексель с надраaniem. Прислуга была щедро оделена. Дорогой Жучок смутно припомнил все, что с ним случилось в этот вечер. Привезенный извозчиком домой, он был сдан прислуге. К утру он совершенно пришел в себя. Трех тысяч, лежавших у него в кармане, не оказалось налицо, так же, как и векселя от имени Бршепршедецкого. В полдень пришел к нему квартальный и

предъявил сохранную расписку, данную, за несколько дней назад.

– Рука ваша? – спросил его полицейский чиновник.

– Рука моя, – сказал оторопевший Жучок, – но я писал расписку в пьяном виде. Меня опоили зельем, обыграли, я не помнил, что делал.

Справилась полиция в гостинице, допрашивала ее содержателя, прислугу. Жучок не знал имен игроков кроме имени банкомета и то по сохранной расписке, ему предъявленной. Все спрошенные показали, что указанного господина, будто обыгравшего его, не было в прошедший вечер дома в гостинице, что Жучок действительно был там, потребовал водки, закуску и бутылку шампанского, угощал им хозяина и пьяный отвезен домой. Показания его, как ложные, не были приняты в уважение. Полиция распорядилась отобрать у него паспорт до уплаты долга, обязала хозяина его квартиры не отпускать со двора его экипажа и лошадей и сверх того приставила к дверям его полицейского унтер-офицера, который должен был, если он выйдет со двора, ходить по его пятам. Жучок в этот день ничего не ел, черные мысли начали бродить у него в голове.

Предстал перед ним, как живой, бывший его начальник, Ранеев, с его ясными, ласковыми глазами. Совесть развернула перед ним свиток его преступлений. И видел он себя под уголовным судом, потом за железной решеткой, иногда проходящего по городу для допросов, в сопровождении военно-

го конвоя, под перекрестным огнем взглядов, исполненных злобы и презрения. Видел он себя в бегах, скрывающимся по лесам, когда собственная тень пугала его. Наконец выступил перед ним добродушный лик умирающего праведника, он слышал его евангельские слова прощения, и слезы закапали из его глаз. Позади его был мрак, впереди то же.

– Есть ли Бог? – спросил он своего сторожа.

– Что ты брешешь, – сказал ему тот, – не рехнулся ли?

– Есть, мой друг, и суд Его рано или поздно карает преступника, сколько бы он от него не отвертывался, – оговорился Жучок.

Потом он начал ласково беседовать с унтер-офицером, спрашивал, есть ли у него жена и дети, и на ответ, что есть жена и трое детей, дал ему два полуимпериала, присовокупив, чтобы помолился за раба Божия *Александра*. Немного погодя, он просил его идти с ним купаться.

– Надо мне освежиться, – говорил он, – в прошедший вечер я был сильно хмелен.

Полицейский служитель, обольщенный его ласковою речью и золотыми, согласился на его просьбу. В данной ему квартальным словесной инструкции было сказано только, чтобы «не выпускал заложника из вида», а о том, чтобы ему не позволять купаться ничего упомянуто не было.

Пошли на реку.

Жучок разделся на берегу и просил побережь его белье и платье, сам же добрел в воду.

– Смотри только, далеко не ходи, не то набредешь на омут.

А плавать умеешь?

– Как утка.

Ночь была тихая с нерешительным светом двух зорь. Одна, вечерняя, уже погасала; другая, утренняя, только что проглядывала. Черной каймой отражались берега в реке, в вороненой стали ее вод дрожали звезды, чешуйчатые волны робко набегали на берег и монотонным плеском своим навели дремоту на вежды полицейского служителя. Посреди реки горел огненный сноп, он отражался в ней от пучка лучины, зажженной на корме челнока, и едва двигался по водам вместе с ним. Было видно, что в челноке сидел человек, наклонял по временам голову и быстро вонзал какое-то орудие в глубь реки. Рыбак *лучил* налимов, которыми Двина была изобильна, бил и ловко поднимал острогой извивающуюся, как змею, рыбу.

В это время Жучок отдалялся все более и более от берега. Сначала шел он по грунту реки, потом, потеряв его под собою, погрузился, вынырнул, опять погрузился и исчез. Что-то в воде забурчало. Минута, и все затихло, только в том месте, где он в последний раз погрузился и исчез, образовался водяной круг, и тот скоро сгладился. Так покончил с собой Киноваров. Если бы он тонул по неосторожности, то, вероятно, боролся бы с водою и успел бы крикнуть.

Между тем полицейский служитель, клюнув два раза носом, вышел из своей дремоты и стал любоваться огненным

снопом, ползущим по реке, и ловкими движениями рыбака. Вскоре он вспомнил о своем пленнике и оторвался от зрелища, так сильно его занимавшего. Осмотрелся, приложил руку над глазами, чтобы лучше видеть – никого на водах кроме рыбака в челноке.

– Приятель, а приятель! – закричал он ему.

Рыбак, занятый своим делом, ничего не слышал или не хотел слышать.

– Эй! Холоп! Бисов сын! – закричал унтер-офицер командирским голосом так, что звуки его ударились в противоположный берег и раскатились по водам.

– Что тебе надо? И так по твоей милости сорвалась важная рыба.

– Не видал ли человека, что купался тут?

– Мало ли тут купаются, мне-то что.

Бедный сторож сильно растерялся. «Не переплыл ли Жучок через реку, не сбежал ли? – думал он. – Если бы переправлялся вплавь через реку, увидел бы все-таки рыбак. Да и как бежать без белья и платья?»

Побродил по берегу – не видать никого. Оставалось донести обо всем начальству, что он тотчас и исполнил, не забыв захватить с собою белье и платье Жучка.

Собрался народ, стали сновать лодки по течению реки, закинули невод. Все напрасно, ни живого, ни мертвого Жучка не нашли. Только через дня два, за несколько верст от города усмотрен труп его, прибитый к берегу волнами; раки успели

уж полакомиться им.

Когда делали опись его движимого имущества для продажи с аукциона в уплату долга по сохранной расписке, нашли под чернильницей на столе записку, в которой он объявлял, что мучения совести за совершенное им несколько лет преступление делают для него невыносимы, и он решил на самоубийство. Записка была подписана: *«Коллежский советник и кавалер Александр Никаноров Киноваров, именуемый Жучком»*. Недоумевали следователи, каким образом купец из Динабурга Жучок превратился вдруг в коллежского советника и кавалера Александра Никанорова Киноварова.

Когда Сурмин, посвященный в историю жизни Ранеева, узнал о самоубийстве Жучка, он разъяснил Зарницыной смысл загадки, затруднявшей следователей. Так и осталась она неразгаданною для них.

VIII

По письму Сурмина к матери она приехала с двойниками своими в город на Двине и остановилась в номерах той же гостиницы, куда незадолго до того переехал ее сын из квартиры Зарницыной. Она с радостью благословила его на брак, желанный ею с того дня, как узнала Тони.

– Ты с нынешнего дня – третья моя дочь, – сказала Настасья Александровна, обнимая ее, – и потому скажу тебе как мать: ты всегда во всем поручала себя Богу, а я каждый день молила Его, чтобы Он исполнил лучшие мои надежды видеть тебя моей невесткой. Ты не искала высоких подвигов, на них избираются Провидением немногие. Честь им, любовь и поклонение общества, народа! Но помни, душа моя, что и без этих подвигов женщина, свято исполнившая обязанности дочери, супруги, матери, исполнила свое высокое призвание, угодила Богу и достойна общего уважения. Она сама счастлива и разливает счастье на тот кружок, которому себя посвятила.

Дочери Сурминой были в восторге, что приобрели новую сестру по выбору их сердца. Положено было с общего согласия жениха и невесты отвезти пока Тони Лорину в Москву к братьям и Даше, а уж потом Антонину Павловну Сурмину – хозяйкою в приреченское имение, доставшееся после дяди. Прощание Лизы и Тони было самое трогательное, они рас-

ставались, как будто не надеялись больше свидеться.

Свадьба была в Москве, здесь провели *молодые* свой медовый месяц. Родные остались для Тони теми же дорогими друзьями, какими были прежде. Она приглашала Крошку Доррит к себе на житье в деревню, но та, пожелав ей всевозможного счастья, не хотела расставаться со своими братьями и скромной долей, которой лучше не желала. Тони распределила свой денежный капитал, доставшийся ей после смерти ее благодетельницы, братьям и сестре, только переслала к себе в деревню свой любимый рояль, с которым не могла расстаться.

Знали, что Лиза переехала в усадьбу Зарницыной, находившуюся в одной из великороссийских губерний, где Евгения Сергеевна проводила каждое лето и осень для наблюдения за сельским хозяйством. С того времени о Стабровской не было слуха, ни с кем она не переписывалась.

В один из благодатных летних дней прошлого года в шестом часу вечера пробирались между памятниками кладбища *** девичьего монастыря красивый, статный мужчина, по виду лет тридцати с небольшим, и молоденькая дама, блондинка очень привлекательной наружности. Они шли рука об руку. Можно было засмотреться на эту парочку. Позади их бежал хорошенький, едва ли не двухлетний мальчик, по пятам которого шла нянька, русская, судя по темному шелковому платочку, повязанному на голове. Интересная парочка, вероятно, муж и жена, не останавливалась око-

ло великолепных памятников. Ребенок, попрыгивая, засматривался на улыбающихся ему изваянных ангелов и на золотые кресты, искрившиеся под лучами солнца. Иногда вбегал он в часовеньки. Зарождающаяся жизнь играла в жилище смерти. Так мотылек порхает над черепом мертвеца. Молодые мужчина и дама остановились у одной скромной могилы. На ней была положена гладкая гранитная плита с надписью выпуклыми бронзовыми буквами, утонувшая в цветах свежих, благоухающих, вероятно лелеемых рукою любящего человека. Молодой мужчина скинул шляпу, перекрестился и положил земной поклон; дама также перекрестилась и преклонила голову, на глазах их навернулись слезы.

– Миша, – сказал мужчина, – взяв мальчика за руку, – скинь картуз, поклонись могилке и поцелуй ее. Здесь похоронен *честный* человек, друг твоего папаши и мамыши. Желал бы видеть тебя таким же честным, когда ты будешь большой.

Дитя не понимало многого, что говорил отец под впечатлением душевного настроения, но исполнило, однако ж, в точности, что ему было приказано, хотя глазенки его бегали по красивым цветочкам.

В нескольких шагах от них, около входа в одну из монастырских келий, сидела освещенная косыми лучами вечернего солнца, на плетеных креслах, молодая монахиня. Лицо ее, несмотря что было мертвенно-бледным, еще сохранило отпечаток прежней красоты. Она по временам кашляла зло-

вещим кашлем. Около нее сидели две молоденькие девочки, то глядели ей в глаза с трогательным участием, то беседовали с ней. Монахиня при виде группы, посетившей скромную могилу и почтившей ее горячими изъявлениями любви и уважения к почившему в ней, всплеснула руками:

– Тони, Андрей Иваныч! – вскрикнула она.

– Лиза! – отозвалась молодая дама и бросилась обнимать монахиню.

– Уже не Лиза, милый друг, а сестра Агнеса, – сказала монахиня, и слезы заструились по бледным, исхудалым щекам.

Она дружески протянула руку Сурмину.

– Когда я увидела вас у могилы моего отца, сердце сказало мне, что это люди, горячо его любившие.

– И ты в продолжение почти трех лет не хотела уведомить нас о себе хоть одной строчкой, – упрекнула ее Тони.

– Боялась соблазниться убеждениями дружбы. Я хотела прервать все свои связи с миром, даже с теми, кто мне, как вы, был дорог в нем; но, увидев вас, чувствую, что еще не оторвалась от земли.

Все было забыли о мальчике, сыне Сурминых; сестра Агнеса взглянула на него и спросила:

– Сын ваш?

– Миша, – сказала Тони, – подойди к сестре Агнесе и попроси у нее благословения.

– Имя отца моего, благодарю вас, друзья мои, – произнесла с чувством монахиня.

Мальчик пугливо подошел под благословение молодой женщины, одетой во все черное, не так, как одевались его мать и другие женщины, которых он видел у себя дома, но вскоре побежденный ее ласковой речью, нежными поцелуями, приманкой блестящих четок, сел на ее коленях.

Она попросила одну из девочек принести из ее кельи золотой образок Михаила Архангела и, когда его принесли, благословила им дитя.

Когда они прощались, два розовых пятна горели на щеках сестры Агнесы.

– Знаете ли, – сказала она со слезами на глазах, – вы задержали меня на время на земле. По крайней мере умру со сладкими воспоминаниями о вашей дружбе, о кратких днях моего счастья и с убеждением, что я не бесследно жила в здешнем свете. Там я *их* увижу.

В следующем году Сурмины посетили монастырь и спросили, как пройти им к сестре Агнесе. Им указали на свежую могилу возле могилы Ранеева.

Говорить ли об участии третьестепенных лицах моего романа. Может быть, мой читатель захочет узнать, что сделалось с ними. Удовлетворю его любопытство, посвятив этим лицам несколько слов на прощанье. Вот что рассказал о них Сурмину бывший адвокат его Пржшедиловский: он продолжал с успехом свои занятия. Счастье, которым он наслаждался в своем русском семействе, не мешаясь в политические дразги, было долго отравлено известием об ужасной смер-

ти друга его, Владислава. Маврушкина законно ограничена в пользовании своим наследством. Распоряжениями тех, кому о том ведать надлежало, образование и воспитание детей ее поручены благонадежному надзору умного, ученого и честного русского педагога. Сети, которыми спутывали их польские гувернеры и наставники, навсегда разорваны. Детские сердца, еще не успевшие напиться отравой их ложных внушений, еще неиспорченные, обновились в купели нового учения. Можно надеяться, что из них выйдут добрые, верные сыны отечества, образованные, полезные себе и обществу граждане. Людвикович после погрома польского мятежа едва ли образумился. Он спокойно поживал в полном довольстве и комфорте. Недавно слышал, что он отправился подышать более свободным воздухом. Бой-баба Левкоева странствует по Европе при какой-то богатой барыне в виде компаньонки, болтает ей собственного сочинения и чужие анекдоты, питается крупяными от ее трапезы, жуирует и благословляет свою судьбу. Куда девался сынок ее, – Сурмин не допытывался узнать. Студентик Лидин с честью подвизается в одном из новых судебных мест. Я слышал еще в прошедшем году, что Застрембецкий, оставшийся верным своему обету, пошел по службе в гору.

Приложение

Неделя беспорядков в могилёвской губернии, в 1863 году

I

В Могилёвской губернии на 920.000 обоего пола жителей считается около 38.000 католиков и 120.000 евреев. Для отправления католического богослужения находятся в ней 40 приходских костелов,^[12] раскинутых по губернии; из них два в самом Могилёве, где сосредоточивается наибольшее число католиков. Наплывом католиков к губернскому городу объясняется значительный процент католического населения в Могилёвском уезде.

Католические прихожане принадлежат большей частью к сословию помещиков, чиновников и мелкой шляхты.

Помещики-католики по вероисповеданию большей частью поляки по происхождению. В краю, во время польского владычества и латинской пропаганды, духовенство стремилось неразрывной цепью сковать веру с политикой, имя католика с именем поляка. Польское дворянство и здесь, как в Литве, осталось верным преданиям Речи Посполитой; в нем таились готовые элементы к крамолам, обрабатываемые де-

ательностью польской эмиграции и ксендзов.

Чиновники, преимущественно жители городов, происхождением или связями принадлежа к тому же обществу, вполне разделяли и его настроение.

Наконец мелкая шляхта и здесь как повсюду представляла обильный материал для революционных целей.

Когда эмиграция в 1861 году уже решительно стала думать об осуществлении своих давних замыслов, она не могла забыть Могилёвское захолустье. Оно было нужно ей, чтобы заявить в глазах Европы обширность польского возмущения, подновить воспоминания о границах Польши 1772 года и подтвердить польские притязания.

В конце 1861 года дворяне Рогачёвского уезда составили противозаконное постановление, с намерением, через губернского предводителя, прошением на высочайшее имя, между прочим ходатайствовать о присоединении Могилёвской губернии к Литовским, об открытии Виленского университета, о введении польского языка в учебных заведениях и в делопроизводстве, о разрешении при смешанных браках крестить детей в вероисповедании по желанию родителей.^[13]

В 1862 году польское общество в Могилёвской губернии уже явно стало выражать свое сочувствие к варшавским событиям: явились трауры и чемарки, слышались гимны; поляки стали избегать русских; ксендзы с амвонов говорили двусмысленности; кое-где во время службы, втихомол-

ку пропускали поминать императорскую фамилию; паненки наряжались в браслеты из цепей и накалывали белые орлы; проселочные дороги оживились частыми панскими съездами.

Эмиграция вполне надеялась на дворянство, но чувствовала необходимость оживить революционное подготовление шляхты.

Для этой цели был переведен сюда из Москвы ксендз Б. находившийся там для исполнения должности законоучителя в кадетских корпусах; он был в близких сношениях вообще с учащейся польской молодежью, и, может быть, имел поручение наблюдать за нею, чтобы невзначай кто-нибудь не сошел с постановленного пути и не сделался бы русофилом.

Б. в 1863 году переселился из древней нашей столицы, в лесистую глушь Рогачёвского уезда, близ минской границы, в один из многолюднейших, но беднейших приходских костелов губернии, Дворжечно-Антушевский.

Новый приходский ксендз вполне соответствовал своей цели. Красивой наружности, вкрадчивый, образованный, с увлекательным красноречием, словом, человек одаренный способностью обаять все окружающее, каких, по иезуитскому воспитанию, мастерски умела выбирать польская пропаганда, он явился со всей обстановкой богатого барича, сорил деньгами, и шляхта предалась ему и его ученьям; а пани и паненки всего соседства были без ума от миловидного ксен-

дза.

Влияние его утвердилось быстро; быстро расширился и круг его действий. Но местная полиция, поставленная на стороже, благодаря событиям в Польше и Литве, скоро добралась до источника мятежного настроения католических шляхетных околиц Антушевского прихода. Б. как неблагонадежного, в январе 1863 года, выслали на жительство во внутренние губернии России, а в Дворжечно-Антушев было поставлено полторы роты солдат.

В то же время на другом краю губернии пропаганда деятельно работала в стенах Горыгорецкого института. В нем воспитывалось много молодых людей не только уроженцев западного края, но и Царства Польского. Это сосредоточение большого числа польской молодежи обратило на себя особое внимание эмиграции, и еще задолго до мятежа, около 1858 года, в Горках явилось загадочное лицо, Дымкевич, родом из Вильно, под видом футуруса, т. е. кандидата для поступления в студенты; но в институт он не поступал и жил в Горках.

С прибытием Дымкевича, в Горках особенно деятельно закрутились умы, и польское общество студентов стало резко отделяться от русского. Он жил весьма скромно, но скоро сделался душою польского общества, не только институтского, но даже деревенского, городского и далеко кругом по соседству; оно прозвало его своим «бискупом» (епископом). Дымкевич снабжал желающих всеми возможными произве-

дениями революционной и демагогической литературы, хлопотал о народном обучении в польском духе, о хозяйственных съездах. Хотя он был ярый демагог, однако же, несмотря на то, находился в тесных связях и близких сношениях с богатейшими и почетнейшими помещиками.

Между тем хором твердили, что ученые занятия до того поглощают умы учащегося в институте юношества, что там не может быть и места никакому крамольному настроению. Местные власти им вторили и всеми силами старались всякие случавшиеся прорухи студентов, живших в городе на вольных квартирах, извинять под благовидными предложениями. Начальство охотно верило тому чего желало, хотя настроение польской студенческой партии далеко не было специально науко-любопытное, и в одном ночном военном упражнении студенты этой партии с пальбой пошли на приступ и повалили крестьянский забор. Более всех этим обнаружившимся случаем был испуган Дымкевич, который тотчас же для скорейшего утешения дела заплатил за убыток.

Этот деятельный агент партии красных неожиданно умер в январе 1883 года перед самым началом польских беспорядков.

Наконец от таинственного *жонда* последовали и номинации (назначения), которые окончательно отуманили головы и новым задором одушевили избранных; организаторы по уездам силились вербовать народ, запасали оружие и припасы, и обманывали друг друга, насчитывая приготовленные

каждым средства.

Не забыл «жонд народовой» и земледельческий институт. Студент Висковский, первый запевала между студентами-поляками, был удостоен тоже номинации и получил звание начальника места Горы-Горецка.

Настала весна. Не трудно представить какое нетерпение овладело распаленными головами! С трудом Висковский удерживал молодежь, которой восстание было обещано еще к 19 февраля, а уже был апрель на дворе.

Приготовления была кончены, нетерпеливо ждали лишь назначенного жондом воеводу. Это был капитан генерального штаба Людвиг Жверждовский, незадолго переведенный из Вильно в штаб гренадерского корпуса в Москву. Ему туда выслана была и воеводская печать, как атрибут его власти. От присланного к нему молодого помещика, Миткевича (кандидат мирового посредника в Оршанском уезде) Могилёвский воевода мог узнать ближе о состоянии своего воеводства; оказался недостаток в военных людях, могущих (с чином *пулкувников*) предводительствовать шайками. Жверждовский, не найдя ничего в Москве, кинулся в Петербург и, по отобраным сведениям, явился к трем офицерам, обучавшимся в артиллерийской академии.

Каждого из них отыскал он на квартире, отрекомендовался, дал прочесть вызов жонда к офицерам, и получив от них согласие, показал свой патент на звание Могилёвского воеводы. Он предложил вновь на вербованным, поручику

Константину Жебровскому и подпоручикам Антонию Олендзскому и Станиславу Держановскому, каждому начальство над отдельной шайкой, и пожаловал их в силу своей воеводской власти, по случаю первого дня праздника пасхи, пулкувниками. Но вновь произведенные пулкувники затруднились выездом из Петербурга, а потому воевода велел им приехать в Москву, где он им обещал достать виды и подорожные на проезд.

4-го апреля, в среду на святой неделе, они отправились по железной дороге в Москву, откуда Жверждовский и выпроводил их далее. Все они отправились на почтовых: Жебровский и Олендзский до Орши, где у Миткевича в Литвинах нагнали Жверждовского, двумя днями ранее их уехавшего из Москвы и 12 апреля прибывшего на воеводство; Держановский отправился до Бобруйска.

Как известно, каждый поступавший на служение жонду на всякий случай расставался со своим фамильным именем и принимал другое. Жверждовский принял имя Людвиг Топора. На это имя ему была выслана от жонда и номинация. Подобным образом прозвище Косы было принято бежавшим из Смоленска артиллерийским поручиком Жуковским, приятелем Жверждовского, назначавшимся начальником одной из шаек. Три академика тоже получили прозвища: Константин Жебровский выбрал свое уменьшительное имя Костки, Антоний Олендзский оставил за собою имя Антония, а Станислав Держановский назвался Станиславови-

чем.

Жверждовский из Москвы приехал прямо в Оршанский уезд и поместился в Литвинах у Миткевича под именем капитана Величко, будто бы приезжего родственника жены хозяина. По приезде воеводы все устремилось к нему на поклон и для совещаний. Начались беспрестанные панские съезды и совещания; французский язык, не понятный дворовым, сильно пошел в ход. Для давно желанного гостя были затеяны разные приятные неожиданности: ему поднесли богатый кунтуш и выписали из Москвы парадный генеральский седельный прибор с медвежьим вальтрапом. Но воевода немного пользовался подарками: в день битвы он предпочитал форменный мундир; кунтуш надел лишь однажды, на каком-то в честь его данном обеде, а заказанное седло опоздало своим прибытием, и за ненахождением получателя, его принял с почты, кажется, становой пристав.

Топор не остался в долгу если не сюрпризами, то по крайней мере подтверждением своим полководческим словом всех панских надежд. Местные организаторы представили ему сведения о числе ими на вербованных, и друг перед другом нещадно множили силы: в итоге вышло до 15.000. Тогда воевода торжественно воскликнул: «Губерния наша!» Трудно решить, думал ли он тем еще более подзадорить своих сподвижников, или в приятном настроении, после хорошего обеда, в чаду почестей, действительно поверил, что из 38.000 всего католического населения найдет 15.000 мужчин, спо-

собных поднять знамя мятежа, и что с ними завоюет свое воеводство.

Широкие планы развивал воевода. В начале мая, иноземная помощь^[14] является с двух сторон: одна через Галицию, другая десантом от берегов Балтийского моря; русские войска достаточно подготовлены польскою пропагандой и деморализованы, чтобы с прибытием союзников не желать долго упорствовать в удержании поголовно восставшей Польши; в это время Литва в полном восстании, также очищается от русских. Гвардии опасаться нечего: в рядах ее имеются друзья.^[15] Шайки Сераковского со всех сторон подступают и берут Вильно. Относительно Могилёвского воеводства: должно сперва временно отбросить малонадежные уезды Гомельский, Климовский и Мстиславский, прочие поднять с помощью быстро сформированных шаек на обоих берегах Днепра, и, подчинив своей власти воеводство, устремиться в Рославльский уезд Смоленской губернии. При общем настроении умов в России, обработанных польскою пропагандой в учебных заведениях, современной литературой и общим негодованием на Положения 19 февраля 1861 года помещиков и крестьян, с появлением повстанцев к ним несомненно тотчас присоединяются губернии: Смоленская, Московская и Тверская, и Топор беспрепятственно доходит до Волги. По Могилёвским показаниям, лишь на Волге остановилась размашистая фантазия воеводы.

Жверждовский главным образом желал, чтобы какое-ли-

бо резкое событие, преувеличенное молвой и шляхетской ложью во сто крат, громко заявило бы Европе, что и дальняя Могилёвская губерния живо и сильно откликнулась на национальный призыв Польши 1772 года.

Затем он предполагал одновременно поднять знамя мятежа в разных местах, отуманить администрации, взволновать и вооружить население, воспользоваться малым числом находящихся в губернии войск,^[16] привести начальство к затруднительному вопросу, куда преимущественно направить военные силы, захватить орудия по уездам расположенных батарей,^[17] с торжествующими шайками напасть на Могилёв и завладеть им.

Ближайшие распоряжения для шаек, сколько видно по собранным сведениям и ходу дел, состояли в том, чтобы образовать из повстанцев на правом берегу Днепра четыре шайки, а на левом две. Первую шайку, *оришанскую*, (правого берега) предполагалось увеличить витебской силой, так как витебские ревнители, при разных местных затруднениях, уведомили о своей готовности к переходу в Могилёвскую губернию. Эта шайка, пользуясь чрезвычайно лесистой и болотистой местностью северной части уезда, должна была охранять границы от всякого вторжения со стороны Витебской губернии.

Второй шайке, *сенненской*, предписывалось, собравшись у деревни Слепцов, утвердиться у прихода Лукомля, между тамошними лесами, озерами и болотами, и возмутив око-

лицы приходов, Черейского, Лукомлянского, Вячерского и Сенненского, действовать на север от Могилёва.

Третья, *могилёвская*, должна была собраться у Черноручья, утвердиться в Могилёвском уезде, в лесистой местности между Кручею и Полесьем и, возмущив околицы Бобрского и Толочинского приходов, действовать на северо-западе от Могилёва. Ходили слухи, что две эти шайки, подняв население, должны были соединиться и начать военные действия нападением на город Сенно.

Четвертой шайке, *рогачёвской*, предписывалось сформироваться у фольварка Верхней Тощицы, утвердиться в лесах между Днепром и Друтью, поднять околицы четырех по соседству лежащих приходов, Дворжечно-Антушевского, Озеранского, Свержанского и Рогачёвского, и действовать на юг от Могилёва.

Сделанный без хозяев расчет не оказался верен; ни одна шляхетская околица не пристала к мятежу; Дворжечно-Антушевскую в повиновении удержало расположение в ней воинской команды. Из околиц в шайки пошло лишь только немного разными обещаниями увлеченных парней.

На левом берегу приказано сформировать пятую шайку, *чериковскую*, в лесах Чериковского уезда в окрестностях м. Кричева, из чериковских и чаусовских ревнителй, а шестую, *горыгорецкую*, из партий левого берега Днепра, Оршанского и Могилёвского уездов и Горыгорецкого. Обеим шайкам предписано действовать на восток от Могилёва и

укрываются в обширных лесах, около имения Красного, принадлежащего ревностному организатору Фаддею Чудовскому.

Воевода полагал, что Минская губерния находится накануне полного восстания, и что вторая, третья и четвертая шайки совершенно будут безопасны с этой стороны от нападения войск, занятых местными шайками, опирающимися на борисовские леса. Менее безопасно было положение шаек на левом берегу Днепра. Их воевода принял в ближайшее свое ведение.

Непосредственно он начальствовал над шестой шайкой; Жуковскому-Косе поручил пятую и дал блистательное поручение завладеть батареей в Кричеве.

Довудцею четвертой (рогачёвской) шайки был назначен Держановский-Станиславович, которому не пришлось доехать до места сбора: он был связан крестьянами.

В третьей (черноруцкой) шайке начальник был Олендзкий-Антоний; он обладал красноречием, и охотой к разглагольствованиям заразил свою шайку.

Во вторую (сенненскую) шайку, был назначен Жебровский-Костка, человек общительный, который любил бывать и кушать в гостях; шайка его, перебравшись, скоро в Минскую губернию, долго не могла забыть что могилёвская водка вкуснее минской.

Не доставало пулковника-довудцы для оршанской шайки.

Но недолго продолжалось ее сиротство, Фаддею Чудовскому попался где-то беглый поручик Екатеринославского гренадерского полка Будзилович, который, снабженный фальшивым билетом, пробирался в Царство Польское. Чудовский уговорил его остаться, послал его к Топору, который и выдал ему с радостью номинацию.

Будзилович, дамский поклонник, всякому прозвищу предпочел незатейливое имя *Ян Пихевич*. Полезнее всех возможных военных академий находил он для военного дела учреждение образцового пехотного полка, и с этой точки зрения смотрел на формирование своей шайки. Любил он также музыку и сам хорошо трубил пехотные сигналы.

Одно обстоятельство замедлило взрыв. Губернское начальство, имея в виду польские демонстрации, особенно в дни годовщины разных шляхетных воспоминаний, которые поляки, до конца не додумывая, считают блистательными, предписывало земской полиции, от 14-го апреля, наблюдать за ними с особенным вниманием и осторожностью, и для примера указывало на 21-е апреля (3-е мая по н. с). Каналом польских чиновников, с помощью еврейской почты, те, кому знать не подлежало, знали об этом ранее, нежели те, к кому предписания относились. Предугадывая, что к этому времени вся полиция будет на ногах и свободным проездам может встретиться помеха, воевода решил начать выезд из домов в понедельник 22-го апреля, когда полиция, успокоясь, предастся отдыху, с тем чтобы к вечеру быть всем на местах, 23-

го формировать и устраивать шайки, и в ночь на 24-е число открытыми действиями заявить в разных местах о повсеместно вспыхнувшем мятеже. Воевода особенно настаивал на одновременном открытии действий всеми шайками.

В то же время были выданы следующие распоряжения:

1) Вербуя в шайки, требовать от поступающего в короткой присяге беспрекословного повиновения.^[18]

2) Объявлять населению о прекращении власти русского царя и о новой власти короля польского и императора французов.

3) Разглашать о близком следовании французских войск и войск короля польского.

4) Сулить народу всевозможные льготы, раздавать возмутительные грамоты, в случае надобности увеличивать обещания.

5) Уничтожать все правительственные знаки, дела, и прерывать ход правительственной администрации.

6) Захватывать всякие казенные суммы и запасы.

7) Для привлечения народа удерживаться от своеволия, с населением отнюдь не чинить никаких убийств, побоев, насилия и грабежей.

II

Как мы уже упоминали, воевода готовил, на удивление Европы, чтоб заявить начало и силу мятежа, два громких события: овладение Горками, городом лежащим почти на смоленской границе, и взятие, среди губернии, в Кричеве, полевой батареи. Он лично принял на себя исполнение первого, второе поручил надежнейшему из своих подчиненных доводцев – Косе-Жуковскому. 21-го числа в панских домах были сборы: укладывали вещи, съестные припасы, обильный запас вина, и готовили оружие. Дабы скрыть от домашней прислуги истинную причину сборов, объявляли, что идут на охоту. 22-го паны поехали до лесу, но без гончих; чиновники из городов, разная сволочь и недоросли пошли пешком на указанные места, поехала и русская прислуга при господах на мнимую охоту.

Кроме расчета на помощь студентов, воевода избрал Горки целью нападения еще и потому, что там не было войск, а только небольшая инвалидная команда. Для вернейшего успеха, нападение решено было произвести внезапно ночью, а дабы не возбудить внимания, шайка должна была собираться 22-го числа, партиями в Слепцах и Зубрах, имениях князей Любомирских, и еще небольшими отрядами в лесу, по почтовой дороге из Орши в Горки. Тут были помещики уездов Оршанского, Могилёвского, Чаусовского и Горыгорец-

кого, чиновники, гимназисты, несколько шляхтичей, очень довольные своими чамарками и высокими сапогами. По чи-нам и званиям угощали их 23-го числа в Слепцах и Зубрах. Висковскому было послано приказание в Горки собрать к ве-черу свою партию.

Накануне 23-го числа в Литвинове было сказано прислу-ге, что родственник капитана уезжает; 23-го поехала буду-щая свита, и под видом провод, вся компания (9 человек с людьми), плотно позавтракав, пустилась в путь. В Зубрах ожидали их ужемногочисленная публика и угощение на сла-ву. Подкрепив силы вином и пищею, вечером тронулась по-лупьяная шайка, человек около 100. Воевода поехал вперед с одиннадцатью человек свиты.

В это время Висковский, поздно вечером, собрал втихо-молку свою партию: 80 человек принадлежащих институту, 13 чиновников, 10 гимназистов и 44 молодых дворян и раз-ной сволочи – всего 127 человек.^[19]

С важным видом опытного знатока военного дела, Вис-ковский разбивал партию на десятки, жаловал званием де-сяточных, и оцепил спящий город ведетами³⁰ с приказани-ем, на случай преждевременной тревоги, никого не выпус-кать. Студента Козедло он послал верхом навстречу к воево-де доложить о сделанных распоряжениях и испросить даль-нейших приказаний для атаки спящего города.

Действительно, кроме злоумышленников, никто и не до-

³⁰ ведет – «конный разъезд», заимств. из франц. *vedette*, *um. vedetta*

гадывался о предстоящей беде. Инвалиды не имели даже патронов и спали крепким сном, а инвалидному начальнику, дряхлому и немощному старцу, в неведении дел мирских, вовсе и не чудилось, что он среди России через несколько часов сделается военнопленным; исправник еще с полдня выехал в уезд, прочие власти тоже разъехались, жители спали; бодрствовал только часовой, стоявший у казначейства.

Гонец встретил воеводу верстах в двух от города, часов в одиннадцать ночи. Топор остановился в ожидании прибытия своих дружин; он был в мундире с эполетами и аксельбантами генерального штаба.

Висковскому было послано приказание собраться на площади; прибывшие мятежники, около 250 вооруженных, были разделены на три отряда. Обозу было велено остаться на месте сбора, верстах в двух за плотиною под горой, не доходя города; одной партии, могилёвским чиновникам и гимназистам, приказано занять позицию у белой церкви, а двум прочим, из уездных ревнителей, стать у еврейского кладбища. В глубокой тишине, сохраняя мертвое молчание, дабы не разбудить противника – спящего инвалидного капитана, дружины тронулись.

Пока на площади снабжали неимущих привезенным оружием, полководец объехал отряды, занявшие назначенные им места. Начальникам отданы приказания, и по минутной стрелке ровно в час ночи, колонны ринулись на приступ. Первая колонна уездных ревнителей атаковала спящего ин-

валидного капитана, вторая – инвалидный цейхауз, запертый на замок; кипящий бешеной храбростью, неустрашимый студент Доморацкий повел третью колонну могилёвских чиновников и гимназистов, с несколькими студентами-охотниками, на сборное место; с отборной дружиной Горыгорецкой, сам воевода устремился на инвалидного часового у казначейства.

На всех пунктах полный успех венчал распоряжения воеводы. Инвалидный капитан был взят, в цейхаузе был сбит замок и из него вытащили десятка два бывших там инвалидных ружей, патроны и барабан. Доморацкий одолел спящих и пробуждавшихся инвалидов, завязался кровавый неравный бой: несколько инвалидов успели выскочить и бежать, но шесть человек были положены на месте; Доморацкий сам пал в битве. Наконец не устоял и часовой у казначейства против сил, ведомых самим воеводою: он был убит; деньги принадлежавшие институту, около 15.000 рублей серебром, были ограблены. Твердое сопротивление оказал только замок железного сундука с суммами казначейства; никакие усилия нападающих не могли его одолеть, и сундук вытащили на улицу.

Пока воевода был занят в казначействе, молодежь, зная что для полного приступа необходим и пожар, в разгаре удали и молодчества, в трех местах подожгли город, но воевода был тем недоволен и приказал тушить огонь; он был расположен к великодушию: со всех сторон съезжались гонцы с

вестями победы. Упоенный славой и всякими угощениями во время похода, он почувствовал необходимость отдыха, велел расставить по городу караулы, послал за город в институт партию, под командою студента Моргулеса, арестовать директора, и сам со свитой отправился в обоз. Тут встретилась маленькая неприятность: пользуясь тем, что по диспозиции не было сделано распоряжения о прикрытии обоза, многие дворовые, разобрав что паньчи разыгрались не на шутку, ушли восвояси, а некоторые даже уехали и с панскими бричками. Шампанское, впрочем, нашлось, чтобы вспрыснуть победу, а если некоторым пришлось лечь на голую землю, без ковров и подушек, то в утешение они могли вспомнить, что *à la guerre comme à la guerre*.

В это время в городе взрослые и недоросли расходились еще более; выставленные ведеты тешились тем, что отгоняли жителей от огня и стреляли в упорствовавших тушить пожар;^[20] другие, преимущественно могилёвский сброд, тешились грабежом; к рассвету 70 домов были жертвою пожара.

Утром было повешено, что воевода со своей шайкой навестил институт; на институтском дворе было из институтских запасов приготовлено угощение. В 11 часу двинулась победоносная армия. Первую половину вел литвинский помещик Миткевич, вторую – Висковский. В середине на конях ехал воевода с 60 человек своего штаба, свиты и телохранителей; с собою повезли и тело убитого Доморацкого и драгоценный залог победы – замкнутый сундук казначейства.

В институте последовало торжественное погребение убитого Доморацкого; земле предали его по военно-походному, завернутого в ковер, при ружейных залпах строем поставленных товарищей, а горячие патриотки стояли вдали на коленях и проливали слезы. Воевода в институте обошелся не менее великодушно чем Наполеон с воспитанницами младшего возраста Воспитательного дома в Москве, посетил пленного директора и удостоил кушать чай у одного из поляков-наставников, пока на институтском дворе угощалась шайка. Все оставшиеся воспитанники института были выстроены; Топор предложил им пристать к его знаменам; между поляками нашлось еще несколько желающих. В стенах института был убит только один старый сторож, неизвестно вследствие ли военных действий, разномыслия ли в политических принципах, или просто потому, что кому-либо из студентов хотелось выместить несколько прежних скучных дней карцера над старым цербером.

Студенты распорядились забрать одиннадцать институтских телег с лошадьми, и укладывали на них разный скарб, а воевода в это время со свитой посетил обратно город, где оставленные партии должны были собрать народ на площади и выставить вино.

Мятежники надеялись на содействие городского населения, тем более что студенты уверили их в полном сочувствии жителей; ссылались на то, что были с ними в коротких и близких сношениях, нанимали у них квартиры и продоволь-

ствовались, давно уже старались подготовить умы и жидам платили жидовские проценты. Воевода счел, что необходимо изгладить первое неблагоприятное впечатление. С трудом согнали немногих жителей. Он держал речь; о грабеже умолчал, пожар приписал случайности, объявил о прекращении власти русского царя и о новой власти короля польского, о близком следовании его войска вместе с французским; но народ молчал, несмотря на угощение водкой и раздачу некоторым погоревшим нескольких сот у них же награбленных рублей.

Для довершения картины, среди народа явилось и духовенство. Из-за забора глядел дьячок. Воевода велел его привести и спросил зачем он там стоит. «Смотрю что делается» – отвечал тот. Он похвалил его за спокойное поведение, советовал также вести себя и впредь, объявил о совершенной веротерпимости при наступающей власти польского короля и подал дьячку, в знак высокой своей милости, свою воеводскую руку. Тема для донесения жонду и для вариаций европейской журналистики была богатая.

Но скоро стали приходиться тревожные вести. Жители, бежавшие за город, разобрав в чем дело, с утра уже начали толпиться около спасшихся инвалидов; стали прибывать крестьяне из соседства и толковать о том, что надо схватить и перевязать мятежников; они не остановились на одних словах, но, применяя слово к делу, вооружились кто чем мог и напали на отделившихся к мстиславльской заставе, четырех

убили, двух ранили, четырех схватили, отвели и сдали карательным солдатам у тюремного замка.

Оказалась настоящая необходимость выбраться по-добру-поздорову из Горок. Топор велел скорее собираться, но чтобы оставить по возможности грозное понятие о своей силе и силе мятежа, и предупредить мысль о погоне, он выстроил всю шайку на площади и громко скомандовал: «На Могилёв ренка права марш», – торжественно выступил из Горок с военными трофеями, инвалидным капитаном и инвалидным барабаном.

Как подействовали на воеводу вести о крестьянских сборах, можно видеть из того, что он не только что не пошел к острогу выручать захваченных соучастников, но даже так торопил возвращением шайки, оставшейся в институте с обозом, что там забыли даже уложить драгоценный железный сундук с суммами казначейства. Послать за ним не рискнули: сундук был потом в целости возвращен по принадлежности уездному казначейству.

Выступив из города в четыре часа пополудни, Топор быстро прошел Городец, и в тот же день, пройдя еще двадцать пять верст, остановился в Дрибине, имении помещика Цехановецкого, у которого нашел со своей шайкой радушный прием, безопасный ночлег и обильное угощение. Страшась быть застигнутым войсками, он с рассветом выступил далее и рано утром пришел с шайкой в местечко Рясно, которого уже достигли вести о бывших накануне событиях в Горках.

Вести эти навели ужас на еврейское население: оно встретило повстанцев с хлебом и солью. Мятежники победителями, гордо поглядывая на жидов, прошли церемониальным маршем, и слушали литанию в приходском костеле; ксендз Лукашевич окропил их святой водой, а потом, во время привала, паньчи потешились в квартире станового: вытащили все дела, и, собрав в кучу, зажгли их. Запылал костер символическим заревом начатого ими общественного благоустройства.

Воевода не дал им времени разгуляться, он торопился походом, все более и более углубляясь в болотистую и лесистую местность в окрестностях фольварка Красного. Сделав 25-го числа до 45 верст, шайка завидела наконец обетованный фольварк ревностного поборника организации могилёвского мятежа, Фаддея Чудовского, где все уже было готово для их приема.

Здесь ожидало их разочарование. Еще дорогой ходили зловещие слухи, передававшиеся шепотом, но в Красном ждали не слухи, а положительные вести о гибели шайки Косы у Кричева, и о том, что крестьяне назойливо преследуют и ловят разбежавшихся повстанцев. Скоро без шайки прибыл к воеводе и сам доводца, с горестным рассказом о своих бедствиях.

Полученные на следующее утро вести о сделанных в Могилёве распоряженьях для окружения шайки войсками указали опасность дальнейшего пребывания в Красном; тотчас

же было приказано опять собираться в дальнейший поход. Воевода решил уйти в Рогачёвский уезд, соседний с Минской губернией, и там выждать как разыграется мятеж по другим уездам. В то же утро 26-го, он выступил в поход, отпустив лишнего свидетеля: взятого в Горках инвалидного капитана. С настроением умов горыгорецкой виктории, тщательно поддерживаемым воеводою, повстанцы продолжали держать тон высоко; подобно первым двум дням своего шествия, они двигались гордыми победителями, высылали передовых, которые оцепляли на пути встречаемые деревни, требовали встречи с хлебом и солью и подвод; но с приближением их к деревням там оставались только старики, женщины и дети, остальные с лошадьми разбежались в соседние леса, а по проходе шаек принимались вязать отсталых, в чем помогали и женщины. Все усилия воеводы привлечь население остались без успеха; после чтения манифеста от польского короля, начинались обещания, на которые воевода даже сделался щедр до нелепости: отдавал всю землю и все уголья, обещал уничтожение рекрутских наборов, беспошлинную продажу вина, с назначением только по 15 копеек серебром с души годовых повинностей; но ничто не произвело ни малейшего действия, и даже к уничтожению по кабакам патентов население не оказывало никакого сочувствия; воевода наконец мог убедиться, что на мыльных пузырях не долететь ему до Волги.

Пройдя деревню Заболотье, шайка отобедала в фольвар-

ке Белице, у помещицы Шпилевской, и сделав переход более 40 верст, расположилась на ночлег у помещика Костровицкого в фольварке Петрулине. На ночь расставлены были караулы и ведеты; сам воевода, его штабные и адъютанты, Коса-Жуковский, Миткевич, Козелло и другие поверяли бдительность часовых. На другой день воевода видел необходимость дать отдых своим измученным сподвижникам, и назначил дневку на 27 число. По сведениям из Могилёва, он знал, что вследствие сделанных распоряжений, войска были направлены ловить его между Могилёвым, Чаусами и Горками. В Петрулине он вышел из опасного ему треугольника; отсюда замышлял достичь лесами до Пропойска, и пользуясь посланным приказанием тамошней роте немедленно идти в Чаусы, думал там пробраться по мосту через Проню.

В течение дня была стрельба в цель, и, отдохнув, утром 28-го шайка выступила далее. Воевода продолжал идти по лесистой местности, в один переход надеялся достигнуть безлюдной лесной пуши, между реками Добчанкой и Проней, и оттуда уже мог высмотреть возможность пробраться до Пропойска. Выйдя на почтовую дорогу из Могилёва в Чериков, шайка на станции Придорожной захватила двух проезжавших офицеров и почтовых лошадей, и с бодрым духом и польскими песнями пустилась далее; но тут воевода получил отчаянные вести от лекаря Михаила Оскерко, жившего в Могилёве, как самом удобном месте, при администрации наводненной поляками, для получения и передачи крат-

чайшим путем сведений от обеих сторон. В ночь на 28 в Могилёве уже были известия о разгроме и бегстве всех появившихся в губернии шаек, о неудачных попытках поднять население к мятежу, о повсеместном усердии крестьян ловить мятежников. В то же время в Чериков батарейному командиру, подполковнику Богаевскому, было послано предписание немедленно выступить к Проне, отыскать и настичь ускользнувшую шайку воеводы, или как ее называли, горыгорецкую. Получив столь неприятное известие, Жверждовский круто повернул к Проне и под вечер дошел до фольварка Литяги, помещика Висковского. Там вовсе не ожидали такой большой компании, и пришлось поужинать чем случилось. Немедленно было послано добыть какие-нибудь средства к переправе. Отыскали какой-то паромик, и в темную дождливую ночь поднялся весь табор, и при фонарях направился к переправе. С рассветом на 29 число, начали понемногу перебираться; перебравшиеся, утомленные после бессонной ночи, располагались у самого берега; только к двум часам пополудни, последним переплыл на противоположный берег воевода со своим штабом, а в это время раздавались уже крики: «Москали, Москали!» Едва-едва успели уничтожить паром.

Подполковник Богаевский, получив предписание, тотчас же под вечер 28-го апреля выступил из Черикова с ротой стрелков и двумя орудиями. Пройдя 10 верст до деревни Езеры и не найдя там мятежников, он остановился на ночлег,

а крестьяне пустились разыскивать шайку, и действительно к утру уведомили, что она двинулась к Проне, пройдя накануне Придорожную станцию. Следуя по стопам шайки, Богаевский достиг Литяги и увидел мятежников уже на противоположном берегу.

Не имея возможности перебраться через реку, командир батареи поставил свои два орудия на берегу и пустил в удаляющегося неприятеля несколько выстрелов картечными гранатами. Первая граната перелетела через голову арьергарда и лопнула посреди шайки. От разрыва, свиста и разлета осколков и пуль горыгорецкие победители кинулись врассыпную; испуганные лошади одни побросали своих седоков и разбежались, другие в телегах кинулись в сторону с дороги и завязли в грязи. Беспорядок сделался общий; вспомнили спасительную команду «до лясу» и разбежались верст на десять вокруг по соседним деревням, так что воевода только с большим трудом мог собрать их у деревни Добрый Мох. Человек 30 крестьян этой деревни при появлении шайки вооружась чем попало, хотели было кинуться на мятежников, но увидев около 200 собравшихся вооруженных людей, остановились. Не менее их и мятежники были очень озадачены приготовлением к бою крестьян; в этой крайности один горыгорецкий студент, с бородою и длинными волосами, вышел к крестьянам в священнической рясе и проповедническим голосом держал речь: «Против кого идете вы ребята? Против поляков, которые за вас поднялись? Не с топорами и косами

должны вы встречать их, но с хлебом и солью. Вот я, русский священник, видя добрые их намерения, пристал к ним и иду вместе». Но крестьяне не воспользовались примером много пастыря и ни за какие обещания не согласились разрушить мост на реке Ресте, чтобы избавить мятежников от погони.

От Доброго Мха шайка приютилась на ночлег у помещика Маковецкого в фольварке Мошках.

Шайка была совершенно деморализована. В тот же вечер двое подали пример побега и поворотили назад; но крестьяне Доброго Мха захватили их, обезоружили и отобрали найденные при них 7.055 рублей серебром денег.

На рассвете было назначено выступление; но в течение недели скитаний по лесам и болотам жар поостыл значительно: семнадцать человек отказались от дальнейших странствований. Впрочем Жверждовский уже не нуждался в шайке; он имел достоверные сведения о совершенном фиаско мятежа по всему своему Могилёвскому воеводству. Он успел списаться с Михайлом Оскерко. Шайка была еще нужна ему от Придорожной станции, чтобы конвоировать его воеводскую особу, рисковавшую пробираясь без прикрытия, быть схваченной и связанной толпой крестьян; впрочем, теперь недалеко был фольварк, где Оскерко назначил ему свидание, чтобы безопасно и без возбуждения подозрения выпроводить его на почтовых: шоссе было близехонько, можно было снова Топору преобразоваться в капитана Величко.

Шайка, ни о чем не догадываясь, сопровождала воеводу еще верст пятнадцать, до Культицкого леса; но там 30-го апреля неожиданно последовало курьезное прощание. «Должен я вам сказать правду, – произнес воевода, – что если б я набрал баб, то более сделал бы с ними чем с вами – трусами. Я уезжаю, а вам советую положить оружие, сдаться и воспользоваться манифестом. Прощайте!» Тележка была готова, и он укатил в своем форменном сюртуке; Жуковский преобразился в денщика и, как новый Санчо Панса, вскочил на облучек.

Опасаясь крестьян, подозрительности станционных смотрителей и деятельности рогачёвского исправника Блохина, оба великих ревнителя предпочли прямо ехать в Могилёв, где нет необразованных крестьян, что и было исполнено. Из Могилёва Оскерко нашел случай безопасно выпроводить воеводу далее.

Долго в размышлении стояла осиротевшая шайка; наконец решили выбрать трех уполномоченных послов и послать к становому в Пропойск с предложением сдачи без всякой капитуляции, только с просьбой прибыть поспешней, дабы предупредить нападение крестьян. Ночью прибыл становой, насчитал 140 человек оставшихся под ружьем^[21], обезоружил их и на другой день торжественно вступил в Пропойск с приведенной им главной армией, положившей перед ним оружие.

III

Обратимся к подвигам второстепенных доводцев.

Нападение на батарею у Кричева было, как мы уже упомянули, поручено Жуковскому-Косе, бежавшему из Смоленска артиллерийскому поручику. Около половины апреля, Коса расположился в Чериковском уезде в имении помещика Сигизмунда Бродовского в фольварке Луцевинке, в пятнадцати верстах от Кричева. Прибытие доводцы оживило окрестность: начались съезды, ежедневно помещики катили с разных сторон, чтобы людей посмотреть, себя показать и вдоволь наслушаться привезенных из Литвинова разных нелепых слухов и нелепых планов. Жуковский говорил как начальник сильного отдельного корпуса великой армии, и его собеседники развешивали уши, когда он излагал перед ними теории военного искусства всех времен и свои стратегические соображения. Среди простого, по их мнению глупого белорусского населения, им и в голову не приходило принимать какие-либо предосторожности, а это население, возбужденное слухами о событиях в Польше и Литве, стало однако сильно толковать, что паны что-то не даром разъездились, что-то недоброе замышляют, и что за ними надо присматривать.

Согласно общему распоряжению, 22 число было назначено для выездов из домов. Собралась большая компания в Лу-

щевинке; в числе прочих был и помещик Мицкевич; дворовым было сказано, что собирается большая охота.

Сбор шайки был назначен у Ратоборского кладбища и близ околицы Свиное, в девяти верстах от Кричева. Околица эта могла служить, с соседними лесами и возвышениями, удобным операционным базисом, местом расположения обоза и, в случае неудачи, первым опорным пунктом для обороны.

23 числа утром выехал довудца со своею компаниею из Лучевинки; с Мицкевичем был его дворовый человек Платон Плесаков.

Плесакову по запасам бинтов и корпии не трудно было догадаться, что дело идет вовсе не об охоте. Прикинувшись готовым за своего барина в огонь и в воду, он вызвал на более откровенный разговор своего словоохотливого и хвастливого или отуманенного пана; выведав что нужно, Плесаков в то же утро бежал, и являсь в Кричеве к командиру батареи, полковнику Карманову, объявил ему о замысле напасть на батарею, и о том, что собирается огромная шайка где-то около Свиного.

В назначенное время, к вечеру 22 числа, шайка, человек до 100, тайком собралась в лесу. На другой день многие паны, соскучившись ждать, разбрелись по соседству в ожидании ночи; а крестьяне, давно уже недоверчиво смотревшие на панские съезды, начали хватать возвращавшихся одиночных вооруженных искателей приключений. Та же участь по-

стигла и четырех человек, посланных узнать расположение умов околицы Свиное и склонить жителей к мятежу. К ночи у крестьян этой околицы уже восемь человек сидело запертыми по хлевам. Не более счастливы были и повстанцы, посланные довудцем, вечером 23 числа, в Кричев высмотреть состояние местечка и расположение батареи. Между тем в Кричеве была большая тревога. Рассказ Плесакова привел в ужас еврейское население, ожидавшее вешаний и грабежа. Командир батареи выкатил орудия и зарядные ящики на площадь, роздал своим людям хранившиеся при батарее 30 ружей и послал нарочного за 30 верст в Чериков просить прикрытия, откуда к шести часам вечера и были присланы на подводах 50 человек. Жители вооружились кто чем попало, кругом местечка расставили караулы; но население не успокоилось и тревожно ожидало утра.

Ведеты около местечка еще с вечера схватили одного пешего лазутчика; другой конный наткнулся на артиллерийского фейерверкера, посланного объездом, и был им также приведен в Кричев; затем ночью приехал смотритель из Свиного, объявил, что у крестьян сидят под стражей восемь вооруженных повстанцев, просил послать за ними конвой и объявил, что в окрестностях где-то скрывается шайка. Полковник Карманов тотчас же послал фейерверкера Шитенина с пятнадцатью артиллеристами-солдатами (из них пять были с ружьями); становой усилил команду двадцатью вооруженными крестьянами. Перед рассветом на 24-е число команда

Шитенина вернулась благополучно с пленниками и подтвердила слухи о скрывающейся по соседству шайке. Полковник немедленно приказал Шитенину с другой такой же командой артиллеристов вторично идти в Свиное и добыть положительные сведения о месте укрывания шайки; команду усилили двадцатью пятью крестьянами, вооруженными ружьями.

Коса получил известие, без сомнения преувеличенное, о движении команды солдат в Свиное и счел себя в критическом положении; противник был у него в тылу, ни из Свиного, ни из Кричева не возвращались посланные: тут было уже не до нападения. Оставалось замаскированным обходом, пользуясь местными холмами, у деревни Горбатки предупредить противника и выйти на дорогу в Красное. Но и тут неудача: со всеми своими стратегическими соображениями пришлось Косе набрести если не на камень, то на фейерверкера Шитенина.

Шитенин, придя в Свиное, не получил никаких положительных сведений, но к нему присоединилось много крестьян с проживающим в окрестности отставным коллежским регистратором Головко-Улазовским. Все изъявили готовность идти вместе и помогать в поисках. Решили пошарить в гористой местности около деревни Горбатки, лежащей верстах в полутора от Свиного. Едва вошли в деревню, как увидели поспешно следующую шайку Косы, предпринявшего на эту деревню свое обходное движение. Разместясь и укрывшись около крестьянской бани, отряд Шитенина открыл внезапно

огонь.

В эту решительную минуту Коса, видя ключевую позицию в руках неприятеля, смело повел на него свою дружину и затрещал частый ответный огонь; крестьянин Парфенов упал раненым. Тогда Улазовский прибег к хитрости, увенчавшейся полным успехом. Он выскочил на улицу и громко закричал: «Подавай орудия!», а Шитенин прибавил: «Заряжай картечью!» Одного этого громкого возгласа было достаточно, чтобы панический страх овладел храброю дружиной. Напрасен был глас вождя; без выстрела, без оглядки все кинулось «до лясу»: ему оставалось только последовать общему примеру.

Крестьяне рассыпались по лесу, три дня ловили мятежников, привели до семидесяти человек; остальные тридцать успели избежать облав и погони, в числе их и Коса, на другой день прибывший в Красное к воеводе.

Когда крестьяне после поражения шайки обыскивали лес, с ними поравнялась нагруженная телега: ею правила какая-то пани. Шитенину показалось это сомнительным, он вскочил на телегу и, несмотря на просьбы и увещивания пани, взял вожжи и поехал в Кричев. Ни о чем не догадываясь, спокойно проехал он пять верст, сидя на мягкой перине; но подъезжая к местечку, он выстрелил, чтобы разрядить пистолет, и вдруг почувствовал, что перина под ним подскочила: там оказался эконоом соседнего имения, которого жена хотела скорее вывезти с театра военных действий отряда

Косы.

С большим искусством, хотя и не с большей удачей, действовал доводца оршанской шайки Будзилович или, как он звал себя, Ян Пихевич. У самой витебской границе шайку его догнал исправник и заставил положить оружие. Трудно ему было бороться с таким энергичным и вездесущим исправником, каков был подполковник Савицкий.

Будзилович в Оршанский уезд прибыл в апреле, представился местной полиции под именем русского офицера, предъявил билет и стал разъезжать по помещикам, везде обучал молодых людей строю, желая составить образцовый отряд, в пример всей имеющейся собратья шайки.

22-го, согласно общему плану, паны действительно выехали из домов, но исправник Савицкий, с помощью крестьян, так скоро распорядился с повстанцами, что не дал им возможности не только соединиться, но даже и сблизиться, и только по панским поездкам и скитаниям можно было догадываться, что они стремились куда-то на сбор, по направлению к местечку Лиозно. Многим пришлось неудачно окончить свои подвиги. Так 22-го апреля, у помещика Егора Лыщинского, в фольварке с раннего утра началась суeta приготовлений на охоту, как было сказано дворовым людям; наехали гости, завербовали случившегося там землемера Чижевского, обещая ему дать 5000 рублей из первого разграбленного казначейства, и компанией около двадцати человек пустились в дорогу. Путеводителем и начальником этой

партии, назначавшейся в шайку Будзиловича, был помещик Карницкий. Проезжая местечко Микулино, мятежники были остановлены крестьянами. На вопрос, куда и зачем они едут, Карницкий, повернув лошадей, ускакал; тогда крестьяне остальных связали и отослали в местечко Рудню, к станковому, а Карницкого отыскиали на другой день в его фольварке и отправили туда же вместе с бывшим с ним товарищем. При обыске найдено было много оружия, бинтов, корпии и разных военных припасов. Лыщинский наивно дал показание, что ехал сдать свои ружья в Смоленск.

Между тем 22-го числа Будзилович сам приехал в Добрино, фольварк помещика Антона Гурко; там было ужемного всякого народа: мелкие помещики, шляхта, чиновники из Витебской губернии и т. п. Под вечер вышел на крыльцо сам начальник и собственноручно протрубил сбор; на звук трубы на двор стали входить новые лица, вооруженные ружьями, пистолетами и саблями. Ватага человек в тридцать потянулась на местечко Бабиновичи, лежащее верстах в двадцати от Добрино. Дорогой к ней присоединились еще две небольшие партии шляхты.

После плотного обеда, пройдя верст десять, шайка остановилась ночевать в корчме, выступила на заре и рано утром была в местечке Бабиновичи. Там некоторые из повстанцев ворвались в дом бывшего городничего, подполковника Лисовского, который со сна, увидев вооруженных людей, принял их за разбойников и страшно перепугался; но потом,

узнав между ними знакомых помещиков, и принимая вторжение за шуточную мистификацию, шутя потянул за висевшую на груди довудцы цепь с каким-то жезлом, и чуть было жизнью не заплатил за свою непочтительную выходку. Будзилович прекратил, впрочем, ссору и только отобрал у Лисовского оружие.

В городе поднялась тревога; но повстанцы не долго там оставались; искали было протоиерея, чтобы он склонил крестьян принять их сторону, но тот успел скрыться. Так как путь до Лиозно лежал еще дальний, а день прошел в пировании, то повстанцы, числом около пятидесяти, поспешно выбрались из Бабиновичей; в это время догнал их какой-то шляхтич и шепнул довудце о проезде исправника.

Будзилович круто повернул влево и прошел с шайкой верст пятнадцать до фольварка Ордежа. Дорогой они встречали крестьян, идущих по случаю праздника Юрьева дня к обедне, увещевали их не слушаться более русских властей, говорили, что «за нами идет польский король с большим войском отнимать Могилёвскую губернию у русского царя», но ничто не помогло: крестьяне шли своей дорогой, твердя, что паны «подурели», да и сами повстанцы ворчали, что по этой адской дороге, невесть зачем свернули в сторону.

В Ордеже дружина так наугощалась, что была принуждена остаться почти целые сутки и 24-го с утра, под острым углом повернула вправо, почти обратно прежнему направлению, и болотами и лесами потянулись на Лиозно.

Время терялось, в самой шайке обнаружались раздоры; многие хотели продолжать путь, но лишь с тем, чтобы сложить в Лиозно оружие. Паны начали кричать, ссориться, ругаться и бранные слова обильно посыпались на довудца; ему говорили, что он умеет только мучить какими-то порядками, бродя по болотам, а не знает как провести дружину и соединиться с другими партиями.

Довудца своим красноречием успел, однако же, удержать шайку в повиновении, прошел еще верст двадцать и остановился на ночь верстах в пятнадцати от Лиозно, в фольварке Пиоромонте, помещика Александра Пиоро. Рано утром 25-го, шайка двинулась к Лиозно, но узнав от евреев, что там стоят солдаты и ждут исправника, кинулись четвертым зигзагом верст за десять влево, в Оцково, имение помещицы Пиоро, где переночевала и на рассвете, 26-го числа, перешла в Погостище, имение мирового посредника Пиоро. Здесь недалеко от витебской границы, Будзилович думал дать отдых своему усталому войску и подождать достоверных сведений об участии партий оршанских и витебских ревнителей, с которыми его шайка должна была слиться в одно целое, где-то в окрестностях Лиозно. Ждали недолго; скоро раздались крики: «Москали!» Исправник был уже тут, а с ним на подводах сорок солдат и полсотни вооруженных крестьян.

Господский дом стоит на возвышенном берегу болотистой реки на котором разведен сад. Савицкий разделил свою команду на две части и двинул их с двух сторон к дому,

дабы отрезать всякое отступление. Мятежники собрались у крыльца, открыли огонь, и одного рядового ранили. Довудца сколько мог удерживал, чтобы повстанцы не разбежались в сад; но не мог их остановить. Все кинулись в сад к реке; мятежники частью попрятались, частью задали в овраг и оттуда отстреливались. Крестьяне соперничали в ревности с солдатами; двое были убиты, когда Савицкий приказал солдатам выбить мятежников из оврага штыками. Унтер-офицер 16-й роты Могилёвского полка, Быковский, кинулся с людьми на ура! Мятежники с криком просили о пощаде; один из них замахал белым платком, желая вступить в переговоры. Савицкий потребовал безусловной сдачи и, показывая часы, *дал 5 секунд на размышление*. Видя штыки впереди, а реку сзади, человек пятнадцать кинулись вплавь, из них многие утонули в болотной воде; двадцать один с довудцем^[22] положили оружие, в том числе трое раненых; убито было шесть.

IV

Через несколько дней после Топора в Литвиново приехали Жебровский и Олендзский; помещик Пиоро взялся доставить их к местам их назначений.

Жебровский-Костко прибыл в Сенненский уезд, и остановился в Слепцах, у помещика Александра Нитомавского, куда еще в марте переселился врач Карл Самуило. С прибытием Самуило усилились панские съезды и приготовления. По доставленным воеводе сведениям, 150 человек было готово для сбора в Слепцах с южной части Сенненского уезда; другая партия для той же шайки формировалась арендатором Кучевским в Волосовичах, уже в Минской губернии, на самой границе.

Жебровский-Костко должен был идти навстречу Кучевскому и, соединив шайки, поднять шляхетные околицы соседних приходов, Черси, Лукомля и Вячера, но, к неприятному удивлению его, только 26 ревнителеев вместо 150 были в сборе 23-го числа. Пропировав целый день, ночью пустились навстречу Кучевскому, но в веселой компании доехали только до Волосника, фольварка помещика Вильчицкого, где тоже угощались целое 24-го число и для препровождения времени, в виду ожидаемого дела, стреляли в цель. Прибыли еще человек десять запоздалых. Кучевского не дождались и двинулись за десять верст в фольварк Худобы ужинать к по-

мещику Генриху Нитославскому; дорогой к шайке пристали еще один эконо́м и какой-то едва лине насильно завербованный дворянин.

Утром 25-го компания двинулась завтракать к помещику Яновскому в фольварк Старо-Житье; у него запаслись старой водкой, обедали в фольварке Лисичино у помещика Хаминского, которого сын пристал к шайке, и ужинали у доктора Тошковича в фольварке Деражино.

Медленно двигаясь от завтраков к обедам, и от обедов к ужинам, на которых гостеприимные хозяева не жалели ни вин, ни *старых вудок*, повстанцы ознаменовали свое трехдневное шествие наймом в шайку трех дворовых, по 30 коп. в сутки. Хотя и во всех шайках, для поддержания воинственного жара, не забывали Бахуса, но в сенненской, к крайнему прискорбию некоторых ярых ревнителей, кутежное настроение взяло верх над всяким другим. Дни казались часами, и 26-е уже было на дворе, а сенненский мятеж заявил себя лишь тем, что пьяная компания надела на завербованного кучера треугольную шляпу, уверяя его, что он отныне чиновник.

Наконец, протрезвившись, они принялись за дело. Послали ораторов в ближайшую шляхетную околицу Вирки сильно обрабатываемую ксендзами Лукомлянского прихода; но шляхта, проведав о приезде мятежников в Деражино, вся ушла в лес. Пытался было Жебровский поднять православное население; собрали работников с поля ближайшей де-

ревни Столбцев, и Довудца начал им держать речь о короле польском и щедрых его милостях. Крестьяне низко кланялись. Жебровский, восхищенный хорошим началом, дал им целковый на вино. Но скоро пришлось ему разочароваться: крестьяне поспешили в ближайшую корчму и, выпив, начали толковать о том, что следует собраться и перевязать мятежников.

В Сенненском уезде, на который особенно надеялись мятежники, едва набралось человек тридцать разной сволочи охотников в шайку; со всеми ревнителями у Костки не было и ста человек под командой. Лукомлянский ксендз торжественно приводил их к присяге.

Трудно было идти с такой силой на Сенно, где стояли войска, да к тому же вести приходили одна другой сквернее: в Сенно ждали еще войск из Витебска, и что оттуда и из Могилёва на подводах уже посланы войска к границе Могилёвского и Сенненского уездов; в Оршанском уезде крестьяне вязали панов. Доходили, правда, слухи о взятии воеводой Горок, но звук победы был издалека, а на месте кругом одна гибель, и в населении к мятежу никакого сочувствия. В таком же смысле писал Кучевский и звал в борисовские леса. Довудца подумал и после обеда 26-го числа с шайкой отправился в Волосовичи Минской губернии, куда последовала за ним и партия в десять человек, вновь набранных Комаровским.

С этого времени Костко только по временам быстрыми на-

летами являлся в Сенненском уезде. 5-го мая из фольварка Кандохова была увезена бочка старой водки; 6-го вечером повстанцы явились в деревню Щавры и, награбив вина, расположились на Животском берегу озера, около деревни Подберцы. Двое суток пировали повстанцы, пока не разогнал их залп роты, подошедшей по указанию крестьянина. Кто купался в озере, разбежались нагими в лес; на месте нашли немало мертвецки пьяных; взяли обоз и недопитое вино. Партия Костки была вскоре в Минской губернии вся рассеяна, и сам он попался в плен.

Между тем Антоний Олендзский расставшись с Жебровским в Сенненском уезде, по-видимому в фольварке Мальцах, поехал далее в Могилёвский уезд, и приютился у помещика Черниховского в Булатах. Венцлавович, сын владельца имения Самсоны, и мировой посредник Позняк были ревностные подготовители мятежа в Могилёвском и северной части Быховского уездов. Венцлавович, который в доме отца не мог принять желанного гостя, приезжал к Антонию ежедневно и возил его по помещикам. Могилёвские ревнителы поднесли доводу богатый золотом шитый кунтуш, который смуглый молодой Олендзкий не снимал потом с плеч, вероятно находя его к лицу. По возвращении Позняка из Литвинова, куда он ездил на поклон к воеводе, Олендзский 20 числа поехал к нему в фольварк Василевку, а оттуда они вместе заехали к помещице Гребницкой в Скляново. Наслушавшись там вновь привезенных Познаком из Литвинова вестей, до-

вудца возвратился домой в наилучшем настроении духа.

Перед отъездом на место сбора, паны собирались по соседству партиями, под предлогом охоты. У Венцлавовича собрались 21-го апреля сам довудца и человек двенадцать его сподвижников, в числе которых были три молодых артиллерийских офицера, убежавшие из Могилёва: Корсак и два брата Манцевичевы^[23], наэлектризированные своею матерью. На другой день в трех повозках они поехали к Маковецкому в фольварк Черноручье, где застали уже человек 30 гостей.

Место сбора было назначено в черноруцком лесу, почему и шайка Антония была названа *черноруцкою*. Паны с разных сторон, по одной и по две повозки, направлялись в лесу к месту называемому Макаровым Кругом. Не доезжая его, для безопасности, отправляли людей обратно, а далее шли пешком; для обоза был назначен Черноруцкий фольварк. На Макаровом Кругу пулкувник Антоний, в золотом шитом кунтуше, вечером принял команду, поверил присутствующих, и на ночь вся компания человек до 100 отправилась в фольварк Черноручье к помещику Маковецкому, где был готов ужин и хозяин встретил их на крыльце с хлебом и солью.

23-го рано утром, надев свой кунтуш, Антоний со всей шайкой отправился в соседнюю от Черноруцкого фольварка деревню Новоселье и велел крестьянам собираться. Был праздник Юрьев день. «Чи чули (слыхали ли) вы новину? – сказал он им. – В этом году будет у вас Француз, мы прочи-

таем вам бумагу от царя, но не вашего, а польского, который идет воевать за вас. Слушайте: от нынешнего дня вы не обязаны служить пригон, уничтожается также акциз на водку и на соль. На выкуп не давайте ни гроша. Эта земля вся ваша и детей ваших. Рекрут у вас насильно брать не будут, разве только по собственной охоте. Рекруту будет пенсии в сутки 25 грошей, 4 фунта белого хлеба и 1½ фунта мяса. Вот ваши бабы ходят босы, а у нас посмотри» (при этом он, раскрыл плащ, показал свой расшитый золотом кунтуш).

После Антония говорил мировой посредник Позняк. «Вот, ребята, мы писали, писали, – сказал он им пророчески, – и вся наша работа в один день пропала, теперь будет совсем другое». Крестьяне смотрели выпучив глаза на эту комедию. Антоний скомандовал построившейся шайке «марш», и спросив на прощанье крестьян, поняли ли, что он им говорил, отправился с шайкою в фольварк Франкулин Осипа Позняка.

Крестьяне действительно поняли в чем было дело, и по уходе шайки, послали к становому нарочного сказать, что явились мятежники и отправились по Друцкой дороге.

В Франкулине шайка осталась лишь несколько минут: дано было знать, что едет исправник с казаками. «Поспешайте, поспешайте! – раздавалось в шайке, – Исправник наедет». В деревне Полковичах, когда шайка остановилась для отдыха, Антоний собрал крестьян у корчмы, вышел к ним с речью подобною произнесенной в Новоселье, но исправленную и

дополненной следующими словами: «Ваш царь уже семь лет обманывает вас вольностью; французы уже в Минске. Как скоро мы прогоним москалей, будет другая воля, в рекруты брать не будут, а служить будут в своем повете (уезде), подати платить по три злотых, земли на всякую хату по пяти моргов, барщину служить только до Юрьева дня». Шкловский ксендз, в полном облачении, прочитал присягу на верность польскому королю и французскому императору; затем последовал вызов охотникам идти в шайку. Никто не двинулся. Шайка пошла далее, ксендз с крестом впереди. В деревне Антоvsке опять были собраны крестьяне. Ксендз в облачении стал впереди; после краткой речи Антоний прибавил: «Мы – поляки; ступайте за нами!.. Вам платят здесь бумажками, мы будем платить золотом; сами вы будете ходить в золоте, будете вольны по-старому и платить подати с камина как платили ваши предки; мы за вас бились и кровь проливали в Севастополе». Крестьяне, слушая все эти нелепицы, начали подсмеиваться над стоящим перед ними в кунтуше шутом; это раздосадовало Антония, и он начал грозить им, что к празднику Троицы придет с большой силой. Приближаясь к Друцку, шайка начала встречать уже и шляхту. Оратор прибавлял, что москали стесняют веру и насильно перекрещивают католиков, уговаривал шляхту пристать к шайке, говорил, что король польский будет платить по пятнадцати рублей в месяц каждому, а кто не пойдет тому будет худо. Но увещивания не произвели действия. «Не знаем куда

и зачем идти, – говорила шляхта, – то дело панское, а нам нужно работать дома». В селе Рудаковицах все взрослые крестьяне разбежались; остались старики да писарь с пономарем. Их Антоний непременно хотел взять в шайку, обещал в противном случае их связать и вести таким образом далее; те отвечали: «Какой же толк будет от связанных?» Разгневанный Антоний забыв предписание кротости, выхватил было револьвер, но остановился вовремя. Угрозы на старую шляхту не подействовали вовсе.

– Увидим панове, возразил один из стариков, – кто будет счастливее: вы ли, которые идете воевать, или мы, которые дома остаемся. Не перескачивши речки не говори гоп! И французы в двенадцатом году говорили то же, да померзли как пруссы.

Антоний грозил старикам, что за ним идут шесть тысяч французов, которые накажут их за холопье упрямство.

Так мало-помалу рассеивались надежды мятежников поднять не только католическое, но и православное население. При чтении у одной корчмы манифеста о короле польском и императоре французском, один крестьянин с улыбкою одобрения что-то про себя бормотал.

– Что ты говоришь? – спросил его обрадованный один из ревнителей.

– Говорю, что дай Бог ему много лет здравствовать, – отвечал крестьянин.

– Кому? – последовал вопрос.

– Да Императору Александру Николаевичу, – продолжал крестьянин.

– Дурень! – получил он в ответ от раздосадованного ревнителя.

В ближайшей от Друцка околице, Воргутьево, было более ста шляхетных католических домов. Мятежники пустили весть, что идет французский генерал с французским и польским войсками; но хитрость не удалась. Собранная 24-го числа в деревне Филатове шляхта узнала в воинственных пришельцах соседних панов и решительно отказалась верить, а шляхтич Тетерский выразил даже, что если бы сила, то всех бы их следовало перевязать.

Между тем еще утром 23-го числа к становому прибыл в Шклов крестьянин из окрестности Черноручья с известием, что он встретил пробирающуюся в лес толпу вооруженных людей, которые расспросив его о дороге к Макарову Кругу, прибавили: «Мы, поляки и французы, забрали Петербург и Варшаву, и теперь идем забирать Могилёв». Скоро за ним явился нарочный посланный крестьянами из Новоселья, а за ними – два еврея, которые, под строгим надзором, шили чамарки у Маковецкого, и были выпущены, по уходе пана в шайку; они подтвердили показания крестьянина. Становой Вейл поскакал в Могилёв с уведомлением, что собралась в Черноручье шайка и двинулась по дороге на Друцк. Вечером 23 числа была послана из Могилёва стрелковая рота с 20 казаками, и в Витебск было телеграфировано губернатору с

просьбою двинуть из Сенно роту навстречу шайке. Известие об этих распоряжениях было тотчас своим путем сообщено и Антонию, и застало его в деревне Филатове. Он не медля выступил, и быстро сделав более 30 верст, к одиннадцати часам вечера 24-го пришел в Кручу. Здесь нагнало его новое известие, что в тот же день рота на подводах и казаки выступили из Шклова, напали уже на следы шайки и быстро по этим следам двигаются на Друцк. Антоний решился искать спасения в Сенненском уезде, надеясь лесами пробраться на соединение с шайкою Жебровского; оставив Кручу, он в ту же ночь двинулся в Микулинский лес, где и остановился для ночлега. На другой день, плутая по лесу с целью скрыть свой след и сбить с пути преследующих, шайка к вечеру перешла в Сенненский уезд, остановилась ненадолго в фольварке помещицы Пероть Антонове, и перешла в лежащий по-соседству бор, где и расположилась на ночлег близ речки Вечеринки. Измученные паны, не привыкшие к походам, не могли идти далее и требовали отдыха. Антоний назначил дневку. Находившаяся по опушке леса канава была подновлена; повстанцы сделали нечто вроде вала и незаметных засек, и в этом укрепленном лагере пробыли 26-ое число.

Не жалея вина для поддержания бодрости соратников, Антоний хотел попытать мужество своей дружины, и сделав выстрел, закричал: «Казаки!» Шайка в смятении кинулась в лес, и Антоний едва не остался совсем без войска и насилу мог собрать разбежавшихся.

Настало 27 число. Антоний не решался выйти из своего убежища, боясь наткнуться на войска, которые были уже близко; но не надолго удалось ему укрыться.

Два дня разыскивая шайку, и потеряв следы её у Микулинского леса, поручик Путята с ротой Александровского полка напал, наконец, на ее след в Сенненском уезде. Пройдя версты четыре за местечко Словены и двигаясь на Толочин, он убедился по достоверным сведениям, что зашел далеко, и что шайка там еще не проходила. Тогда укрывшись в лесу, он послал казака и рядового, переодетых в чамарки, на рекогносцировку; посланные наткнулись скоро на семнадцатилетнего повстанца и, схватив его, притащили к командиру. Испуганный мальчик взялся быть проводником и показал, что мятежников было около сотни. Подходя к укрепленному лагерю, поручик Путята с взводом остался в резерве, а два полувзвода стрелков под командою поручика Суворова двинулись вперед с двух сторон. Мятежники кинулись к ружьям и встретили приближающихся частою пальбой из-за вала. Стрелки стремительно бросились вперед и оставили на месте более двадцати неприятелей. У храброго Суворова от полусабли уцелел один эфес, и один из мятежников, прострелив ему почти в упор руку, кинулся на него. Стрелки подбежали спасать своего офицера и нанесли его противнику одиннадцать ран штыками. Рота потеряла четырех убитыми; поручик Суворов и восемь рядовых были ранены. Шайка разбежалась. Рассыпав цепь, Александровцы преследовали

бегущих и девятнадцать человек взяли в плен; обоз остался в руках победителей. Крестьяне кинулись в леса и наловили еще до шестидесяти человек; спаслись немногие, в том числе довудца Антоний и ксендз из Шклова Пржиалковский. Антоний пробрался до шайки Жебровского и был потом вместе с ним взят в Минской губернии^[24].

Но самый быстрый разгром понесла рогачёвская шайка, которая должна была собраться верстах в пятнадцати от Рогачёва, в имении её организатора, отставного штабс-капитана Гриневича, – Верхней Тощице. Когда довудца этой шайки, Станиславович (Держановский), ехал 23 числа на сборное место, со своею будущей свитой, четырьмя помещиками и ксендзом Бугеном, он был, при проезде через Нижнюю Тощицу, верстах в 3-х не доезжая до места сбора, остановлен крестьянами, которые на одной из его повозок послали в Рогачёв к исправнику объявить, что разъезжают вооруженные паны, и что они шестерых задержали. Исправник Блохин посадил роту Смоленского полка на двенадцать почтовых повозок и поскакал вместе с ними в Тощицу. В это время Гриневич, услышав что крестьяне захватили довудцу и ксендза, пошел с собравшимися у него на дому мятежниками выручать попавшихся, но наткнулся на роту. В темноте ночи началась перестрелка; перестреливались с полчаса, и паны ушли домой; но часа через два, решив вероятно на военном совете непременно выручить довудцу, снова двинулись; но вторично встреченные бдительно стоявшею ротой, к которой

на подмогу пришла еще и другая, кинулись в лес. На другой день рассыпанные по лесу команды набрали человек шестнадцать, а в следующие два дня крестьянами еще с десятков были схвачены, в том числе Гриневич и Держановский^[25].

V

Кроме описанных шести шаек организованных по распоряжению Топора, явилась еще седьмая – Анцыпы, приставшего к мятежу из любви к искусству.

Ильдефонс-Анцыпо был из эмигрантов 1831 года, по манифесту в 1850 году он вернулся на родину; постоянного жилища у него не было, он разъезжал по соседям, которые считали его за полоумного и боялись его строптивного и бешеного нрава. Подобного товарища никто не желал иметь в шайке: его уговорили действовать самостоятельно, добыли ему от Топора приказ набрать шайку снабдили прокламациями. Собрав шесть человек разной сволочи, и зная что у богатого владельца фольварка Закупленья, Мацкевича, бывшего в то время в Могилёве, есть охотничьи ружья, Анцыпо отправился к нему в дом 24-го апреля, около полудня, объявил себя отрядным начальником польского войска, забрал ружья, рабочих лошадей, и подговорил пристать к пьяной компании трех человек из дворни. В это время возвратился хозяин с экономом на почтовых лошадях, взятых с Чечевицкой станции. Эконом Мацкевича и ямщик Папо присоединились к шайке.

Мацкевич отпустил гостей с честью, и они приступили к действиям. В числе двенадцати человек явились они в рядом лежащую деревню Закупленья; Анцыпо прочитал мани-

фест польского короля, объявил разные милости: дарование земель, уничтожение акциза, и т. п., и советовал молиться за короля польского. От приглашения к бунту крестьяне отказались, отказались и продать топоры по 2 руб. серебром за каждый, но мятежников не перевязали, так как Анцыпо объявил, что за ним идут 800 французов. Двинувшись далее, шайка поздно вечером явилась у Чечевиц, перепилась и набуянила на станции лежащей по шоссе от Могилёва в Бобруйск, разорвала телеграф, сожгла на реке Друти мост, и в ту же ночь направилась в деревню Ядриву-Слободу. Прибыв туда утром 25-го, мятежники завербовали в свою шайку волостного писаря, сожгли дела волостного правления и обычным порядком призывали крестьян к мятежу. Далее Анцыпо заехал в фольварк Городище, где захватил для себя верховую лошадь, и в фольварк Александрово, где завербовал двух мальчиков. К вечеру шайка явилась в Селецкое волостное правление, сожгла дела, и усилилась приставшими к ней писарем и землемером. В фольварке Каркоте, где повстанцы ночевали, к ним пристали владелец, тоже по фамилии Анцыпо, и двое безземельных дворян.

Подкрепляя силы у каждого кабака, пьяная компания 26-го странствовала по соседним деревням и фольваркам, разбивала по кабакам вывески и патенты и без успеха призывала к мятежу. Пройдя Запоточье, Анцыпо переночевал в лесу, около фольварка Городка, утром 27-го явился в деревне Кучине, где шайка, состоявшая тогда из двадцати двух чело-

век, увеличилась безземельным шляхтичем и пьяным крестьянином, и явилась на московском шоссе. Здесь также телеграф был разорван, и повстанцы остановились для ночлега в кирпичном заводе близ деревни Залотьи, в стороне от шоссе, верстах в тридцати с небольшим от Могилёва и верстах в пятнадцати от Старого Быхова.

Пока становой пристав Пуцило списывался с Быховым и Могилёвым и прибыла рота из Рогачёвского уезда, Анцыпо, смело оставаясь невдалеке от губернского города, в течение 4-х дней бесчинствовал на двух шоссе по волостным правлениям и кабакам. Население, не видя разъясняющей и ободряющей земской власти, было напугано объявлением, что вслед за пьяною шайкой приближаются французские войска.

27-го числа прибыла рота Смоленского полка, состоящая из семидесяти человек. Становой, не быв сам на месте действия и руководствуясь распускаемыми слухами, думал что в стане у него бродят две шайки, одна в 300, а другая в 20 человек. Он оставил половину команды с подпоручиком Липинским для охранения становой квартиры, а с другою под начальством штабс-капитана Кусонского, пустился на поиск. Обрадованные крестьяне указали путь следования шайки и её ночлег. Команда выступила ночью; но когда рано утром она прибыла на место, Анцыпо успел уже убраться. Не найдя шайки команда кинулась версты за четыре в фольварк Глухие, помещика Хударовича, но там никого не было. С близлежащей Глуховской станции взяли лошадей и направились

верст за пять в деревню Язвы, но также неуспешно. Ясно было что шайка скрылась в небольшом лесистом треугольнике между Золоткою, Глухими и Язвами.

Становой пристав и штабс-капитан Кусонский решили ждать в деревне Язвах, пока ретивый десятник Осип Иванов с крестьянами не выследит шайку. Скоро Осип Иванов явился назад с вестями. Тогда становой Пуцило справедливо рассудил, что если с четвертого часу белого дня остаться ночевать в Язвах, то шайка может уйти; а потому несмотря на шедший дождь, он успел, как доносил он, воодушевить солдат и крестьян до того, что они охотно согласились преследовать мятежников.

По узкой тропинке, по два человека в ряд, пустилась команда в чашу, среди которой Анцыпо, сделав несколько ложных следов, укрылся со своею шайкой и телегами. Солдаты и крестьяне не чуяли ног под собою, увидев новые следы. Был час пятый вечера. Наконец послышался запах дыма, увидели привязанную к дереву лошадь; подойдя незаметно врассыпную, команда сделала залп по закусывающей и пьющей компании. Мятежники бросились бежать, некоторые схватились за ружья – убили одного солдата, а эконома Мацкевича повалил десятского Иванова. Команда крикнула ура, и кинулась догонять разбежавшихся, которые на месте бросила одиннадцать ружей и свой обоз. Штабс-капитан Кусонский, имея в виду что преследующие солдаты вязли в болоте, приказал ударить отбой; забрав обоз мятежников, становой

и штабс-капитан возвратились в стантовую квартиру. Но крестьяне вполне довершили дело; они в течение трех дней переловили всех до одного мятежников, не исключая и предводителя^[26], и представили всех в стан.

Так кончились печальные подвиги шаек. К 1-му мая со всех уездов были донесения, что более шаек не существует, и в Могилёв сводились толпы пленных повстанцев. В Могилёвской губернии, как и в других местах, сельское население много способствовало усмирению мятежа, особенно там, где земская полиция умела действовать разумным образом. Мятежники не могли отвертеться от крестьян никакими отговорками и ссылками на охоту: догадливые крестьяне уличали их запасами бинтов и корпии. «Пан хитер да неразумен», – сказал мне один Могилёвский ямщик. Эти слова, по моему мнению, весьма метко характеризуют польское восстание и не в одной Могилёвской губернии.

Если сами по себе польские банды в нашей местности не имели большого значения, то во всяком случае, при тогдашнем ходе дел в Царстве Польском и появлении повсеместного мятежа в Литве, при большом числе шляхетных околиц, из которых в Рогачёвском уезде две еще прежде обнаружили мятежное настроение, при большом числе в губернии землевладельцев-католиков, и в особенности при местной администрации, наводненной поляками, губернское начальство не могло не призадуматься при первых известиях о

появлении мятежнического движения в губернии. Насколько можно судить по доставленным земскими властями сведениям, первое известие о появлении шаек было получено в Могилёве после обеда, 23-го апреля, по телеграфу из Витебска, куда оно было послано эстафетою от оршанского исправника; затем в 5 часов пополудни прибыл из Шклова становой пристав с известием о черноруцкой шайке; после него вечером прибыло донесение из Кричева о появлении шайки намеревающейся напасть на батарею. 34-го утром прибыло известие из Рогачёва о появлении мятежников у Тощицы; в 6 часов после обеда горыгорецкий исправник приехал уведомить о полученной им через ямщика вести о бедствиях постигших его резиденцию, Горки, и наконец ночью на 26-е сообщено, что в Быховском уезде показались мятежники, которые сожгли мост на Друти и испортили телеграф. Но скоро вести изменились... 25-го утром были подучены уведомления об уничтожении шайки рогачёвской и кричевской, 26-го вечером оршанской, 27-го вечером черноруцкой, а ночью на 28-е быховской; известие о формировании сенненской шайки едва ли не пришло вместе с известием о ее бегстве в Минскую губернию. Кроме того, со всех сторон уведомляли, что ободренное население ловило разбегавшихся мятежников.

Не менее самого губернского начальства еще одно лицо внимательно следило за получаемыми в Могилёве донесениями: агент жонда, лекарь Михаил Оскерко. Соображая время посылаемых из Могилёва распоряжений с движениями

шайки Жверждовского, видно, что Оскерко знал их тотчас по отдании приказаний, и его уведомления отправлялись из Могилёва если не ранее, то, во всяком случае, единовременно с предписаниями губернского начальства.

В.

Комментарии

1.

В Витебской губернии в 1852 году считалось, так сказать, привилегированных панцирных бояр:

2.

Не знаю, правильно ли я пишу его имя; в статье «Неделя беспорядков в Могилевской губернии», напечатанной в «Русском вестнике» 1864 г., оно не означено.

3.

Смотри статью: «Неделя беспорядков в Могилевской губернии», напечатанную в «Русском вестнике» 1864 года.

4.

Не только у крестьян белорусских случается это болезненное состояние, но и у панов тамошних.

5.

Смотри статью: «Неделя беспорядков в Могилевской губернии», напечатанную в «Русском вестнике» 1864 года.

6.

Оно принадлежало сперва канцлеру графу Ивану Андреевичу Остерману, сподвижнику мудрой Екатерины, потом перешло по наследству к графу Остерману-Толстому,

герою кульмскому, а от него к князю Леон. М. Голицыну, от вдовы которого куплено государем императором.

7.

Для исторических справок прошу читателя обращаться к статье: «Неделя беспорядков в Могилевской губернии»; напечатанной в «Русском вестнике» 1864 года.

8.

Говорю о белорусских евреях. Сколько мне известно, в Волынской губернии евреи горячо и с успехом занимаются хлебопашеством. И какая же это благодатная по почве и климату страна!

9.

Я сам слышал в 1853 году от одного из Платеров, что из всех крестьян его раскольники самые трезвые, трудолюбивые, исправные.

10.

Действительно, кавалерийская дивизия вскоре пришла из Тверской губернии и, простояв там несколько времени без дела, возвратилась на свои постоянные квартиры.

11.

Рассказываю об этом событии со слов одного близкого мне

человека, определенного в Слуцке из внутренних губерний России.

12.

Приходы распределяются по уездам следующим образом:

13.

Журнал Министерства Юстиции, 1863 апрель.

14.

В шайках была общая уверенность, что Мак-Магон с какой-то четвертой колонной уже выступил («с чварте колоне юж встемпил»).

15.

Действительно бежал из Павловского полка прапорщик Стабровский. Замечательно, что на соумышленничестве этого прапорщика поляки соорудили колоссальные планы.

16.

Из хода мятежа видно, что в Могилёве кроме батальона внутренней стражи и сотни казаков находились 3 роты, в Княжицах – 1 рота, в Орше – 2, в Любавичах – 1, в Рогачёве – 1½, в околицах – 1½, в Старом Быхове – 1, в Новом Быхове – 1, в Сенно – 3, в Черикове – 2, в Пропойске – 1, в Мстиславле – 1, в Гомеле – 1. Всего 20 рот резервных

батальонов, и в каждой налицо от 60 до 100 человек.

17.

Батареи были расквартированы в Орше, Шклове, Могилёве, Старом Быхове, Рогачёве, Гомеле, Черикове, Кричеве и Мстиславле.

18.

Став на колени, пристающий к мятежу произносил: «Клянусь Богом, всеми святыми и Святой Троицей не изменить Отчизне, делать то, что будет приказано, и быть там, где будет сказано».

19.

Так в первоисточнике. Видимо, ошибка в цифрах.

20.

В Горках мятежниками было убито инвалидов 9 и ранено 6; частных лиц убито 1, ранено 5.

21.

Крестьяне из числа разбежавшихся наловили еще 30 человек.

22.

Расстрелян.

23.

Расстреляны.

24.

Расстрелян.

25.

Гриневи́ч был расстрелян, а Держановский сослан на каторжные работы.

26.

Расстрелян.